

ИЛ

ИЛ

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Джон Гарднер

Искусство ЖИТЬ

Джон Гарднер • Искусство жить





И
Л

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

John Gardner

The Art of Living and Other Stories

Джон Гарднер

Искусство жить

Рассказы

Перевод с английского

Составление Г. Орехановой

Предисловие Н. Анастасьева

Москва
«Известия»
1984

И (Амер)
Г 20

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Рецензент И. Левидова

Обложка художника В. Освера

- © 1974, 1976, 1977, 1979 and 1981 by John Gardner.
© Оформление, перевод на русский язык, предисловие и составление издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1984.

Гибель всерьез

В литературной жизни нередко случается так, что полемическая острота высказывания мешает по достоинству оценить существенное основание мысли.

Книга известного американского писателя Джона Гарднера «О нравственной литературе» (1978) вызвала живую реакцию в читательской и профессиональной среде, и это неудивительно: не считаясь с репутациями, не щадя самолюбий, автор с большой резкостью отзывается о творчестве ряда видных, даже ведущих писателей, которые, по его мнению, должны нести ответственность за развал нравственных норм в современной американской литературе.

Но о чем, собственно, пошел спор? О том, что Апдайк вовсе не так плох, как его стремится представить Гарднер. Что романисты нового поколения — Д. Дидион, У. Перси, Э. Тайлер и другие — совсем не тривиальны, а, напротив, оригинальны. Что, обнаружив в книгах Д. Барта только «пустую оболочку», автор проявил близорукость и леность ума, не потрудившись разобраться в реальном характере «постмодернизма».

Таким образом, развернулось соревнование оценок, в результате чего утратился самый предмет обсуждения.

Ибо Гарднер менее всего — хоть такие подозрения возникали и высказывались — вдохновлялся геростратовскими целями. Быть может — даже наверное, — по частностям он перегибал, но лишь для того, чтобы отчетливее и резче проявить положительную идею.

Идея эта проста, и просты слова, которыми она выражается, хоть в американской критике, занятой по преимуществу «пристальным чтением» в его традиционных и новейших формах, они почти не употребляются.

Гарднер напоминает о том, что искусство содержательно,

что цель творчества состоит в возвышении человека, в утверждении таких нестареющих и не подверженных старению истин, как справедливость, честь, нравственность, идеалы. Отстаивая «старомодный взгляд на сущность и назначение искусства», Д. Гарднер пишет, что оно «снова и снова утверждает ценности, противостоящие распаду»; что оно «стремится продвинуть жизнь к лучшему, а не принизить ее»; что «несравненная учительная способность искусства... должна стать силой, объединяющей людей, сокрушающей барьеры предрассудков и невежества, утверждающей идеалы, достойные того, чтобы за них бороться».

Мысли, как видим, далеко не оригинальные, их с большой настойчивостью (и тоже в резко полемической форме) отстаивал еще Толстой, на которого, кстати, Гарднер часто ссылается. Но «старомодный взгляд» оказывается актуальным, особенно в свете непрекращающихся усилий различных школ модернизма, а также формальной критики свести искусство к технологии, освободить его от какого бы то ни было гуманистического содержания.

И все же писатель — это прежде всего писатель, даже если у него за плечами высшее филологическое образование и если он выступает и как литературовед (Гарднер является автором работ о поэзии Чосера, книги о Беовульфе). И единственным аргументом его правоты (или неправоты) всегда остается художественное творчество.

Яркий и столь рано, к несчастью, оборвавшийся путь Джона Гарднера (он родился в 1933 году и не дожил до пятидесяти, погибнув в автомобильной катастрофе) лишний раз убеждает в том, сколь непросто дается творческое осуществление даже высоких и бесспорных идей. Так, предприняв в романе «Никелевая гора» (он известен и советскому читателю) едва ли не уникальную в послевоенной американской литературе попытку создать образ «положительно прекрасного человека», писатель, на мой взгляд, потерпел поражение, ибо не смог (а может, не рискнул?) испытать подвижничество героя опытом реальной жизни. Потому и сам герой, при всей своей материаль-

ности, даже приземленности (уже профессия чего стоит — трактирщик) утрачивает черты живой, независимой личности, все более превращается в «рупор идеи», сконструированный согласно нормам поэтики классицизма. Иное дело, что такое поражение стоит немалочисленных побед, достоинство которых измеряется лишь степенью соответствия изображенной картины господствующим нравам времени. С таким худосочным представлением о роли искусства Гарднер спорил всегда, порою даже теряя чувство меры, то есть превращая художественное слово в аргумент прямой полемики.

Поначалу вполне может показаться, что и новеллы, собранные под этой обложкой, представляют собою нечто вроде сложного литературного опыта, в ходе которого испытываются мысли, высказанные в книге «О нравственной литературе». Более того. Если в «Никелевой горе» ощущается все-таки течение жизни, вырастают ее характерные типы, если в других романах — в «Осеннем свете» (он также переведен на русский), а еще более в «Диалогах с Солнечным» — во всей пластической непосредственности воссоздана Америка 70-х годов, то Гарднер-новеллист словно бы демонстративно отворачивается от всего того, чем раньше столь живо интересовался.

Некоторые из его новелл откровенно условны, в них исключительно силен сказочный элемент. Другие, напротив, вполне жизнеподобны — но не более чем внешним образом: стилистика словно конфликтует с содержанием, которое упорно сторонится событий текущего дня. В третьих, впрочем, и такая актуальность вроде возникает. Так, в заглавном рассказе более или менее определенно обозначено время действия — середина 60-х годов — и соответственно названы его приметы: молодежная вольница, полицейские вертолеты, зависшие над Корнельским университетом — бастионом бунтующего студенчества, — американский солдат, не вернувшийся из Вьетнама, и т. д. Но только названы — никак не осмыслены творчески, не развернуты в живую, движущуюся картину. А повество-

вательное пространство занято по преимуществу моралистическими рассуждениями искусника повара, толкующего об артистизме как созидательной силе, способной отлить подлинно нравственную модель жизни.

Резко меняется и круг действующих лиц — на место фермеров, лавочников, полицейских, молодых бунтарей приходят музыканты, писатели, художники. И такой сдвиг как будто лишний раз свидетельствует об олимпийской отрешенности гарднеровских новелл от нужд и тревог нынешнего мира.

Но отчего тогда столь напряжена внутренняя атмосфера повествования? Отчего риторические упражнения философа повара (а истовое отношение к своему ремеслу вполне уравнивает его со всемирно знаменитым дирижером из другого рассказа — «Нимрам») оказывают столь глубокое душевное воздействие на юных сорванцов, бездельно гонящихся по городку и его окрестностям на ревущих мотоциклах в ожидании армейской повестки?

А оттого, что это вовсе не риторика, не холодное умствование персонажа, за которым стоит сам автор, а выстраданная, на глазах растущая идея, которая на пути к своему осуществлению сталкивается с колоссальными препятствиями, заставляет преступать тяжелые заблуждения, постоянно испытывать крайнее напряжение душевных сил. А если человек врос в налаженный быт, если перестал ощущать сопротивление жизни, заскользил по поверхности, то писатель позаботится о том, чтобы лишить его покоя, столкнув с необычным, болезненным, порой смертельным.

Еще в самом начале столетия, когда в острой идейно-эстетической борьбе формировались основные представления об искусстве нового века — века мировых войн и социальных революций, — Томас Манн написал новеллу «Тонио Крегер». В ней, как мы помним, разворачивается мучительный спор различных представлений о сути и природе творческой работы. «Сделавшись чувствующим человеком, художник перестает существовать» — такова

изначальная идея главного героя. Но она разбивается о его собственное душевное здоровье, о собственный писательский опыт, не желающий мириться с бесстрашием как принципом искусства, наконец, об опыт великого наследия русской классики, о котором бесхитростно напоминает писателю-интеллектуалу скромная художница из России Лизавета Ивановна. И в конце рассказа Крегер, пусть и сохранив восхищение «холодными гордецами, что шествуют по тропе великой, демонической красоты», убежденно высказывает совершенно иное кредо: «Если что может сделать из литератора (то есть человека, овладевшего формой.— Н. А.) поэта, то как раз... обывательская любовь к человечному, живому, обыденному».

Новелла Т. Манна стоит у самых истоков традиции, которой предстояло прорасти яркими произведениями — такими, как «Жан-Кристоф» Р. Роллана, «Гений» Т. Драйзера, «Игра в бисер» Г. Гессе, «Доктор Фаустус» самого же Т. Манна, да и многими другими книгами. Книгами, написанными во внутренней (иногда и открытой) полемике с распространившимися, удерживающимися и поныне представлениями о том, что искусство поднимается тем выше, чем решительнее освобождается от «человеческого, слишком человеческого», как говорил еще Ницше, элемента.

Новеллы Джона Гарднера принадлежат этой традиции. Разные по эстетическому строю, стилистике, не говоря уж, естественно, о конкретном содержании, они объединяются в законченное целое неизменной убежденностью писателя в страстном, земном характере искусства.

Поэтому нам нет нужды искать непременно узнаваемые характеры, актуальные сюжеты: жизнь, даже и не явленная в пластическом образе, обнаруживает себя у Гарднера как органическая основа творчества, его единственное и последнее оправдание.

Может быть мистерия. В библиотеке, утрачивая свою условность, материализуются литературные герои — Раскольников, диккенсовский Скрудж, персонажи Джейн Остин и даже самого Гомера. Это игра. Но далеко не просто игра.

Ибо каким-то образом развоплощенные драмы литературы связываются с судьбами живых людей и осознаются героем-повествователем как источник, способный исцелить их душевные недуги и душевную косность. «Да поможет нам в тяжкие времена хорошая литература» («Ужасы в библиотеке»).

Может быть сказка. Знаменитый на всю округу художник создает миниатюрный портрет Принцессы, настолько близкий оригиналу, что он одаряется способностью к человеческой речи. И, напротив, отнимается эта способность у живописца — он проклят немотой. Чем объяснить такое превращение? — прямого ответа нет, но понять можно. Мстит власть — Калибан, взглянувший в зеркало и ужаснувшийся собственному изображению. Ибо за красотой Принцессы проступают черты жестокости, тщеславия, своекорыстия. Любые попытки уйти от этой бесспорности, подретушировать изображение и таким образом выкупить утраченное бесплодны — искусство способно восстать даже против мастера, если он предает свой талант, фальшивит, идет на компромиссы. «Картине удалось каким-то образом перехитрить меня и сохранить свое могущество. Это тайна». Зато верность искусству в конце концов вознаграждается — проклятие утрачивает силу, Влэмк вновь обретает дар речи («Влэмк-живописец»).

Но может быть и случайная житейская история — и в ней мысль о человечности искусства проступает с не меньшей ясностью, нежели в сказке, в притче с их склонностью к моральному назиданию. Уставший от всеобщего преклонения, от необходимости носить на публике маску — то широкую улыбку, то «бетховенскую хмурость», дирижер Нимрам случайно оказывается рядом с девушкой, страдающей тяжелой болезнью, обреченной на раннюю смерть, знающей это и тем не менее выказывающей какое-то поразительное презрение к судьбе. И эта встреча с живым страданием — и внутренним сопротивлением ему — возвращает художнику утраченную было способность испытывать непосредственное волнение, которое не

компенсировать никаким мастерством. Пятая симфония Малера звучит в его исполнении с такой мощью, что кажется, будто «все люди, живые и мертвые, сошлись в едином яростном порыве» («Нимрам»).

Новеллы Джона Гарднера завершаются, как правило, счастливо.

Женится на Принцессе (теперь уже, впрочем, Королеве) живописец Влемк.

Завершается свадебным балом распря, раздирающая кукольные владения Короля Грегора и Короля Джона,— возникло одно «гармоничное Королевство, единственное Королевство на свете, в котором безраздельно правило искусство» («Трубач»).

Впрочем, это сказки, они и должны иметь хороший конец.

Но ведь благополучно разрешаются и новеллы, в которых действуют не мифические — реальные лица. Вполне оправляется от потрясения, испытанного на концерте «поп-музыки», страстный меломан профессор Клигман («Любитель музыки»). Посланцами поколений, людьми, воплощающими «идеи вечной жизни» чувствуют себя герои новеллы «Искусство жить». И даже смерть не нарушает гармонии мира — похоронив близкого, люди под звуки музыки возвращаются к жизни («Возвращайся»).

Конечно, это не традиционный «хеппи энд». В рассказах Гарднера, как говорилось, много горечи и боли, они есть даже в сказке: лишь только Влемк покидает свою мастерскую, он превращается в запойного бродягу. Да и в «Трубаче» идиллия всеобщего благоденствия и покоя находит резкое полемическое опровержение. Все эти празднества кукольных властителей и подданных Королевства исполнены такого жуткого надрыва, что кажется, будто марионетки правят пир во время чумы. Недаром единственное живое существо в повествовании — пес, чьим именем названа новелла,— с жалобным воплем покидает театральное представление. И уж вовсе устрашающим символом мирового Зла выглядит «Императорская собака» на сковороде повара-художника («Искусство жить»).

Откуда же тогда приходят в этот мир, где так много низкого и дурного, лирические ноты покоя и надежды?

Они рождены неистребимой верой художника в искусство, чья сила способна преодолевать страдания, объединять людей, действительно утверждать добро. Красота спасет мир — это сказал еще Достоевский, наверное, самый жесточайший художник прошлого. Гарднер мог бы повторить эти слова, добавив, что красота — это искусство.

Однако лишь в том случае, если оно, как говорил другой русский писатель, Борис Пастернак, — «гибель всерьез».

Впрочем, в книге «О нравственной литературе» — вещи для себя программной — Гарднер с полной определенностью написал, что всякое другое искусство — уже не искусство, а методология.

Н. Анастасьев

Нимрам

Посвящается
Уильяму Гэссу*

*Ich bin von Gott und will wieder zu Gott**.*

Расположившись у окна в последнем ряду секции для некурящих салона первого класса, Бенджамин Нимрам пристроил под сиденьем перед собой свой большой «дипломат», удобно застегнул пристяжные ремни, снял темные очки, засунул их во внутренний карман пиджака и, повернувшись к окну, стал смотреть, как падает дождь на мокрый блестящий бетон взлетного поля. Носить темные очки ему посоветовала жена, и он принял ее совет, как принимал почти все, что она ему предлагала, — с нежностью и едва заметной морщинкой в углу рта, означавшей, хотя жена этого и не знала — или так ему казалось, — скрытую усмешку с легким оттенком меланхолической обреченности, которую всякий, кто был наблюдателем, мог бы заметить во всем, что бы Нимрам ни делал. И не то чтобы он был человеком мрачным. Во всяком случае, во время выступлений, если он сбрасывал свою знаменитую «бетховенскую хмурость», — шутка, бытовавшая вначале только у них дома, теперь же — достояние публики, как и количество миль, пройденных его «роллсом», потому что жена в интервью проговорила о том и о другом, — то обнаруживал, что младенческая улыбка, когда он стремительно, фалды фрака вразлет, шагал к залитому светом пульту, приходила к нему так же естественно, как дыхание или уж, во всяком случае, как второе

- * Гэсс, Уильям Х. (род. в 1924 г.) — американский профессор философии, друг Гарднера, которому в книге «О нравственной литературе» Гарднер выражает благодарность за плодотворные и стимулирующие споры. — *Здесь и далее — примечания переводчиков.*
- ** «Я пришел от бога и хочу к нему вернуться» (нем.).

дыхание к гобоисту. Однажды он сказал жене — это вырвалось невзначай, — что ему неприятно, когда люди его узнают повсюду, где бы он ни появлялся.

— Мой беденький, — воскликнула жена, глаза ее слегка расширились, и он улыбнулся про себя, поняв, что теперь-то от него не отстанут. — Мы купим тебе затемненные очки, те самые, «Полароид», — пообещала она.

— Отличная мысль, — согласился он и тут же представил себе, как будет в них выглядеть: тяжелое смуглое лицо, густые брови, крупный нос, вызывающе дорогой костюм... «Не хватает, пожалуй, только кобуры под мышкой», — подумал он, стараясь не показать своего отношения, разве что морщинка легла в углу рта.

— Что-то не так? — тут же спросила жена, стоя на пороге с садовым совком в руке. Бумажную сумку с какими-то химикатами она держала под мышкой. Он окликнул ее, когда она выходила в сад. Ослепительно улыбаясь, она обернулась к нему, наклонив голову и подавшись вперед. Иногда она бывала такой вот на теннисном корте — подчеркнута вежливой и напористой.

— Ну что ты, что ты, — развел он руками. — Сегодня же куплю эти очки.

— Это может сделать и Джерри, — ответила она. — Я ему позвоню.

Молодой полуяпонец с вечной ухмылкой, Джерри числился у них на службе. Что он делал кроме того, что стоял сложивши руки или ездил на огромной зеленой косилке, Нимраму никогда не было ясно.

— Ладно, — согласился Нимрам.

Послав ему воздушный поцелуй, Арлин выбежала из комнаты.

Бедная, подумал он и покачал головой, чуть усмехнувшись. «Я верю, что мой брак — веление судьбы», — заявила она в одном интервью. И хотя порою потом плакала, читая свои интервью в газетах и журналах, все же отказаться от них не могла, так как считала своим долгом, долгом жены, заботиться, чтобы имя его гремело повсюду. Она старалась быть

осторожной, так как знала, что «кое-что» может прозвучать в печати и что репортеры, если они, как она говорила, «определенного сорта», могут перевернуть все с ног на голову — превратить пустяк в трагедию, опустив шутки, и даже вдруг ополчиться против нее без всякого повода (однажды ее назвали «профаном в музыке»). И тем не менее она, забывая свои неудачи, продолжала давать интервью. Само собой разумеется, что Нимрам хвалил ее, какие бы заявления она ни делала. Впрочем, все, что она говорила, было вполне безобидно. И даже если Арлин пыталась хитрить, пользуясь его именем, или хотела провести Управление внутрисоциальных доходов Министерства финансов, она и тут была естественна и открыта, как мичиганские поля вокруг ее отчего «загородного домика» — так отец Арлин называл виллу, которую когда-то, в незапамятные времена изредка посещал Генри Форд-старший.

Арлин не так уж много могла дать ему в жизни, или, во всяком случае, он не приложил усилий, чтобы она могла понять, что же ему надо и что ему дорого, — кроме, конечно, того, что была элегантною спутницей в свете, когда, например, они принимали участие в благотворительных вечерах. Она была «хорошей мичиганской девушкой», как говорила сама о себе; республиканка, член (в прошлом) организации «Дочери американской революции». Незаметно — или нет, не заметно, а открыто, громко заявляя об этом, — ее с рождения готовили к выполнению священного долга — быть Добродетельной Женой. Она хватала все на лету — блестящая ученица, мог бы сказать Нимрам, утратив над собой контроль, если бы он был на это способен, — она схватывала мгновенно все атрибуты своего положения жены известного дирижера, как уличная собака хватается кусок мяса. Арлин не очень любила читать (книги — одна из страстей Нимрама), да и музыка не была в ее жизни главным, кроме, конечно, тех случаев, когда дирижировал Нимрам; но она умела вести дом не хуже венских аристократов старых времен; умела представить мужа в выгодном свете, безошибочно выбирая рестораны, вина, сферы благотворительной деятель-

ности, покупая ему не только именно ту, которую было нужно, с ее точки зрения, одежду (насколько он понимал, вкус ее был безупречен, хотя порою у него глаза лезли на лоб от того, что она выбирала), но и очень точно выбрала дом, вернее, особняк в Brentwude* — прежде в нем жила удалившаяся на покой кинозвезда, — и соответствующей марки автомобиль — сначала «порше», а затем, конечно, «роллс», и — соответственно — милого фокстерьера, которому дала кличку Трикси. Она обладала всеми достоинствами жены, воспитанной Средним Западом, включая, конечно, и навыки в любви, и Нимрам с благоговейным трепетом, улыбаясь, ждал, когда она с мичиганской непосредственностью, сдобренной познаниями из журнала «Пипл» или «Лос-Анджелес таймс», проявит их. Но бывали моменты, он знал это, когда она теряла в себе уверенность.

— Тебе нравится этот дом? — однажды спросила она с ясной улыбкой, но проступила в лице ее такая робость, что сердце его рванулось ей навстречу. Но рванулось лишь сердце, он сам же остался сидеть неподвижно, точно скала, держа на коленях партитуру с пометками.

— Конечно, нравится, — ответил он. — Я люблю его! — Когда они бывали одни или среди близких друзей, его голос порою звучал так задушевно, что она вздрагивала.

— Это хорошо! — Она улыбнулась еще ярче, а потом добавила — неуверенность вновь появилась в лице: — Помоему, это надежный вклад капитала.

Если б Нимрам был не Нимрамом, он, возможно, сказал бы: «Какая разница? При чем здесь дом? Я величайший дирижер мира! Мой дом — Искусство!» Но вот этого он никогда и никому не говорил, даже в приступах гнева, которые случались с ним редко, но были широко известны.

Неуверенность придала ее лицу почти что страдальческое выражение, хотя она и старалась скрыть его, и тогда он положил на ковер партитуру, над которой работал, подавив проблеск сомнения, можно ли оставить ее беззащитную (ведь собака могла подойти и, скажем, пустить на нее слю-

* Brentwud — пригород Вашингтона.

ни), вскочил с кресла, шагнул к ней, крепко обнял и, прижавшись щекой к ее щеке, сказал:

— Ну что за чепуха? Прекрасный дом, и я люблю его!

Возможно, сейчас он почти утратил контроль над собой, а может быть, его привел в смятение печальный закон жизни — все стареет, красота уходит, и нет ничего достаточно сильного и надежного, на что можно было бы опереться, — нет такой силы даже в руках знаменитого дирижера, который держал ее в объятиях.

— Прости меня, — сказала она и смахнула ресницами слезы, выдавливая смущенный смешок, как подобает воспитаннице Среднего Запада. — Ну разве не дура? — кусая губы, сказала она, принимая на себя все грехи мира.

— Пошли, — сказал он, — поужинаем где-нибудь.

Это был его обычный ответ на все огорчения, которые он не мог отвести силой дирижерской палочки, — мгновенное покушение на власть бога, безобидное, поскольку ведь богу, как видно, нет до этого дела.

— Но мы уже ужинали... — начала было она, отстраняясь в нерешительности.

— Нет, нет, — возразил он властно. — Иди одевайся. Мы едем.

Свет свечи отражался в бутылке вина, столовое серебро мерцало, как ее мечта о бессмертии, люди, сидевшие за другими столиками, обменивались тайными знаками, узнавая знаменитого дирижера, они будут рассказывать об этом завтра, на следующей неделе, в будущем году, и, может быть, в грустные времена воспоминания о чудесном, благословенном обеде поднимут им настроение, как будто тогда сам господь бог снизошел к ним. Нимраму стало смешно и грустно от этих мыслей, и горькая складка возникла у его рта.

Он был не из тех, кто задается вопросом, истинна ли его слава. Он просто был музыкантом, нет, не просто: он был интерпретатором Малера, Брукнера, Сибелиуса, Нильсена, почти что таким же старательным и добросовестным, как его жена Арлин была интерпретатором Бенджамина Нимрама, покупая ему одежду, трансформируя его «бетховен-

скую хмурость» в не менее знаменитую ныне широкую улыбку, касаясь губами его щеки перед тем, как он погружался в сон. Он жил насыщенно, и это его радовало. Жизнь его можно было назвать чередой громких успехов — порой, в определенном состоянии духа, так казалось и самому Нимраму. Он дирижировал каждой значительной симфонией, появлявшейся в мире, дочери Тосканини доверили ему изучение партитур их отца — богатейшей сокровищницы тайн старого дирижера; в числе самых близких его друзей были величайшие музыканты нашего времени. А критика всего мира так часто называла его гением, что он постепенно привык к мысли, что и в самом деле гений; «гений от бога» и, по счастливой случайности, человек, которому необычайно повезло. Родись он со слухом не абсолютным, натурой более уязвимой, дарованием менее явным, или просто страдай он каким-то физическим недугом: недостаточно выносливым сердцем или артритом, бичом дирижеров,— он все равно, несомненно, дирижировал бы симфоническим оркестром, но его честолюбие было бы умереннее, а представление о своих возможностях — чуть скромнее. Но как бы ни обращалась с ним судьба, он, безусловно, научился с ней ладить, оберегая себя. Карты Нимраму выпали все козырные, и он знал это. Он наслаждался жизнью, как человек, который только что хорошо пообедал и сидит, откинувшись в кресле, удобно возложив руки с узловатыми пальцами на живот, довольный, словно дитя, и его седина на висках, и вся его массивная фигура человека среднего возраста, и весь его вес — сплошные мускулы, ни грамма жира — все говорит о том, что он доволен жизнью, что нет у него причин быть скептиком или тревожиться, получил ли он в жизни то, что ему полагалось. Он получил. И был одним из избранных. Он плыл по жизни, как белая яхта, ликующий, с флагами.

Дождь шел непрерывно, темные квадраты тягачей с людьми быстро подкатывали к брюху самолета и отъезжали снова, время от времени отражая вспышки беззвучных мол-

ний, за его спиной, в проходе, пассажиры продолжали с безграничным терпением толстовских крестьян продвигаться к своим местам в салоне второго класса. Нимрам рассеянно следил за их отражениями в окне, задаваясь праздным вопросом, многие ли видели его за пультом, если кто-то из них вообще видел дирижера за пультом, многих ли тревожил тот таинственный дух, которому он посвятил свою жизнь. Никто, насколько он мог заметить, не обращал внимания на бодрую глупую музыку, которая сочилась из невидимых динамиков самолета. Когда лайнер наберет высоту, ее выключат, и Нимрам будет только рад этому. И все же трогательно, что авиакомпания считает своим долгом предпринимать эту беспомощную попытку успокоить людей: «Все будет в порядке! Слушайте музыку! Все будет в порядке!» А они и не слушали ее, эти дети случая, молодые и старые, отправляющиеся в полет через всю страну в середине ночи; впрочем, может быть, их и впрямь успокаивала эта музыка.

Вдруг у него за спиной раздался голос, профессионально добрый:

— Вот мы и пришли. Пожалуйста. А это я унесу, ладно? Ну как, удобно?

Он обернулся и увидел, что стюардесса берет металлические костыли у молодой девушки — скорее девочки, — только что опустившейся в кресло рядом с ним.

— Спасибо, — проговорила девочка, обеими руками доставая пряжки пристяжного ремня.

— Костыли будут там, впереди, — говорила стюардесса, зажимая оба костыля под мышкой. — Если что-то понадобится, звоните, хорошо?

— Спасибо, — снова сказала девочка, кивнула ей и, уже вытащив ремень, стала изучать пряжку. Поняв, как она работает, девочка кивнула еще раз, застегнула ремень и неожиданно улыбнулась; быстро взглянула на Нимрама и отвернулась. Ей было, наверное, лет шестнадцать.

Он тоже отвел глаза в сторону, его сердце сильно забилося, так как лицо девочки его поразило. Она удивительно похо-

дила на его жену Арлин — хотя, конечно, была намного моложе, — она вполне могла оказаться сестрой Арлин, которая когда-то пропала. Он знал, что этого быть не могло, такие люди, как Арлин, никогда ничего не теряют и тем более не имеют секретов — разве что по утрам на рождество. Но, несмотря на уверенность, какая-то часть его сознания вцепилась двумя руками в эту идею, вцепилась мертвой хваткой. Как и у Арлин, волосы девушки были рыжевато-каштановые, с золотистыми прядями, но мягкие и легкие, словно пучки света. Лоб, нос, рот, подбородок тоже были похожи, по крайней мере, так ему показалось с первого взгляда. Еще раз украдкой взглянув на девочку, чтобы проверить первое впечатление, Нимрам увидел, что нос у нее прямее, чем у Арлин, и, пожалуй, красивее — в какой-то степени — и веснушек поменьше. И все же чем больше он на нее смотрел, тем сильнее казалось сходство.

Почувствовав, что он разглядывает ее, девочка подняла глаза и улыбнулась, а затем снова отвела глаза в сторону. Голубизна ее глаз была намного светлее, чем у Арлин, и это различие на миг его озадачило — он заерзал в кресле, прочистил горло, отвернулся к окну взглянуть на дождь, — теперь ему уже почти не верилось, будто они похожи. Глядя на отражение девочки в окне, в восьми дюймах от своего лица, он увидел, что она потянулась к карману сиденья, который был перед ней, и достала оттуда журнал или, может быть, гигиенический пакет.

— Надеюсь, они знают свое дело, — сказала девочка.

Он взглянул на нее и не заметил ни тени шутки. Обычно в таких обстоятельствах он отделывался улыбкой, но сейчас почему-то не смог промолчать:

— Вы впервые летите?

Она кивнула, улыбнувшись в ответ, и в этой улыбке был такой панический страх, что он едва не рассмеялся.

— Не волнуйтесь, — сказал он. — Пилот летит впереди, если что-то случится, ему достанется первому. Он озабочен этим.

Нимрам подмигнул.

Девочка смотрела на него растерянно, на лице блуждала как бы забытая улыбка, и ему казалось, что он знает, о чем она думает. Сейчас она не была способна уловить иронии. Когда он сказал про пилота «озабочен», не имел ли он в виду, что пилот нервничает, что он неврастеник, что у него могут сдать нервы? Разве этот большой мужчина рядом знает пилота?

— Вы знакомы с пилотом? — наивно спросила она, улыбка вновь озарила ее лицо.

— Это — шутка. Стара как мир, — ответил он. — В ходу у тех, кому приходится часто летать. Означает — не беспокойтесь.

Она перевела взгляд на гигиенический пакет.

— Да, но ведь дождь за окном... и вообще, — сказала она кротко, — а если молния в самолет ударит?

— Сомневаюсь, что это может нам повредить, — ответил он, зная, что лжет. Как раз год назад погиб венский квартет, в самолет, на котором они летели, ударила молния. — Во всяком случае, там, где молнии, мы не полетим. Для этого есть совершенные карты погоды... радары... Мы будем лететь в основном намного выше дождя, над облаками. А вы живете здесь, в Лос-Анджелесе?

Девочка смотрела на него, рассеянно улыбаясь. Она не слышала. В эфир, прервав музыку, ворвался голос командира корабля. Он представился, сделал обычные сообщения о высоте и времени полета, погоде, попросил застегнуть ремни. Нимрам внимательно посмотрел на руку девочки, которая лежала на подлокотнике. Сравнив ее со своей, он нахмурился. Что-то у девочки не в порядке. Вспомнил, что пришла она на костылях, снова взглянул на ее лицо. Как и рука, оно было не очень здорового цвета, слегка отечное. Наверно, болезнь крови.

К ним наклонилась стюардесса, обращаясь к обоим сразу, будто считая, что они летят вместе. Нимрам задержал взгляд на ее волосах, темно-рыжих, с резким металлическим блеском, цвета бычьей крови. В сравнении с девочкой она казалась возмутительно здоровой, а когда сказала: «мистер

Нимрам», «мисс Кёртис», в углу его рта появилась печальная складка, пустяк, он едва ли сам мог объяснить, чем это вызвано, — в голове что-то мелькнуло о вежливости и человеческой уязвимости, вежливости, так сильно одобренной расчетом (он мог видеть, как стюардесса быстро просматривала список пассажиров первого класса, запоминая, согласно инструкции, их имена), и все-таки вежливость как вызов грозе и ночи: даже если б они упали в океан, или у лайнера отвалилось бы крыло, зацепись он за вершину какой-то горы, или взорвись он в воздухе, или если бы его охватило пламя, если бы он попал под обстрел шрапнелью над Мохаве*, они бы умерли как «мистер Нимрам», «мисс Кёртис». Во всяком случае, так обстоит дело с пассажирами первого класса.

— Когда мы поднимемся в воздух, — сказала стюардесса, — я принесу вам выпить, это входит в стоимость билета...

Лишь только она произнесла их имена, мисс Кёртис нахмурилась и напряженно сжалась. Ее снова охватила паника. Она заказала кока-колу, Нимрам — вино. Стюардесса улыбнулась, словно ей доставили удовольствие, и отошла.

Они не заметили, как самолет двинулся с места. Девочка спросила его, часто ли он летает, и он пустился обстоятельно и подробно перечислять города, куда летал, — Нью-Йорк, Париж, Рим, Токио... Рассказывая с воодушевлением, он сиял, жестикулировал, как будто и правда воздушные путешествия были его любимым занятием. На самом же деле все было как раз наоборот: полеты его утомляли и раздражали, и не то чтобы он их боялся — Нимрам вообще почти ничего не боялся, во всяком случае, ничего, что ему уже довелось испытать, — но в июне ему уже сорок девять. Точнее, он не боялся за себя, но боялся того, что могло угрожать другим. Однажды на скоростной трассе Лос-Анджелеса, когда Арлин ехала с ним, в них врезались. Арлин ударилась головой о доску приборов и потеряла сознание. Вы-

* Мохаве — пустыня недалеко от Лос-Анджелеса, в районе Большого каньона.

таскивая ее из машины, Нимрам проклинал полицию, которой нигде не было, кричал на глазающих идиотов зевак и вдруг обнаружил, что сам дрожит как осиновый лист. Иногда, лежа в постели, обняв рукой спящую Арлин, внимая тишине и прислушиваясь к едва доносящемуся с шоссе, что в двух милях от дома, шуму, он чувствовал, что страх за нее вот-вот сокрушит его, и ему казалось, что небеса, словно надгробная плита, давят на крышу их дома, хотя с Арлин все было в порядке — здорова, на десять лет моложе его, сильная, как лошадь, благодаря теннису и плаванию.

Летая сотни раз — может быть, тысячи, — он никогда не переживал того, что можно было бы назвать предчувствием гибели, и в конце концов уверился, что, вероятно, не испытает ничего подобного, но он знал, насколько дано вообще знать человеку, что, если когда-нибудь предчувствие это возникнет, он скорее всего не испугается. Как и большинству людей, ему приходилось слышать от друзей, что они боятся смерти, и это чувство не вызывало у него презрения или насмешки; однако факт остается фактом — сам он подобных страхов не испытал. «Да, ты счастливец», — заявляла Арлин, отказываясь верить ему, и на миг взгляд ее становился жестким, как бывало всегда, когда она чувствовала себя уязвленной. «Да, счастливец», — говорил он задумчиво. Это было единственное в его жизни, что лежало на поверхности.

Внезапно девочка, мисс Кёртис, прервала его восторженные похвалы авиалиниям.

— Мы едем! — воскликнула она и рванулась к окну из-за его плеча; казалось, она не менее удивилась бы, если бы поехал дом.

Нимрам вместе с ней стал смотреть в окно на мелькающие желтые огни, рулежную дорожку, разбитую по краям синеватыми мокрыми от дождя столбиками, которые уносились далеко вперед, выхваченные из темноты мощными лучами прожекторов. Из динамика послышался голос невидимой стюардессы, которая стала объяснять, где расположены двери и как пользоваться кислородной маской, в то время как

их стюардесса наглядно демонстрировала все это, приоткрыв рот, расширив глаза и не произнося ни слова, ни дать ни взять азиатская танцовщица. Девочка рядом с ним слушала и приходила в отчаяние, хмурая, словно студент, который безнадежно провалился. Рука ее на подлокотнике пожелтела больше, чем прежде.

— Не волнуйтесь,— сказал Нимрам,— вам понравится летать.

Но, видно, она была слишком испугана, чтобы ответить или хотя бы повернуться к нему.

Моторы работали уже в полную силу, и их гул почему-то напомнил Нимраму вступление к Первому концерту Брамса. Появились огни, поразительно яркие, точно прожекторы или передняя фара локомотива, и, словно повинувшись чьей-то неистовой воле, они сметали дождь, освещая взлетно-посадочную полосу снизу и перед крылом, которое было как раз позади Нимрама; самолет, набирая скорость, бешено несся по полю, чтобы вот-вот оторваться от земли. Словно добрый дедушка, Нимрам положил свою руку на руку девочки. «Смотрите»,— сказал он, широко улыбаясь и кивая в окно, но она затрясла головой и крепко зажмурилась. На мгновение сходство с Арлин вновь поразило его, как и сначала, когда он впервые увидел ее, и он попытался вспомнить лицо Арлин таким, каким бывало оно, когда она жмурилась. Он живо представил себе ее летом, это было, кажется, в Англии — она стояла на фоне залитой солнцем зелени папоротника,— но, мелькнув и побродив по подвалам мозга, видение исчезло. Музыка Брамса все еще звучала в нем, торжественная, величественная, пылающая, как огни города, которые зловеще светились в пелене дождя, теперь уже далеко под ними. Самолет резко накренился в воздухе, заваливаясь, точно корабль, который, наполняясь водой, опрокидывается, снопы света разбивались в кипящие брызги, невероятно огромное черное крыло неожиданно белело, ворвавшись в тучи, озаренные молнией, и вновь темнело, став чернее, чем прежде. Но вот, наконец, самолет обрел равновесие, и пилот вновь обратился к пассажирам. Нимрам, уйдя

в свою «бетховенскую хмурость», ничего не заметил. Самолет начал подпрыгивать, скрипеть, как старый вагон, карабкаясь все выше и выше, чтобы подняться над грозой.

— О боже,— прошептала девочка.

— Все в порядке, все-все в порядке,— сказал Нимрам, сжимая ее руку.

Ее звали Энн. Как он и подумал, ей было шестнадцать лет, она жила в Чикаго; и хотя свою болезнь она не назвала и не сказала прямо, что скоро умрет, положения своего она не скрывала.

— Невероятно,— сказала она.— Одной моей бабушке девяносто два года, другой — восемьдесят шесть. Но, видно, это не имеет значения. Если тебе выпал жребий, значит, выпал.— Она быстро, смущенно улыбнулась.— А вы бизнесмен или что-то в этом роде?

— Более или менее,— сказал он.— А вы учитесь в школе?

— Да, в средней школе,— сказала она.

— И мальчик есть?

— Нет.

Нимрам покачал головой, словно был удивлен, и быстро глянул вперед, соображая, как бы исправить оплошность.

— А вот и стюардесса с напитками,— сказал он.

Девочка кивнула с улыбкой, хотя стюардесса была еще за два ряда от них.

— Кажется, мы не поднялись еще над грозой, правда?

Она смотрела мимо него в окно на башни туч, которые резко светлели, затем темнели, потом освещались снова. Самолет все еще трясло, как будто он бился обо что-то, значительно более твердое, чем воздух и тучи, или его терзали воздушные звери Платона*.

— Скоро все успокоится,— сказал Нимрам.

Девочка доверчиво спросила:

— Вы верите в бога?

* Очевидно, речь идет об упоминающихся в «Послезаконии» — сочинении, приписывавшемся Платону, — живых существах, обитающих в воздухе (воздушных гениях).

— Пожалуй, что...— он спохватился.— Более или менее.

— Вы более или менее бизнесмен и более или менее верующий,— торжествующе улыбаясь, произнесла девочка, точно уличала его в чем-то.— Так кто же вы — игрок?

Он рассмеялся.

— Разве я похож на игрока?

Продолжая улыбаться, она изучала его, задержав взгляд на непослушных черных с густой проседью волосах.

— Я ведь никогда игроков не видала, только в кино. Нимрам задумался.

— Мне кажется, мы все в какой-то степени игроки,— сказал он и тут же поморщился из-за того, что ударился в философию или еще хуже — поэзию.

— Я понимаю,— сказала девочка спокойно.— Одни выигрывают, другие проигрывают.

Он посмотрел на нее. Если она собирается продолжать разговор в таком духе, это слишком тяжело. Она так доверчива, оттого, вероятно, что они не знакомы?— попутчики, которым вновь никогда не встретиться. Он медленно сжимал и разжимал пальцы — со стороны движение могло показаться не нервным, а осуждающим; машинально насупив седеющие брови, Нимрам стал подумывать о том, чтобы вынуть работу из чемодана.

Но не успел он принять решение, как к ним наклонилась стюардесса и начала помогать девочке ставить поднос на колени. Нимрам пристроил свой поднос и взял из рук стюардессы стакан и бутылку вина. Но прежде чем он поставил стакан, самолет тряхнуло так, словно он наткнулся в небе на каменную стену, и, судорожно дернувшись, резко взмыл вверх, затем с трудом обрел равновесие.

— О боже мой, господи боже!— шептала девушка.

— А вот вы верите в бога,— сказал Нимрам и улыбнулся.

Она не ответила. Она сидела напряженно, слегка наклонившись к нему, возможно, из-за того, что пыталась удерживать стакан на салфетке, промокнувшей от кока-колы.

Командир корабля снова заговорил, беспечно, словно эта

неприятная ситуация его забавляла:

— Простите, что мы не можем обеспечить вам более спокойный полет. Но похоже, матушка-природа не на шутку разгневалась. Попробуем перехитрить ее, мы набираем высоту тридцать семь тысяч футов.

— А это не опасно?— тихо спросила девочка. Он пожал плечами.

— Не более, чем качаться в кресле-качалке,— сказал он.

Самолет задрал нос, взмыв вверх так резко, что даже Нимраму на мгновение стало как-то не по себе. Скрип и толчки были менее заметны. Нимрам глубоко вздохнул и налил себе вина.

Медленно, осторожно Энн поднесла кока-колу ко рту и, немного отпив, поставила бутылку на поднос.

— Надеюсь, в Чикаго такого не будет?— спросила она.

— Конечно, не будет,— ответил он.

Приподняв стакан, он дал понять, что пьет за ее здоровье, но она, кажется, не заметила, и он поднес стакан ко рту и выпил вино.

Трудно было сказать, сколько он спал и снилось ли ему что-либо, а если и снилось, то что именно. Девочка спала рядом, прикинув к его плечу, салон мерно жужжал, сам себя баюкая, внизу, наверное, были мили темноты, словно планета бесшумно уходила из-под них, падая в бездну. Скоро они приземлятся в аэропорту О'Хара — менее чем через два часа. Арлин будет ждать его в здании аэропорта, радостная и нетерпеливая, довольная тем, что наконец-то видит его после трех долгих дней, проведенных у родителей. И он, конечно, будет не менее рад; но сейчас, хотя встреча с каждым мигмом приближалась, он чувствовал себя отрешенным. Он парил над безумным бегом времени, как одинокий звук флейты над безмолвным оркестром. Кто знает, возможно, и их самолет тоже парил, застыв точно булавоочные уколы звезд над ними.

В салоне похолодало, и Нимрам осторожно, стараясь не разбудить девочку, подтянул ее одеяло повыше. Она шевель-

нулась, дернулся уголок ее рта, но не проснулась, дыхание ее было глубоким и ровным. Старая женщина, через проход от них, открыла глаза и уставилась прямо перед собой — наверное, ей почудилось, что взломщик хозяйничает в ее кухне,— затем снова безразлично закрыла глаза.

В задумчивости Нимрам не отрываясь смотрел на спящую девочку. Несмотря на холод, на лбу у нее выступили бусинки пота. Ему хотелось убрать с ее лица волосы — они как будто ее щекотали,— но, уже подняв руку, он спохватился и не стал этого делать. Она вполне могла бы быть моей дочерью, поджав губы, думал он. Слава богу, что она не моя дочь. Подумал, и стало стыдно за себя. Она была дочерью какого-то бедняги. Но... она могла бы быть и дочерью Арлин в те времена, когда они еще не знали друг друга. Ведь Арлин тридцать девять лет, а ей шестнадцать. Малюсенькая колючка впиалась ему в мозг, и он почувствовал холод внутри, точно туча закрыла его душу от невидимого солнца. «Не спрашивай,— обычно говорила Арлин, если он пытался завести разговор о ее прошлой жизни — то есть об интимной стороне ее жизни, когда они еще не были знакомы.— Я не знала удержу,— говорила она, смеясь.— О боже!» — и легонько касалась рукой его щеки. Не подвластная рассудку область его подсознания слепо и упрямо вцепилась в эту мысль и так же, как и тогда, когда он считал, что Арлин — сестра девушки, не отпускала его, упрямо повторяя, что эта девочка — дочь Арлин. Он понимал: нет, все — ерунда. Смех Арлин вовсе не означал, что у нее есть где-то брошенный ребенок, в нем крылся лишь скромный намек на давние проделки — любовь на берегу или заднем сиденье автомашины, хмельные вечеринки в домах друзей, когда родители были где-то далеко, в Кливленде или Детройте, да дела посерьезнее и погрустнее, когда она стала постарше. Она была замужем, очень недолго, за человеком, который занимался чем-то, связанным с бурением нефтяных скважин. Обо всем этом она честно ему рассказала, но теперь, в силу англосаксонских взглядов на приличия, не хотела говорить о своем прошлом. В любом случае идея, что девоч-

ка может быть дочерью Арлин, абсурдна и беспочвенна; и если она и застряла в закоулках его сознания, то против его воли, точно хитрая крыса в подвале, которую не так-то просто отравить или поймать в ловушку. Отбросив подозрения, он все-таки обнаружил, что они повлияли на его отношение к девушке. В груди, под ложечкой, он почувствовал отзвук того страдания, что должны были переживать ее родители, необъяснимую печаль, которая, несмотря на его пресловутую счастливую фортуна, заставила его ощутить собственную беспомощность.

В голове Нимрама теснились странные образы. Это были малосущественные, но досадные и отчетливые воспоминания, подобные навязчивым сновидениям. Воспоминания, отрывочные мысли... Трудно сказать что. Как будто, оступившись, он выпал из времени, настоящее и прошлое слились воедино в непрерывном мгновении, и он был сразу и тем, что сидел здесь, и тем, каким был в шестнадцать лет, в возрасте этой девочки, спящей возле.

Он ехал в поезде поздно ночью через штат Индиана, один. Сиденья в вагоне были обтянуты плюшем, когда-то красным, а теперь старым и вытертым почти до черноты. Чтобы откинуть спинку сиденья, надо было дернуть за ручку, круглую, черную, как ручка рычага коробки скоростей.

В конце вагона сидел старик в черном и так страшно кашлял, что казалось, хотел выплюнуть легкие. Возле единственной лампы в вагоне сидел кондуктор в черной кепке, надвинутой на лоб почти до очков; он старательно что-то писал, бормоча время от времени — не отрываясь от бумаг и не глядя на старика: «Чтоб ты сдох, черт побери!» Этот кашель и лязг колес на стыках рельсов впивались в мозг Нимрама так же, как сейчас впивался гул самолетных моторов. Стук колес, подхватив бормотанье кондуктора, превращал его в музыку, нудную, монотонную, которая вторила лязганью. «Чтоб ты сдох, черт побери!» Лязг! «Чтоб ты сдох, черт побери!» Лязг!

Нимрам дремал и вдруг просыпался в ужасе — он помнит это, — уверенный, что поезд сошел с рельсов и мчится среди

звезд; но, глядя в окно и видя мелькающие пятна темных кустов и деревьев и бесконечность серых, как прах, в лунном свете полей, убеждался, что поезд несется на бешеной скорости и все в порядке. Казалось, это случилось мгновение назад или происходит сию минуту, и тут же думалось, что с тех пор прошла уже вечность: его жизнь, словно стремительный бег времени, неслась нескончаемой чередой поездов, автобусов, самолетов, остались далеко позади две женитьбы, он давно женат в третий раз, и всегда и везде — работа, работа, работа, лишь богу известно, какая уйма работы, музыканта и дирижера, бесчисленные выступления в благотворительных концертах... Пережиты смерти друзей, боевой гул военных самолетов над Бруклином, взрывы в гавани, о которых не писали в газетах, рождение и становление Израиля; было время, когда он дирижировал израильским филармоническим оркестром, он пережил... да разве в этом дело? Ей шестнадцать, ее голова, не касаясь подушки, болтается, словно цветок на слабом, склонившемся стебельке. Всего, что он прожил, что пролетело мгновенно, так, что он и не заметил, хватило бы на века, он почувствовал это сейчас и понял, что ничего подобного никогда у этой девочки не будет.

Нет, не жалость и даже не гнев на несправедливость бытия испытывал он сейчас, а лишь растерянность, шок, сковавшие его разум. Если бы он был верующим — он был им, конечно, но не в общепринятом смысле, — он мог бы рассердиться на бога за то, что тот плохо управляет вселенной, или, в крайнем случае, задумался бы над тем, как далеко реальное от идеального. Но этих чувств он не испытывал. Бог был тут ни при чем, и вопрос о реальном и идеальном — чисто академический. Сейчас, глядя на девочку: нездорового цвета кожа, головка болтается, она, наверное, не чувствует неудобства, бесчувственна, как труп, — он ощутил, что беспомощен, и ему стало стыдно: счастливец, баловень судьбы, и потому нет от него проку, его жизнь легковесна и бесполезна, как воздушный шарик или струйка сигаретного дыма, которая тает, не оставляя следа.

Он едва познакомился с этой девочкой, но сейчас ему казалось — в глубине души он все же сознавал, что это не так, хотя, если бы девочка оказалась его дочерью, это так бы и было,— что, если бы Природа, мать тревог и покоя, позволила бы ему, он без колебаний поменялся бы жизнью с девочкой.

Неожиданно девочка вскрикнула и открыла глаза.

— Ну, ну, все в порядке,— сказал он, потрепав ее по плечу.

Еще не совсем проснувшись, не понимая, где она, Энн встряхнула головой.

— Ой,— сказала она и зарделась — желто-серая кожа ее потемнела.— Ой, простите,— и улыбнулась растерянно.— Мне сон приснился.

— Все в порядке,— сказал он.— Успокойтесь, все отлично.

— Ерунда какая-то,— сказала она, встряхнув головой снова, да так сильно, что мягкие волосы ее разлетелись. Она отодвинулась от него и потерла глаза руками.— Престранный сон,— опуская руки, сказала она и посмотрела в окно, чуть скосив глаза и пытаясь вспомнить, что же ей снилось. Он уже ясно видел, что первое его впечатление было ошибочным: никакого кошмара не было.— Мне приснилось, что я в каком-то вроде бы старом, противном подвале, там полно каких-то зверей, когда я попыталась открыть дверь...— Она остановилась и посмотрела вокруг, не слышит ли кто-нибудь еще. Но все спали. Она взглянула на него, сомневаясь, захочет ли он ее слушать. Он наклонился к ней с интересом, ожидая, что же дальше. Немного поколебавшись, она продолжала:— Когда я попыталась открыть дверь, ее круглая ручка выскользнула у меня из рук. Я стала скрестись в дверь и каким-то образом...— Она нахмурилась, вспоминая:— Не знаю как, но дверь вдруг распахнулась, и я обнаружила, что там, где должен быть выход, была... там была огромная комната. И в ней — все игрушки и куклы, которыми я когда-то играла, но которые потерялись или поломались, все совершенно новые.

— Интересный сон,— сказал он, глядя поверх ее глаз, и затем, чувствуя, что надо сказать еще что-то, добавил:— Сны — странная вещь.

— Я знаю,— кивнула она и быстро спросила:— А который час, вы не знаете? Еще далеко до Чикаго?

— Еще два часа. На моих часах...

И прежде, чем он закончил фразу, прервала его:

— Да, верно. Я и забыла.— Поежившись, она спросила:— Здесь холодно?

— Похолодало,— сказал он.

— Слава богу!— Она посмотрела мимо него в окно, и внезапно лицо ее просветлело:— А там теперь хорошо, по крайней мере молний не видно.

Мотнув головой, она отбросила назад волосы.

— Гроза осталась позади,— сказал он.— Я вижу, вы больше не боитесь.

— Вы ошибаетесь,— она улыбнулась.— Но сейчас, конечно, уже лучше. И все же я еще молюсь.

— Это хорошо,— сказал он.

Искоса посмотрев на него, она неуверенно улыбнулась и затем, глядя прямо перед собой, сказала:

— Многие не верят в молитвы и всякое такое. Из-за них и сама чувствуешь себя душой. Все равно как, например, мальчик хочет играть на скрипке, а не на трубе или ударных. В нашем школьном оркестре вся струнная группа из девочек, кроме одного бедного мальчишки, который играет на альте.— Помолчав, она снова взглянула на него и улыбнулась.— Ведь это же странно, что я говорю вам все, что приходит мне в голову.

— Да нет, почему же?

Она пожала плечами.

— Вот кто говорит, что бог есть, кто — нет, и все правы, а им не веришь. Я сама не знаю, есть бог или нет, но когда мне страшно, я молюсь.

— Это как в старой шутке,— начал он.

Но она прервала его:

— Вы любите музыку — классическую, я имею в виду?

Нимрам нахмурился:

— О, иногда.

— А кто ваш любимый композитор?

Сначала ему показалось, что, возможно, это Макхаут.

— Бетховен,— сказал он.

И, видимо, попал в точку.

— А кто ваш любимый дирижер?

Он притворился, что размышляет.

— Мой — Сёйдзи Одзава,— сказала она.

Нимрам кивнул, поджав губы:

— Я слышал, он хороший дирижер.

Она снова тряхнула головой, откидывая волосы, которые лезли ей в глаза.

— Угу,— сказала она. Какая-то новая мысль завладела ею, лицо ее вытянулось, стало серьезным. Сложив руки, она посмотрела на них и затем неожиданно с усилием вскинула глаза, чтобы встретиться с ним взглядом.— Я вас чуть-чуть обманула,— сказала она.

Он поднял брови.

— У меня ведь есть парень.— И быстро, как бы боясь, что он может спросить его имя, сказала:— Вы знаете, когда встречаешь нового человека, хочется казаться интересней, чем ты есть, ну...— Она снова стала разглядывать свои сложенные руки, и он видел, что она заставляет себя говорить:— Я выбрала этот трагический путь.

Он сидел очень прямо, напряженно ожидая, что за этим последует, вот-вот готовый усмехнуться.

Она промямлила что-то и, когда он к ней наклонился, повысила голос, все еще не глядя на него, ее было еле слышно, даже сейчас:

— Я то, что они называют «временная», но я думаю — это неважно, понимаете? Это как бы... Мне становится страшно, и я плачу, только когда говорю себе: скоро я...— Он видел, что это правда; если б она закончила фразу, она бы расплакалась. Коротко вздохнув, она продолжала:— Если бы наш самолет разбился, для меня это было бы почти что то же, просто немного раньше, а так — никакой разницы,

если мы и погибнем от этих молний или еще что-то...— Теперь она на мгновение подняла на него глаза:— Я, как всегда, несу чушь.

Глаза ее были полны слез.

— Нет,— сказал он.— Совсем нет.

Она, улыбаясь, ломала руки, словно в отчаянии, но в то же время и с удовольствием, и чувство радости нарастало, бросая вызов тяжелому бремени горя.

— Во всяком случае, у меня есть парень. Это тот, что играет на альте в нашем оркестре. Он милый. Я думаю, он прекрасный. Его зовут Стивен.— Она подняла руки и вытерла слезы.— Правда ведь, смешно? Моя жизнь удивительна.— Она усмехнулась и обеими руками закрыла лицо; плечи ее вздрагивали.

Он молча похлопал ее по руке.

— Я рассказала вам все,— заговорила она снова, когда смогла говорить,— потому что вы были так добры ко мне. Я не хотела...

— Все в порядке,— сказал он.— А знаете, ведь все добрые.

— Я знаю,— сказала она и вдруг рассмеялась сквозь слезы.— Это действительно так, правда! Вот и мой дядя Чарли говорит так же. Он живет с нами. Он старший брат моей мамы. Он говорит, что в предании о Ноевом ковчеге самое интересное то, что все звери там были перепуганные и глупые.

Нимрам рассмеялся.

— Он, правда, замечательный,— сказала она.— Только вот все время кашляет. Он умирает от эмфиземы легких, но попробуй скажи ему, что нужно бросить курить трубку или пойти к врачу, он прямо на стенку лезет. Он страшно не любит тратить деньги, но притворяется, что ненавидит докторов. Стоит лишь словом обмолвиться, как он поднимает крик: «Лживые пророки! Спекулянты! Пилулетолкатели! Гады ползучие!» Он, правда, ужасно кричит. Мой папа говорит, что его нужно привязать во дворе вместо сторожевого пса.

Она снова засмеялась.

У Нимрама заложило уши. Начинаясь длинный спуск. Помолчав, он сказал:

— Я ведь тоже был не совсем честен с вами. Я не занимаюсь бизнесом.

Она посмотрела на него с ребячески жадным любопытством.

— Я дирижер симфонического оркестра.

— Правда?— спросила она, нахмурившись, и внимательно на него посмотрела, точно проверяя, не лжет ли он.— А как вас зовут?

— Бенджамин Нимрам,— сказал он.

Она явно была смущена. Сощуриив глаза и порывшись в памяти, она сказала:

— Думаю, что я слышала о вас.

— *Sic transit gloria mundi**.— Он горько усмехнулся.

Она улыбнулась и, откинув волосы, сказала:

— Я знаю, что это значит.

На табло засветилась надпись: «Не курить». Далеко под ними ярко сияла огнями земля.

В фойе аэропорта О'Хара он сразу заметил свою жену (не видя его, она неподвижно стояла в толпе и улыбалась) в пальто и берете темно-красного, почти черного цвета. Она застыла, точно образ старинной картины. Он поспешил к ней. Теперь и она увидела его и, взмахнув рукой, чтобы помахать ему, разом разрушила видение, вернув себя в свое время, и легко пошла к нему навстречу. Он снял темные очки и сложил их.

— Бен!— воскликнула она, и они обнялись.— Милый, ты ужасно выглядишь!— Она отпрянула, чтобы лучше рассмотреть его, затем обняла снова.— По телевидению говорили, что в Лос-Анджелесе была такая гроза, каких еще не бывало! Я прямо заболела от страха!

— Ну, ну,— сказал он, чуть задерживая ее в объятиях.— Как папа, как мама?

* Так проходит земная слава (лат.).

— Как летели?— спросила она.— Держу пари, жутко! А человек с псарни заберет Трикси?

Он подхватил ее, и они пошли в ногу, широким шагом направляясь к аэровокзалу.

— С Трикси — все прекрасно, полет был прекрасный, все прекрасно,— сказал он.

Она лукаво наклонила голову:

— Ты не пьян, Бенджамин?

Переговариваясь на ходу, они шли к выходу, обгоняя двух стариков с палками.

— Я встретил девушку,— сказал он.

Она заглянула ему в глаза.

— Хорошенькую?— спросила, смеясь и поддразнивая его, но сама вся напряглась, точно ястреб. А почему бы и нет? Он был дважды женат до того, как они встретились, и они так же не похожи друг на друга, как день и ночь. И почему она должна верить в его верность? Подозрение, возникшее было в нем, что девушка может быть дочерью Арлин, снова кольнуло его. Он знал, что рано или поздно он не удержится и спросит ее об этом, но не сейчас. «Перепуганные и глупые»,— подумал он, вспоминая, и в углу рта вновь появилась привычная морщинка. Он представил себе Ноев ковчег — глухая и слепая громадина, осторожно, со страхом ползущая к горе Арарат.

— Очень молоденькая,— сказал он.— И уже не жилец на этом свете.

Они шли очень быстро, как ходили всегда, плавно про- скальзывая мимо всех остальных. Он не раз и не два оглянулся через плечо в надежде увидеть Энн Кёртис; но это было невозможно, он знал это. Она выйдет самой последней, болтая, надеялся он, или «продолжая свой трагический путь». Пальто Арлин разлеталось, лицо полыхало румянцем.

Как только Энн Кёртис вышла из самолета, она узнала от своего отца, кто был тот человек, который так по-дружески к ней отнесся. На следующий вечер, когда Нимрам

дирижировал Чикагским симфоническим оркестром, исполнявшим Пятую симфонию Малера, она вместе со своими родителями была в зале, на балконе второго яруса. Они приехали поздно, после исполнения «Музыки на воде», которой открывалась программа. Отец достал билеты только в последний момент, и они долго добирались из Ле Гранж. Свои места они заняли, когда оркестр уже перестраивался, вводя новые инструменты, и музыканты, исполнявшие Генделя, подвигались вперед и садились ближе друг к другу.

Никогда раньше она не видела оркестра Малера: девять валторн, волна на волну, скрипки и виолончели, длинный ряд ослепительно сверкающих труб, еще ряд — тромбоны, два ряда басов, четыре арфы. Все это внушало благоговейный трепет, почти страх. Оркестр заполнил огромную сцену от края до края — огромное черное чудовище, слишком огромное, чтобы летать, оно охраняло землю, и голова его — пустой, пропитанный светом пульт — была выдвинута вперед. Когда последний музыкант оркестра присоединился к остальным и все вновь пришедшие настроили свои инструменты, огни в зале постепенно погасли и люди внизу, под нею, словно повинувшись невидимому сигналу, начали аплодировать, за ними вступили и те, что окружали ее. Теперь аплодировали и она, и мама, и папа, аплодировали всё громче, и рев аплодисментов, нарастая, притягивал дирижера к пульту. Он шел, точно пантера, полный достоинства, ликующий, сверкая белозубой улыбкой и приветствуя оркестр двумя высоко поднятыми руками. Пожав концертмейстеру руку, он быстро поднялся к пульту — свет вспыхнул в его волосах, — повернулся лицом к залу, поклонился, широко раскинув в стороны руки, затем выпрямился, высоко подняв подбородок, точно упивался наслаждением публики и сверхъестественной ее верой в него. Повернувшись, он быстро раскрыл партитуру — аплодисменты стихли, и в тишине он минуту ее изучал, точно читал показания сложных приборов. Затем взял дирижерскую палочку, музыканты подняли свои инструменты. Откинувшись назад, он воздел руки и замер, будто посылал заклинания на армию музыкан-

тов, недвижимую, точно в мгновение застывшая толпа, точно бездыханные мертвецы всей вселенной в ожидании невозможного. И тогда правой рукой он сделал движение — не более того, почти играючи, прозвучал призыв трубы как предупреждение и аудитории — рядам призрачных лиц, белеющих в темноте, — и неподвижному, купающемуся в свете оркестру. Он сделал движение левой рукой, и оркестр шевельнулся, сначала осторожно, но предвещая такое пробуждение, о котором Энн никогда не мечтала. И вот запела вся огромная долина оркестра, ровно лилась прозрачная музыка, вбирая в себя все вокруг, и этот поток был подобен тревожной глади гигантской косы — никогда в жизни она не слышала звука такого широкого, словно все люди, живые и мертвые, сошлись в едином яростном порыве. Этот звук летел над землей, набирая силу, создавая огромное напряжение, в нем было сомнение, ужас, неистовость — и затем с удивительной легкостью взмывал ввысь. Она сжала руку отца так, как сжимал прошлой ночью ее руку Бенджамин Нирам. Мама склонилась к ней, как клонится дерево в сильный ветер.

— Ты уверена, это он? — спросила она.

— Конечно! — сказала Энн.

Кто-то сзади коротко, строго кашлянул.

Оцепенение

Интересно, каково это — обладать даром ясновидения, часто думала Джоан Орик, — по слухам, у ее бабушки Фрэзьер был такой дар. Вот и сегодня, уже в сорок лет, сидя рядом с Мартином, который остановил машину у светофора на углу Гранд и Олив-стрит в Сент-Луисе, она снова подумала об этом. Они были здесь проездом из Урбаны, где Мартин выступил с лекцией, и теперь ехали в Норман, штат Оклахома, где ему предстояло принять участие в работе жюри по присуждению так называемой «Международной премии за книги новых городов».

— Что это такое? — спросила Джоан, когда пришло приглашение.

— Собственно говоря... — начал было с важным видом Мартин, но раздумал и просто сказал: — Да бог его знает.

— Давай поедем через Сент-Луис, — предложила Джоан. Он с готовностью согласился, благородный и великодушный, как всякий раз, когда готовился к лекции и надеялся произвести впечатление. На нее же его лекции особого впечатления не производили, хотя она не подавала виду, но это уже в прошлом. И Сент-Луис тоже не произвел на нее впечатления, когда, свернув с семидесятой автострады, они через арку въехали в город. За окном мелькнули стадион, невзрачные коробки казенных зданий, руины большой железнодорожной станции, где несколько лет подряд (пока Мартин не обзавелся мотоциклом) она встречала его в дни рождений и рождественских каникул, — все было серо, выветрено, выжжено солнцем. Проезжая по улицам, где они так часто бывали, Джоан думала о ясновидении и жалела, что приехала сюда.

И все же что бы она подумала тогда, в конце сороковых годов, стоя на этом вот углу по пути в школу танцев Даггерсов, где у нее была почасовая работа аккомпаниатора, если бы ей вдруг привиделся центр Сент-Луиса таким, каким она видела его сейчас, двадцать пять лет спустя? Что подумала бы и что почувствовала бы она, стоя в толпе на этом шумном перекрестке, если бы толпа вдруг рассеялась, остались бы лишь две-три торопливо бегущие фигуры и все здания вокруг стали бы мрачными, как стены мавзолея или тюрьмы?

И вдруг возникло видение четкое, словно фотография или старый черно-белый документальный фильм без комментариев, и она представила себя такой, какой она была в сороковые годы — школьница в юбочке, носочках и мокасинах, со светло-зеленым шарфом, мелкие, тугие, блестящие кудряшки перманента на голове, а под мышкой — книги, так как шла она на автобус прямо из школы, чтобы ехать в деловую часть города из Фергюсона до Норманди, а от Норманди до Уэлстона. Кажется, здесь, на этом углу было чудесное кафе «Парк плаза», где торговали мороженым и за доллар можно было купить огромной высоты порцию «парфе», а вокруг были театры, красочные, как цирки, с высокими куполами и броскими афишами: «Канат», «Пурпурное сердце», «Возвращение Фрэнка Джеймса», обрамленными бегущими и мигающими дорожками огней — желтых, красных, голубых, пурпурных, зеленых, белых (она помнила, что даже в те времена перегоревшие лампочки не заменяли); внутри театры походили на дворцы — огромные золоченые львы и красные бархатные, толщиной в три дюйма, на золотых столбиках канаты; величественные широкие лестницы, ступая по которым каждый на миг мог ощутить себя королем или королевой; повсюду швейцары в униформе времен империи (бог знает какой империи); в этих огромных, увенчанных куполами театрах царил благоговейная тишина, словно в церкви, и рокот голосов на сцене, казалось, доносился со всех сторон и звучал внутри вас, и чудилось, что с вами говорят сами оракулы.

В то время все большие магазины были расположены в центре города, как, например, чопорный «Феймос-Барр», сверкающий, с высокими потолками и вращающимися огромными, устремленными ввысь дверями в золотых рамах; проходы забиты покупателями, в основном белыми, а на прилавках и высоких стендах — всякие чудеса: дорогие пальто и платья строгих тонов, парящие в вышине, словно ангелы с широко распахнутыми крыльями; и повсюду развешаны ожерелья из искусственного жемчуга или рубинов; красные, зеленые, голубые, желтые украшения, браслеты цвета расплавленной меди, и пахнет духами и тальком, типографской краской, исходящей от новых книг, и кожей новых ботинок — и все эти запахи сливаются в один, волнующий и вместе с тем приторный, как аромат роз в большом цветочном магазине где-нибудь в центре города или запах ладана в католической церкви.

Представим себе на миг, думала Джоан, что все это вдруг исчезло и девочка на углу — сама Джоан в пятнадцать лет — ошеломленно и испуганно смотрит на пустой и темный город; представим себе, что на город вдруг упала тишина, что все веселые звуки жизни выключились, как выключаются музыка и помехи поворотом ручки радиоприемника, и в то же мгновение город замер, словно сердце его остановилось: все неподвижно, только три-четыре негра куда-то спешат, они странно одеты, их длинные волосы устрашающе взбиты; ничто не шелохнется, лишь два голубя парят в вышине да ветер гонит по мостовой газету. Я попала в будущее — поймет наконец воображаемая Джоан, — наверное, была страшная война или чума и все было разрушено.

К чему ждать будущего, если она может все узнать заранее? Какой смысл говорить девочке, стоящей на углу: «Мы счастливы, Джоан. Не бойся! На свете много прекрасных городов, даже если этот, возможно, погиб». Испуганная, чувствуя себя преданной, девочка отступила бы — да, конечно, ей бы стало страшно. А как же иначе, когда к ней обратилась странная, экстравагантная женщина в темных очках, какие носили в те времена негры в наиболее опасных районах

восточного Сент-Луиса, женщина в меховом мантио, ворсинки которого торчат так, словно рысь, из меха которой оно сшито, погибла от страха (избыток адреналина), женщина, чья красота остра, как клинок, чьи гладкие волосы падают прямо, как у индейцев, но так же огненно-рыжи и блестящи, как у самой Джоан,— эта женщина тянется к ней из окна темно-синего «мерседес-бенца», а машину ведет какой-то странно-печальный сутулый мужчина с опухшими глазами, серебряные волосы которого, длинные, как у ангела, спадают на тяжелые плечи,— чудовище, которое, она это вдруг почувствовала, она должна узнать.

Девочка просто отступила бы в гневе и ужасе, прикрыв скобу на зубах, а настоящая Джоан кричала бы в свои безвозвратно ушедшие годы, взывала бы к ней, терзаемая жалостью и болью: «Дитя, милое, глупое дитя! Мы, как и ты, никому не причинили зла, мы никого не предавали! Посмотри же на нас!» И девочка посмотрела бы на них, и узнавание бы свершилось: богатая экстравагантная дама (с прекрасными зубами, отметила Джоан, самодовольно улыбнувшись и чувствуя прилив нежности к этому наивному, большеному подростку на углу улицы), дама в мехах, с изумрудами, рубином и бриллиантом на пальцах и есть она сама, Джоан,— ее же собственное дитя, как сказал бы Вордсворт*,— а машину ведет Бадди Оррик, он стал еще печальнее и еще безумнее, чем прежде, но он — вот он, живой Бадди, ее муж; значит, им все-таки несмотря ни на что удалось выжить. Девочка подошла чуть ближе, в ее лице нетерпение и вопросы, вопросы... (Мы могли бы подвезти ее к Даггерсам, подумала Джоан, это всего лишь в двух-трех кварталах отсюда.) Маленькая детская рука опасно потянулась к руке реальной Джоан, лежавшей на боковом стекле «мерседеса», и обе были бледны и вполне материальны, но рука девочки вдруг исчезла, и Джоан Оррик поняла, что смотрит на кусок грязного картона на разбитом тротуаре и на этом куске написано: «Осторожно — стекло».

* Вордсворт Уильям (1770—1850)— крупнейший английский поэт-романтик.

Мартин взглянул на нее и заметил слезы.

— Болит? — спросил он.

Да, болело, как почти все эти дни, иногда боль была такой сильной, что временами она на миг теряла сознание, — болело, даже когда действовали таблетки, как вот сейчас, вызывая видения, — но она сказала:

— Нет, — и улыбнулась ему, чтобы рассеять тревогу. — Так, задумалась.

Он погладил ее руку. Загорелся зеленый свет, и машина беззвучно тронулась с места.

Она сказала:

— Вон там впереди была школа Даггерсов, помнишь?

— В каком доме? — Он нагнулся над рулем, чтобы увидеть.

Когда машина поравнялась с домом Даггерсов, она показала; дом был разрушен огнем, как и большинство соседних зданий. Мартин скользнул взглядом по зачерненным и забитым досками витринам, и Джоан увидела, что он не понял, о каком именно доме идет речь.

Джеки Даггерс была крошечного роста, типичная преподавательница классического танца в миниатюре; как все балерины, она так гладко зачесывала волосы, что они казались издали нарисованными, точно у японской куклы. Говорила она с акцентом (это часто бывает с людьми ее профессии, даже если они выросли в Милуоки или Сент-Луисе) и пот со лба, как и все балерины, вытирала тыльной стороной руки; Джоан она называла «ми-иуочка» с неподдельным чувством, хотя сразу этого можно было и не понять, так как Джеки постоянно спешила, постоянно находилась в каком-то напряжении, как будто через полчаса ей предстояло улететь в Мюнхен или Париж. Она была — или так казалось Джоан — замечательной балериной, впрочем, танцующей Джоан ее никогда не видела, если не считать тех па, что Джеки показывала на занятиях. Впечатление это подтверждали старые фотографии: бросалась в глаза уверенность в себе, свойственная любому профессионалу; можно

было убедиться, что когда-то Джеки выступала в труппах так называемого «второго ранга» в Америке и в Канаде. «И-и-и раз!»— говорила она, и руки Джоан сами собой опускались на клавиши фортепьяно.

Ее муж, Пит Даггерс, преподавал чечетку в зале с зеркальными стенами, расположенном на первом этаже. Почти такой же маленький, как и Джеки, но поплотнее, можно даже сказать плотный, Пит и выглядел и двигался, как персонаж Диснея. Он был краснолицым, с удивительно веселыми голубыми глазами и носил жилеты и старомодные резинки на рукавах. И если он все же касался пола, хотя бы при ходьбе (а он касался), то Джоан готова была поверить, что делает он это лишь из прихоти. Движения Джеки у станка не производили впечатления легкости, невесомости, напротив, совершенно очевидно было, что стальные мускулы ее ног полностью подчиняются ее воле и, как стрелки часов, подвластные главной пружине, не могут ни ускорить, ни замедлить свой ход. То же и в середине зала: когда Джеки взлетала на носки (резкий рывок, щелчок, словно пятка с лодыжкой сомкнулись, короткое, как спазм, движение мускулов и — твердость клинка), казалось, что прикоснуться к ее икре или бедру, все равно что дотронуться до стены. Танцующие ноги Пита, напротив, болтались как бы сами собой, будто тело его, как у куклы, было подвешено на невидимых нитях. Движения его были легки и быстры, ноги, точно не ощущая тяжести тела, беззаботно и весело, с невероятной скоростью отстукивали ритм, и так же быстро скользили по клавишам рояля пальцы негра-тапёра, высокого парня с гладко зачесанными волосами,— он сидел, откинувшись на спинку стула, запрокинув голову, и казалось, что все в нем спит, кроме рук и мелькающих пальцев. Скорость и легкость Пита Даггерса завораживали зрителей, но что поистине было чудом, от которого перехватывало дыхание, так это его манера внезапно останавливаться, расслабившись и ухмыляясь, как бы облокотившись о воздух, словно он уже давным-давно стоит тут, а все, что вы только что видели и слышали,— лишь игра вашего воображения. Это была рассчитанная на

неизменный успех кульминация его танца: сначала, в медленном темпе, элегантно скользящие шаги, повороты, затем все быстрее, быстрее, быстрее, до тех пор, пока не начинало казаться, что комната вертится, как пьяная, как безумная, что все вокруг несется неотвратно, как стрела, куда-то в бесконечность, и вдруг — оцепенение, точно бегство от действительности, мгновение невесомости, прекрасной или страшной, Джоан сама не знала; внезапная тишина, какая бывает, когда целая толпа людей застынет, глядя на неподвижно парящего орла; жуткое безмолвие (мы читали об этом в романах), когда над Лондоном нависал смертельный снаряд. Пит стоял не шелохнувшись, рояль молчал, молчали, разинув рот, ученики. Но вдруг чары рушились, рояль снова начал брэнчать, ноги Пита начинали двигаться, и тогда Пит, обернувшись к ученикам, подмигивал им:

— Чувствуете? Оцепенение. Вот в чем секрет!

В то время Олив-стрит уже приходила в упадок. Жалкую витрину дома Даггерсов, где были выставлены фотографии солистов и занятий в классе, украшали крупные, вульгарные звезды, а стекла витрины вокруг фотографий были грубо замазаны темно-синей краской. Создавалось впечатление, что танцевальная школа Даггерсов — бедное, третьеразрядное заведение, которое не стоило даже того, чтобы в него ворваться или потихоньку улизнуть, хотя двери и не были заперты. Но это был трюк — танцоры Даггерсы любили трюки, — они были артистами до мозга своих ломаных-переломанных костей. Обшарпанная, некрашенная входная дверь вела в обшарпанный, некрашенный коридор, где слева была дверь с надписью: «Класс чечетки», а из коридора наверх шла корявая, покосившаяся лестница с облезлыми перилами; укрепленный над перилами указатель гласил: «Школа балета». Когда вы впервые попадали в класс чечетки, у вас захватывало дух: сверкающие арочные зеркала украшены гравировкой, какую Джоан много лет спустя случайно обнаружила на зеркалах в старейших пабах Лондона, красные с золотом стены и изумительный потолок из рифленой белой жести. Хотя Джоан проработала в школе Даггерсов

четыре года — пока не поступила в колледж, — она не переставала удивляться роскоши внутреннего убранства их дома. Когда-то здесь был театр. Класс чечетки и школа балета над ним занимали лишь тридцать футов огромного здания. Дальше шла галерея, тоже красная с золотом, и с нее открывался вид в широкий и длинный танцевальный зал, в глубине которого была огромная сцена, отделенная от зала потрепанным тяжелым бархатным, цвета красного вина, занавесом. Боковые стены были украшены канделябрами и высокими панелями, с которых в зал смотрели танцующие грации, Зевс во всем своем величии, нимфы и сатиры, павлины и обнаженные толстяки в позах полулежачи — весьма неудачное подражание позднему Рубенсу.

Однажды Джоан привела туда Мартина — в то время его звали Бадди, Мартин приехал на мотоцикле из Индианы, где учился в колледже. Он предложил подвезти ее до работы в машине ее отца «де сото». Как всегда, он превышал скорость, то и дело поглядывая в зеркальце над рулем, не появились ли полицейская машина, — поэтому к дому Даггерсов они подъехали задолго до начала занятий.

— Не хочешь посмотреть? Здесь интересно, — предложила Джоан.

Их шаги гулко отдавались в пустом помещении. В танцевальном зале было полутемно. Они едва различали резные фигуры на потолке высотой в два этажа, обрамлявшие пустоты, откуда когда-то свисали тяжелые люстры.

— Как в церкви, — сказал Бадди. Подстрижен ежиком, в кожаной куртке, сигарета прилипла к губе, как у Марлона Брандо. Он написал уже два романа, непригодных для печати, — ужасных, с ее точки зрения, хотя ему она об этом не говорила. Но несмотря ни на что Джоан была абсолютно уверена, что Бадди станет знаменитым — когда, наконец, пошлет к черту Джеймса Джойса.

Она крепко сжала его руку, они остановились, постояли, потом поцеловались. Затем прошли через зал дальше, к сцене, где ученики Даггерсов демонстрировали свои успехи. Поднявшись на сцену, они оказались среди затененных

фонарей, канатов, рабочих помостов — здесь было темно, как в царстве теней, и вся механика сцены казалась не только из другого времени, но и с другой планеты. Они снова остановились и поцеловались, он обнял ее. Потом она нащупала его руку и положила ее к себе на грудь, под свитер, и он, несмотря на свой опыт, как всегда, запутался и долго не мог расстегнуть бюстгальтер. Она чувствовала, что все ее существо рвется к нему, он прижимался все теснее. Взмахнув свободной рукой в сторону тусклого, полного призраков зала, он шепнул:

— Милая леди, вам нравится отдаваться на глазах у этих людей.

Она хмыкнула и, не отпуская его руки, повела его в другое крыло к маленькой двери в комнату, которую она обнаружила несколько недель назад. Там, опутанные паутиной, хранились старые ящики, электропровода, бумажные мешки, разошедшиеся рамы от старых декораций и повсюду стояли столы, стулья, кушетки, укрытые от пыли брезентом.

— Может быть, нам стоит порепетировать? — предложила Джоан.

Они пробрались под высокое окно, из которого падал единственный луч света, и Джоан посмотрела на часы. Еще пятнадцать минут. Она оглядывалась, не отпуская его руки со своей груди, и наконец он заметил кушетку, подошел, сбросил брезент, и, когда уже был с ней, как всегда жадный и нетерпеливый, — но и она тоже, она тоже! — Джоан спросила:

— Ну как, интересно было?

Она взглянула на Мартина — Бадди средних лет. Он привычно следил за дорогой, занятый своими собственными мыслями. Он уже давно забыл о Даггерсах, о тех временах. Его руки, держащие руль, были мягкими, даже пухлыми, но все еще сильными. Переведя взгляд на его лицо, она спросила:

— О чем ты думаешь?

Мартин, моргнув, встряхнулся, как бы извиняясь.

— Да так, ерунда, — сказал он. — О том, что Афина ска-

зала Одиссею. Ерунда.— Вид у него был почему-то смущенный.

Она посмотрела в окно, достала сумочку, открыла, нащупала таблетку.

— Опять болит?

Это «опять» кольнуло ее, она досадливо поморщилась:

— Просто устала.

— Надо было лететь самолетом,— сказал он и, пригнувшись над рулем, взглянул на небо над крышами домов.

Небо было серое, спокойное, светлое, как озеро Эри, если смотреть на него с умолкших, опустевших берегов. Джоан подумала о Джеки Даггерс.

— В термосе есть еще кофе,— сказал Мартин.

— Кофе?

— Запить таблетку.

— Не надо, уже проглотила.

Его беспомощная заботливость трогала ее. «Одиссей»,— подумала она. Его доклад в Урбане был о Гомере. Она грустно улыбнулась. Как всегда, ему хотелось бы поговорить о себе. Но он, конечно, этого не сделает. Слишком хорошо воспитан. Она же, со своей стороны... Она покачала головой и снова улыбнулась.

Даггерсы занимали всю левую часть дома от входа со стороны улицы. Более красивых комнат в те времена Джоан еще не приходилось видеть, хотя в отделке интерьера не было ни большого вкуса, ни особой оригинальности. Позже она встречала много похожего в Сан-Франциско и значительно более элегантного — в Лондоне и Париже. В квартире Даггерсов все было белым — стены, ставни окон, мебель, даже цепи, на которых висели люстры. И на белом фоне свободно, непринужденно разместились картины, написанные, по-видимому, друзьями, очень любопытные и запоминающиеся, как казалось Джоан,— грязные пятна, яркие брызги, одно из полотен — белое с мелкими серыми и ярко-голубыми мазками; скульптура — прелестная абстрактная композиция из темного дерева, фигурка танцовщика из кусочков старой проволоки, копии с музейных

экспонатов «мобил» — конструкция из дерева и нержавеющей стали, полки с книгами, пластинками. И огромный проигрыватель с отдельным динамиком. Кроме как у Даггерсов, Джоан нигде таких не видела. Однажды Джеки пригласила Джоан зайти, чтобы выписать чек за неделю. Но, не дойдя до кухни, Джеки неожиданно остановилась, повернулась характерным движением балерины и вдруг предложила:

— Джоан, показать вам мои туфли?

— О да, мне очень бы хотелось их увидеть! — воскликнула Джоан.

Джеки скользнула по комнате, грациозно помахивая вытянутой вперед рукой, и, подбежав к белой раздвижной стене, толкнула ее в сторону. Джоан замерла. Полки с наклоном вперед, занимавшие половину стены, были заставлены крохотными туфельками. Джеки хранила триста пар — золотых, серебряных, желтых, красных, зеленых, с длинными завязками, яркими, точно новые ленточки, с маленькими бантиками и просто черных, как подкладка кармана.

— Откуда у вас все это? — спросила Джоан.

Джеки рассмеялась.

— В основном из Парижа. — Она окинула Джоан быстрым оценивающим взглядом. Затем снова засмеялась. — Ми-иуочка, в Париж вам еще предстоит влюбиться. Там есть большой магазин, универсальный, называется «Прэнтан». Когда вы там будете, передайте воздушный поцелуй от Джеки! — Она закатила глаза. — О, французский язык!

Несколько лет спустя, когда Джоан впервые вошла в «Прэнтан» за покупками, она вспомнила Джеки и исполнила ее просьбу. И еще несколько лет спустя она вспомнила Джеки, когда, возвращаясь вместе с семьей из Европы, вышла в аэропорту «Ламберт филд» в Сент-Луисе и к ней с камерой и микрофоном подошли репортеры, проворные, профессионально бесстрастные негры из телекомпании «КСДФ», и спросили, не имеет ли она предложений по улучшению обслуживания аэропорта.

— Ну-у... — кокетливо протянула она, обворожительно улыбаясь и хлопая ресницами. (Мартин с детьми скрылся в

толпе.) Потом пальчиком в дорогих кольцах постучала себе по губам и, глядя в сторону камеры хранения с вызовом, словно что-то сокровенное нехотя произнесла:— Мне бы хотелось, чтобы все эти люди умели говорить по-французски.

Эту сценку показали вечером по телевидению в программе местных новостей. Ее семья, к счастью, передачу пропустила, а родственники с удовольствием сообщали по телефону, что видели Джоан по телевизору, но ее словам, похоже, никто не придал значения.

— Не знаю, попаду ли я когда-нибудь в Париж,— сказала Джоан в тот день у Даггерсов.

Джеки весело, молодо рассмеялась, хотя ей было уже сорок.

— Играйте на рояле и ни о чем не думайте,— сказала Джеки.— Если вы не поедете в Париж, Парижу придется приехать к вам.

«Интересно, куда же они девались, когда жить здесь стало слишком опасно?— подумала Джоан.— Да и живы ли еще?» Неожиданно без явных на то причин ей пришло в голову, что Пит Даггерс похож на мистера Миксидоу, героя любимой книжки ее детства, в конце которой весь мир катится в бездну. Эту книжку Джоан искала повсюду, ей очень хотелось, чтобы Ивен и Мэри прочитали ее, но ни одного экземпляра книги найти не могла. Коллекционеры, у которых Мартин доставал редкие старые издания, и те не нашли и следа ее. Может быть, и Пита Даггерса, и Джеки тоже поглотила тьма? Как-то она справилась о нем в «Эбби» на Тринадцатой улице в Нью-Йорке, куда трижды приезжала посмотреть представление, называвшееся «Хуферс»*. На этот праздник танца собирались все выдающиеся мастера чечетки. Дождаясь у выхода из театра, когда Мартин придет за ней, она разговорилась с Бодженглисом Робинсоном и Сэндманом Симсом. Они танцевали прямо на тротуаре — один справа, другой слева от нее, смеясь и хлопая в ладоши, демонстрируя отдельные приемы, и она спросила, не знает

* Хуф — копыто (англ.), жаргонное «нога», хуфер — исполнитель чечетки.

ли кто из них Пита Даггерса. Сэндман закатил глаза и приподнял шляпу, будто хотел заглянуть в нее.

— Даггерс,— сказал он, роясь в памяти.

— Вы говорите, этот человек работал в Сан-Луи?— вмешался Бодженглис.

— Я была аккомпаниатором у его жены, она преподавала в балетной школе,— сказала Джоан.

— Даггерс,— сказал Сэндман,— что-то очень знакомое.

— Белый, женатый на учительнице танцев,— произнес Бодженглис, прикрыв рукой рот.— Что-то такое я припоминаю.

— Даггерс,— повторял Сэндман, поглядывая на освещенное уличными фонарями небо,— Даггерс...

— Он развивал бешеный темп, а потом неожиданно замирал на месте,— сказала Джоан.— Превосходный танцор.

— Даггерс,— задумчиво проговорил Бодженглис.— Наверняка я его знаю. Провалиться мне на этом месте. Держу пари, что вспомню.

Они остановились на ночь в шестидесяти милях от Сент-Луиса в мотеле «Рамада инн», новой бетонной коробке, засунутой в рану черной земли, где еще совсем недавно была ферма. Мартин заснул, а Джоан села в постели, ожидая, когда начнет действовать димедрол. На гладком, как зеркало, ореховом туалетном столике лежала рукопись Мартина «Справедливость у Гомера и ложь по законам искусства». Хотя он уже выступал с этим докладом, текст снова пестрел поправками. Его нужно было еще «доработать», сказал он, потом, отчаявшись, отложил рукопись в сторону и, поцеловав ее, как обычно, в щеку, лег спать. Он, конечно, вставит этот опус в какую-то книгу или напишет на эту тему роман или рассказ. Он без конца совершенствует свои творения, подобно богу бабушки Фрэзьер, с холодными, как лед, глазами и сурово сжатым ртом, или подобно богу, не имеющему снисхождения. Мелькнуло воспоминание — нью-йоркский доктор, который понес какую-то чепуху о «необходимости прибегнуть к помощи психиатрии и волшебной

силе молитвы»; она усилием воли отбросила эту мысль. Потянувшись к рукописи Мартина, двумя пальцами придвинула ее к себе и взглянула на первые строки. «В Древней Греции»,— писал он. Дальше шло что-то непонятное, вероятно, по-гречески.

С минуту она смотрела на его почерк — причудливый, эксцентричный, знакомый, как ее собственный, только еще более дорогой (здесь было все пережитое — поженились они в девятнадцать лет и прожили в браке более половины своей жизни), и поймала себя на том, что думает (почему, непонятно) о чердаке бабушки Фрэзер, суровой баптистки-южанки. За опутанными паутиной стропилами торчали пачки старых номеров «Христианского вестника», газеты, в которой было множество картинок с ангелами. Там же стояли рамки для фотографий в дубовых листочках, заплесневелые, как старый хлеб, чуть дальше — приземистый сосновый кухонный шкаф с разбитыми стеклянными ручками и перевязанные кипы хрупких от старости, в мелких коричневых пятнах, как руки бабушки, нот. В дальнем углу чердака стоял сундук с одеждой — пыльно-черной и серой, как у конфедератов,— так, по крайней мере, казалось Джоан. Семейные предания гласили, что страшные предвидения бабушки Фрэзер сбывались. Ее брат Фрэнк, двоюродный дедушка Джоан Оррик, стоял на крыльце своей хижины возле реки, когда с ревом тысячи поездов налетел торнадо, и дедушка Фрэнк пальнул в него из дробовика.

Той хижины давным-давно нет, как нет и дома бабушки Фрэзер, и самой бабушки, и столь любимого Мартином Гомера. Двумя пальцами Джоан нащупала пульс на шее, посмотрела на часы,— нормальный. И все же она чувствовала себя усталой и измученной. Не от вина же, которое они выпили за обедом, но и не от таблеток. Она отодвинула листки рукописи, тихонечко встала, обошла широкую кровать, на которой спокойно спал ее муж. Он лежал неподвижно, словно мраморный, широкая, в родинках, спина и плечи обнажены — так он спал всегда, и зимой и летом, и только дыхание выдавало в нем жизнь. «Как же он поседел»,— с

удивлением отметила Джоан. За окном была пыльная стоянка автомашин, залитая мертвенным, холодным светом от фонарей, спрятанных в кленах, до которых еще не добрались бульдозеры. Она поскорей отвернулась от окна в безлично чистую гостиничную комнату.

Осторожно, чтобы не разбудить Мартина, снова забралась в постель и лежала с открытыми глазами, которые незнакомому с ней человеку — она это знала — могли показаться такими же холодными и равнодушными, как у ее бабушки Фрэзьер. Положив правую, без колец, руку на руку Мартина, она прижалась губами к его плечу и, уже совсем засыпая, подумала, что рано или поздно каждый, конечно, узнаёт свое будущее.

Любитель музыки*

Несколько лет назад в нашем городе жил профессор Альфред Клингман, большой любитель музыки. Он изучал германскую филологию или что-то в этом роде — по крайней мере до ухода в отставку, — но о специальности своей никогда не разговаривал, так же как и никто никогда не пытался заговорить с ним ни о чем, кроме музыки, ну разве что о погоде. За много лет до того, о чем я хочу рассказать, он потерял жену и с тех пор жил совсем один в запущенной городской квартире, и не было возле него ни кошек, ни собак, ни цветов, ни даже часов. Кроме тех вечеров, когда бывал в концертах, он никуда не выходил, целыми днями сидел дома и слушал по радио симфоническую музыку, а по субботам после обеда — оперу. Одиночество сделало его странноватым, несомненно, он и сам это чувствовал, потому что был совсем не глуп. Глядя на него, можно было подумать, что живет он один из боязни кого-нибудь обидеть. Казалось, что и рядом с болонкой он не чувствовал себя равным. Он ходил втянув голову в плечи, выставив вперед налитое кровью лицо, беспокойно улыбаясь и робко кланяясь всем подряд, даже кошкам, а порою и уличным фонарям.

У каждого, кто выживает в этом мире, есть хотя бы одно убежище, где он спасается от тягот жизни, и для профессора Альфреда Клингмана таким убежищем была музыка, поскольку жена его преподавала игру на фортепьяно. Когда бы ни объявляли концерт — а концерты бывали почти каждый вечер, за исключением летнего времени, так как город наш

* В этом рассказе использованы слегка измененные отрывки из новеллы Томаса Манна «Разочарования». (Примечание автора.)

славился музыкальной школой и у нас были симфонические оркестры, профессиональный и любительский, и бесчисленные хоры, — профессор Клингман, волнуясь, тщательно одевался в старый коричневый костюм и белую, скорее уже желтую рубашку, нацеплял черный галстук-бабочку, влезал в длинное коричневое пальто и коричневую шляпу и, схватив палку и поспешно оглядев себя в зеркале, как сделал бы это дирижер оркестра или прославленный солист, торопился в концертный зал с паническим, почти безумным видом, выставив вперед улыбающееся близорукое лицо. Войдя в вестибюль, он первым делом испуганно сверял свои карманные золотые часы с висевшими над окошком билетной кассы. Хотя у него неизменно оставалось в запасе минут двадцать, он все с тем же лихорадочным беспокойством сдавал в гардероб пальто и шляпу, с помощью кривой коричневой палки взбирался по широким ступеням, покрытым красным ковром, и шел к своему обычному месту в первом ряду балкона с правой стороны, где, по мнению его покойной жены, слышно было лучше всего. Только тут напряжение его немного спадало, и он застывал на месте, лишь слегка дрожали руки да поблескивали бесцветные глаза. Профессор Клингман метал тревожные взгляды в постепенно заполнявшийся зал. У него были кустистые рыжие брови, крупный бугристый нос, огромные и розовые, точно цветы, уши. Из них торчали пучки рыжих волос (в одном ухе был большой серый слуховой аппарат); такие же рыжие пучки росли из ноздрей, а пальцы его обросли желтоватым пухом. Только на макушке волосы были седые.

Иногда до того, как оркестр выходил на сцену, он застенчиво совал соседу программу, тыча пальцем в какой-нибудь ее пункт:

— Простите, что это такое? Что за вещь? Вы ее знаете?

Вопросы звучали резко, пожалуй, даже назойливо, потому что после смерти жены он почти разучился разговаривать. Ведь все переговоры вела, разумеется, она. А сейчас можно было, того и гляди, подумать, будто, несмотря на улыбку, профессор Клингман яростно осуждает пьесу (возможно,

он вообразил, что это безнравственное или фашистское сочинение) и ждет только подтверждения, что это именно так, чтобы, окончательно ожесточившись, вскочить, выкрикнуть что-то оскорбительное своим визгливым голосом и сорвать концерт. Если сосед, как это порою бывало, хорошо знал произведение и мог напеть несколько тактов, профессор Клингман, просияв, начинал шумно благодарить срывающимся от волнения голосом: «Да, да, спасибо!» Не знакомые с ним люди не могли знать, что в прежние годы, когда он приходил в концерты с женой, она всегда разъясняла ему, к какой пьесе следует отнестись благосклонно. Глядя на его странное поведение в концертном зале, человек, лишенный сострадания, мог вполне усомниться в том, что чувства его глубоки и искренни, и уж несомненно он был несносен для всех — даже для людей пожилых и снисходительных. К тому же для такого ревностного посетителя концертов он был странно несведущ в музыке. Он не мог узнать ни одной симфонии ни по номеру, ни по тональности, кроме Пятой симфонии Бетховена, но даже и ее тональности он не мог запомнить.

Но, с другой стороны, никто больше чем он не отзывался на звуки страданий, добра, биение сердца самой музыки. Слушая Малера и даже самые сдержанные, наиболее бесстрастные пассажи Брукнера, профессор Клингман заливался слезами и временами громко всхлипывал, отчего сидевшим вокруг становилось не по себе. Иногда же он вдруг принимался хохотать, уловив музыкальную шутку, и было совсем непонятно, как человек, столь несведущий в музыке, мог ее услышать, ведь музыкальные шутки понять очень трудно. И даже если в музыке не было ни трагедии, ни шутки, она просто пела, будто вела разговор со слушателями — как, например, в одном из наименее драматичных концертов Моцарта, — профессор Клингман все же ухитрялся выводить из себя соседей. Он вдруг начинал слегка постукивать ногой или кивать (слегка нарушая ритм), а иногда, в особенности если исполняли Кабалевского или Листа, отбивал такт свернутой в трубку программой. Соседи касались его плеча,

вежливо, но строго шептали ему что-то на ухо. В подобных случаях он приходил в поистине трогательное раскаяние, длившееся, впрочем, всего лишь несколько минут. Люди снисходительные старались не обращать на все это внимания и, когда разговор заходил о его поведении на концертах, говорили: «У бедняги ведь нет ничего, кроме музыки» или: «Понимаете, он одарен способностью глубоко чувствовать. К великому сожалению, *большинству* людей это не дано». Его знали все билетеры, а руководитель струнного квартета музыкальной школы всякий раз, завидев Клингмана на концерте, улыбался ему. Но, конечно, нельзя сказать, что все его любили. Иногда дурно воспитанные дети и даже студенты колледжей зло передразнивали его — отбивали такт программой, дергали головой, делая вид, что глотают слезы. На подобные насмешки Клингман просто не обращал внимания. От первой и до последней ноты, даже если концерт был ужасный, профессор Клингман парил в небесах.

Однажды вечером поздней осенью он пришел в музыкальную школу на концерт, в котором, как было объявлено, исполнялись «три современные пьесы». Профессор Клингман никогда не пошел бы, имей он хоть малейшее представление о том, что его ожидает. Следует сразу оговориться, что профессор Клингман ни в коем случае не был человеком консервативных вкусов. Он даже считал, что опозорился во время исполнения «Славянской мессы» Яначека, так как буквально вопил от избытка чувств, а прослушав концерт Бартока для ударных инструментов (который вспоминал позже как величайший шедевр Стравинского), он сидел, оцепенев от восторга, не способный даже аплодировать. Но данное отступление от музыкальных традиций — так называемые «три современные пьесы» — оказалось для него ужасным испытанием. Началось с концерта для виолончели, в котором солист пользовался не смычком, а пилой — чего вначале профессор Клингман по близорукости не заметил. К концу пьесы, достаточно мучительной самой по себе, виолончель была распилена надвое. Вторая пьеса воспроизводила переключку двух радиопрограмм, настроенных на раз-

ные волны, и скрипача, выразившего свои музыкальные впечатления при виде фотографии обезьяны, снятой в натуральную величину.

Стеснительный в обыденных обстоятельствах, профессор Клигман реагировал на эту музыку с той бессознательной развязностью и непринужденностью, которая сделала его в известной степени печально знаменитым среди завсегдатаев концертных залов нашего города. Он ломал пальцы, стонал, закрывал глаза и один раз даже громко воскликнул: «О боже! Боже!» Смущенные коллеги и болельщики выступавших пытались утихомирить его — бесполезно. Он схватил бледную руку сидящей рядом дамы (миссис Филлипс, жены преподобного Ирвина Филлипса, который был вторым кларнетом в нашем филармоническом оркестре) и, сжав ее что было силы, прошептал:

— Безумие!

— Тише,— ледяным тоном прошипела дама, хотя было ясно, что она не так уж с ним не согласна. Высокая, величавая, с синевато-бледным лицом почти что цвета ее жемчужного ожерелья, она шумно дышала, и казалось, что от возмущения с ней вот-вот случится сердечный приступ; кто знает, чем было вызвано ее возмущение: то ли надругательством над музыкой, то ли соседством этого безумного старика.

Слова миссис Филлипс не произвели на профессора Клигмана никакого впечатления, но минутой позже он понял — это было видно по тому, как он вдруг вытянул шею, как заметались глаза за толстыми стеклами очков,— что все вокруг передразнивают его: ломают пальцы, вздыхают и стонут, изображая на лице страдание, отчего более робкие их друзья содрогаются, подавляя приступы дьявольского хохота. От стыда и гнева у профессора Клигмана заболело сердце, он ухватился за руку миссис Филлипс, крепко зажмурил глаза и замер в ожидании перерыва. Поглощенный страданием, он не смог заметить — или, возможно, не увидел из-за близорукости,— что человек, сидевший в ложе слева от сцены, наблюдал за каждым его движением, словно зачаро-

ванный, не отводя глаз даже на сцену,— так ученый-энтомолог изучает обычно поведение насекомого.

Наконец (это было просто невероятно, с точки зрения Альфреда Клингмана) все-таки наступил перерыв, в зале зажглись огни, и он побрел, спотыкаясь и пошатываясь, к выходу; он пробивался сквозь толпу, расталкивая людей, что обычно совсем ему было не свойственно, он извинялся направо и налево, хотя, скорее всего, он вообще никого не видел, потому что слезы застилали его глаза. Как-то он все же добрался до вешалки, взял пальто и шляпу и бросился к выходу. Но вдруг почувствовал, что не может идти, потому что у него бешено колотится сердце. Он прислонился к стене — с покрасневшим носом, вытаращенными глазами, изо всех сил стиснув грудь,— будто понял, что, если не успокоится, этот кошмарный вечер может стать для него последним.

— Чудовищно! — шептал он время от времени, возможно, громче, чем ему казалось. — Чудовищно! Богохульство!

Потом, как обычно бывает с человеком, попавшим в отчаянное положение, профессор Клингман попытался себя урезонить. Крепко сжав покрасневшие веки, он громко сказал:

— Ну что же страшного, в конце концов? Виолончель, конечно, дешевая, никуда не годная. Безобидная шутка, только и всего. Что же страшного?

Но сердце у него колотилось все сильнее, и, судя по его лицу, необъятная и беспощадная тоска, словно штормовая морская волна, тянула его в пучину. Он раскрыл глаза и, будто пьяный, пытаясь найти точку опоры, начал вглядываться в очертания окружающих предметов.

Несколько взволнованных людей окружили его, в основном это были знакомые, завсегдатаи концертов, но сейчас он, наверно, не смог узнать никого. От толпы отделился человек и протянул к нему руки.

— Бедняга! Вы пережили потрясение,— участливо сказал он, крепко сжав дрожащие руки профессора,— пойдете со мной! Прошу вас! Вам надо чего-нибудь выпить.

Профессор Клингман согласился — отказаться, конечно, не было сил, хотя он был человеком непьющим. Он совсем не знал, кому так слепо доверился. К явному облегчению собравшихся, они вдвоем медленно пошли через фойе, профессор опирался на руку молодого человека. Войдя в буфет, молодой человек подвел Альфреда Клингмана к столу у окна, из которого открывался вид на реку и парк. Ночь за окном была спокойной и темной, лишь кое-где светили редкие фонари. В парке, где в те времена было безопаснее, бродили пары влюбленных, и возле площадки для игры в гольф гуляла женщина с собакой. Молодой человек принес какой-то напиток и, сев напротив Альфреда Клингмана, начал опять, как недавно из ложи, так же пристально изучать его.

Понемногу профессор приходил в себя.

Незнакомец сказал:

— Я вижу, эта музыка слишком растревожила вас.

— Боюсь, что да,— признался профессор.— Боюсь, что вел себя как безнадежный старый дурак.— Он попробовал улыбнуться, но вместо этого покраснел, как это ни странно для старика; краска медленно заливала его лицо, поднявшись по лбу до самой шляпы.— Ведь безобидная шутка, невинный маленький трюк, рассчитанный на аудиторию...

Он внезапно замолчал. Глаза его наполнились слезами, которые он даже не попытался объяснить, а может быть, он и сам не знал им объяснения. Сдвинув очки с толстыми стеклами, он вытер слезы носовым платком.

Молодой человек все еще внимательно его изучал. Худой, желтолицый, лет тридцати пяти — сорока, он был в черном костюме с жилетом и черном галстуке-бабочке. Лоб очень высокий и странно узкий, точно у лошади, а глаза — естественно яркие и тревожные, как у цыпленка,— постоянно моргали.

— Возможно, эта музыка вовсе не шутка,— сказал молодой человек с какой-то зловещей усмешкой.

Профессор Клингман посмотрел на него и поднес правую руку к слуховому аппарату. Молодой человек продолжал:

— Возможно, сегодня вы были единственным из всей этой жирной, самодовольной толпы, кто понял эту музыку.

— Да, наверно,— согласился профессор, медленно и неуверенно опуская руку и с опаской ожидая разъяснений.

— Позвольте мне объясниться,— сказал молодой человек. Он наклонился вперед — в нем было что-то агрессивное — и, продолжая быстро моргать, взялся за стакан поразительно длинными пальцами обеих рук.— Я вырос в семье пастора, в крохотном городишке в нескольких милях отсюда. Щепетильная опрятность наших комнат дышала патетическим, педантски ученым оптимизмом, и в доме царила атмосфера своеобразной проповеднической риторики — атмосфера высоких слов, обозначающих добро и зло, именно они повинны во всех человеческих страданиях.

Профессор Клингман задумчиво коснулся рукой подбородка.

— Вся жизнь слагалась для меня из этих высоких слов,— торопливо продолжал молодой человек,— ведь я ничего не знал о ней, кроме тех необъятных, беспредметных предвестий, которые порождались во мне этими словами. От людей я ждал божественно благого и омерзительно дьявольского, от жизни — пленительно прекрасного и чудовищного и весь был охвачен страстным желанием все это испытать; глубоко и тревожно томился я по беспредельной действительности, по неведомым, безразлично каким переживаниям, по опьяняюще волшебному счастью и невообразимо жестокому страданию.

Мне запомнилось первое разочарование в моей жизни. В родительском доме вспыхнул пожар. Огонь распространился коварно, исподтишка, и скоро весь нижний этаж был охвачен пламенем, оно уже добиралось до лестницы. Я первый увидел его и помчался по дому, вопя: «Горим! Горим!» Я знаю, каким чувством этот вопль из меня был исторгнут, хотя в ту минуту я вряд ли осознавал это чувство: «Это и есть пожар? Так вот что ощущаешь, когда горит дом. И это всё?»

Видит бог, дело было нешуточное. Дом сгорел до основа-

ния, мы все едва спаслись от гибели, я сам получил сильные ожоги. Неверно было бы сказать, что мое воображение, предварив события, нарисовало мне пожар в родительском доме более страшным, чем он оказался на самом деле, но смутная догадка, неясное представление о чем-то неизмеримо более страшном уже ранее жило во мне, и по сравнению с ним действительность показалась мне бледной. Этот пожар был первым моим потрясением в жизни.

Не бойтесь, я не буду рассказывать вам о каждом из моих разочарований в отдельности. Ограничусь немногим и скажу, что все великие ожидания, которые я возлагал на жизнь, я с пагубным усердием питал тысячами книг — творениями поэтов. Ах, я научился ненавидеть их, этих поэтов, исписывающих все стены жизни высокими словами, потому что не в их силах было начертать эти слова на небесах, вырвав для этого кедр и окунув его в кратер Везувия! Поэтому я привык воспринимать высокие слова как ложь и издевку.

Восторженные поэты пели мне, что язык человеческий беден, увы и ах, беден. О нет, сударь! Язык, думается мне, богат, безмерно богат по сравнению со скудостью и ограниченностью жизни. Боль имеет свой предел: для боли физической — это потеря сознания, для боли душевной — оцепенение; со счастьем обстоит не иначе. Но потребность человека в общении изобрела звуки, обманом переносящие нас за эти пределы.

Во мне самом ли тут дело? Неужели только у меня дрожь пробегает по спине и мне смутно чудятся переживания, которых вообще не бывает?

Теперь уже стало ясно, что улыбка молодого человека не таит в себе зла. Но старый Альфред Клингман, который всю свою жизнь учил молодых и неистовых, все же глядел на него скорее озадаченно, нежели испуганно. Возможно, он даже восхищался его пафосом и красноречием.

А тот, наклоняясь все ближе к Клингману, продолжал:
— Но вы, друг мой, вы, как любитель музыки, должны понять, что разочарование, о котором я вам рассказал

так подробно, ничто по сравнению с тем, о котором я еще расскажу. Мой отец, впервые увидев меня в колыбели, был поражен вот этими пальцами, длинными, как щупальца. «Пианист!— закричал он.— Господь даровал нам пианиста!» В семь лет я брал октаву, я безукоризненно чувствовал ритм, у меня был абсолютный слух. Я развлекал знакомых, называя частоты пистолетных выстрелов, автомобильных аварий, криков о помощи. Что значат все лживые слова поэтов по сравнению с глубинными секретами фортепьянного аккорда, огромного органа, оркестра, голоса? Я объездил мир, искал подтверждения в живой жизни тому, что музыкальные прозрения не признак безумия. Я стоял перед величайшими скульптурными творениями и думал: «Да, это прекрасно! Но это и все?» Я смотрел из Зерматта* на Маттерхорн и думал: «Как на открытке». Я присутствовал при кончине друга, и чувства, которые я испытал, были точно такими, как я ожидал.

Молодой человек улыбнулся нарочито зловещей улыбкой.

— Вот почему я творю именно так, мой дорогой любитель музыки.

Профессор Клингман сказал:

— Значит, вы автор этого...

Слова вырвались у него почти случайно, как будто он просто выразил прежнее умозаключение.

— Да, я автор,— яростно произнес молодой человек, ожидая реакции.

Наверное, прошло не менее минуты. Наконец профессор Клингман снял очки и стал протирать их медленно, старательно, пальцы его дрожали. Потом надел очки, сложил носовой платок, передумал, развернул его снова и высморкался. Заметив вдруг, что сидит в шляпе, он снял ее и аккуратно пристроил на столе.

— Мне очень лестно, что вам захотелось рассказать мне все это,— произнес он мягко и осторожно.

Молодой человек ждал. Казалось, в нем нарастала ярость.

* Зерматт — деревня в Альпах в кантоне Вале, в Центральной Швейцарии, из которой открывается вид на пик Маттерхорн.

Но профессор Клингман все сидел задумавшись, слегка покачивая головой и нервно улыбаясь. Наконец он сказал, видимо не зная, о чем еще можно говорить с этим человеком:

— Моя жена была пианисткой.

И затем медленно и терпеливо стал объяснять, что значила для него жена, хотя передать его чувства словами, конечно же, было невозможно.

Трубач

Пес Королевы Луизы Трубач был не дурак, и поэтому, может быть, он и старался держаться подальше от людей; предоставленный самому себе, он беззлобно гонял кроликов или, нежась на солнышке, сидел на местном кладбище — кроме него, никто туда не ходил — и, приоткрыв один глаз, высматривал злоумышленников, а то пробегал по деревне, заглядывал в окна домов, когда сядет солнце, наблюдал, как лавочники считают серебряные монеты, складывая их в столбики, и не замечают, что из-за каждой занавески за ними жадно следят слуги, потом бежал дальше, останавливался у старых лачуг, где собирались карманники, и ночь гудела от богохульств и брани, а воздух пропитан был запахом желчи, пота и пагубного пьянства, затем пускался к черной грязной пристани, где старые торговые корабли бились о доски причала, разбухшие в воде, и молодые моряки храпели и свистели в объятиях пьяных девок, а то и пират с бутылкой рома и попугаем, улыбаясь слюняво, скользнет в тумане, точно змея. Подняв острые уши и сощуриив горящие глаза, словно глядя в игольное ушко, Трубач слушал, не творится ли где-нибудь на его пути несправедливость, а затем, подняв лапу, оставлял знак предупреждения и бежал дальше.

Никто лучше его не знал, что происходит в Королевстве безумной Королевы Луизы. И не то чтобы он это считал особой своей заслугой. В самой его собачьей натуре жила потребность наблюдать, держать след, быть всегда начеку, быть ревнивым хранителем Королевства. И даже когда, забытый всеми, он лежал в комнате Королевы Луизы,

или спал за печью, положив голову на лапы, или показывал кошке клыки, чтобы она не забывалась — кошка была слишком стара и давно перестала ловить мышей, — у него всегда на уме было одно — забота о благоденствии Королевства. За это и заплатили, когда его «нанимали», если можно так выразиться. Но назвать его «нанятым» было б неверно. Он был не из тех, кто мелочится, кто требует соблюдения формальностей. Он спокойно относился к тому, что никто во дворце почти никогда не разговаривал с ним, и что, привыкнув к нему, его едва замечали, когда он, подобно ангелу смерти, проносился по комнате, и даже к тому, что Королева Луиза награждала его бессмысленными шлепками, когда он терся об ее плечо, или совсем уж по непонятным причинам вдруг говорила:— Сидеть!— Лежи, пес! Ради бога!— Вон! Остальные же в Королевстве вообще на него не обращали внимания, а просто подчинялись ему, как подчинялись Королю или Королеве, не раздумывая и не испытывая никаких сомнений. Когда он стоял у открытой двери, открывали ее. Когда ждал у буфета, наполняли его миску. Когда лаял, крадучись подходили к окну и выглядывали.

Трубач был не дурак, но и у него были свои слабости, и главная из них — потребность размышлять, насколько он мог, и, размышляя, он час за часом и год за годом бродил, опустив черную голову и прикрыв глаза, вынюхивал запахи ковров, стараясь понять причину (наверное, была же причина) странного поведения Королевы Луизы и ее двора. Говорили, и Трубач по-своему понимал, что иногда, чтобы дать отдых уму, Королева Луиза превращалась в огромную зеленоватую жабу. Об этой дурной привычке Королевы было известно далеко за пределами дворца, и каждый, кто знал Королеву, превращение это видел довольно часто. Каждый, кроме Трубача. А он считал это вовсе не королевским одеянием. Трубач не был наивен и знал, что людские пути-дороги — не собачьи тропы. Он видел, как весь двор часами сидел неподвижно, храня гробовое молчание, которое лишь изредка нарушал случайный шепот или случайный кашель, и слушал, как воют люди на ярко освеще-

щенном помосте. Если Трубач пытался пробраться к ним, его пинали и прогоняли. Однажды он видел, как на том же самом высоком помосте человек в черном с кинжалом в руке крался к другому, но только Трубач рванулся на помощь, пять рыцарей схватили его, побили и посадили на цепь позади кладовки.

Странностям человеческим нет предела, и превращения Королевы, хотя Трубач мог судить о них лишь по тому, как вели себя люди, ее окружающие, и были какой-то странностью. Но он давно научился принимать все как должное и, вытянув морду, наполовину забравшись под занавеску или под стол, наблюдал за всем молча, без комментариев. Вот весь двор торжественно, держа высоко в руках белые свечи, медленно шествует по направлению к часовне. Королева Луиза, с рыжими сверкающими волосами, идет во главе процессии в длинной небесно-голубой мантии; она печально-нежна — и все печальны и, напряженно выпрямившись, медленно двигаются, вздрагивая при каждом шаге, точно совершая ритуальный обряд, а то вдруг все бросаются бежать или безобразно раскрывают рты — даже Король Грегор болезненно морщится, и его черная борода ошетичилась, — и все принцессы и принцы начинают квакать, ухмыляться нелепо, пучить глаза. Трубач лишь вздыхает и чуть отодвигается, когда лавиной Королева Луиза проносится в нескольких дюймах от его носа, и вежливо виляет хвостом, показывая ей, что заметил ее. — Про-о-о-ай! — прокричала она. Не имя его, не приказ ему, если уж говорить точно, но он принял и это.

Однако каковы бы ни были причины столь странного поведения Королевы и вслед за ней и всего Королевского двора, никто не смог бы отрицать, что в Королевстве царил мир. Король Грегор и Король Джон, которые в течение многих лет вели постоянные войны, теперь из-за всеобщей неразберихи, словно лучшие друзья, бок о бок сидели на корточках в аллее сада или, если бывали не в духе, громко спорили, тыча пальцами в книги. — Святая, дуралей! — однажды выкрикнул Король Джон. (Значение слов Трубача

вовсе не занимало. Фразы — вот что его завораживало.) — Святая, дуралей. Разве ты моешь ноги своим крестьянам в Великий четверг? — Глаза Короля Грегора расширились. — Избави боже, — сказал он.

И если все это и было странно, то другие события в Королевстве были куда более странными. Кажется, никто, кроме Трубача, не помнил, что исчезла Принцесса. Не та принцесса, которую звали Мюриел и которую Королева обнаружила и назвала своей дорогой, давно пропавшей дочерью, и не те многочисленные принцы и принцессы, которых она находила потом и радостно признавала своими детьми, приводя во дворец, ни Дьюбкин, ни Добремиш, ни хорошенькая Полли, ни все остальные. Враждебных чувств к ним Трубач не питал, смутно, но достаточно ясно он понимал, что, назвав их своими детьми, каковыми они, наверное, и были — ведь жизнь собаки не больше, чем, скажем, удар сердца в сравнении с долгой человеческой жизнью, — Королева принесла Королевству счастье, Королевству, которое прежде страдало от смертельных распрей: крестьяне — против королевской власти, «безумие против безумия», как сказал об этом поэт, непонятно; но Трубач понимал это сердцем.

И все же Трубач помнил ту, другую Принцессу, которая жила здесь когда-то, в те дни, когда Королева Луиза еще не была сумасшедшей, — однажды утром Принцесса пропала, растаяла в голубом, слепящем глаза воздухе, словно роса. У нее были золотистые волосы. Однажды, лежа возле камина со старой туфлей в зубах — в те дни Трубач много спал, — он вдруг почувствовал на плече какую-то тяжесть и, открыв глаза и повернув голову, увидел Принцессу, ее золотистые волосы падали на него, она прижималась к нему щекой, как к подушке, и он заурчал, а она ласково передразнила его.

Это не было мимолетным воспоминанием, нет, воспоминание было таким же прочным, как пол.

Независимо от того, понимал или нет Трубач мелочи жизни, главное он понимал — Королевству нужен мир.

Врокрор — грозный злодей, затаивший злобу на все человечество, теперь не имел сторонников. Слова, которыми Королева Луиза расправилась с ним, стали всеобщим девизом в Королевстве Короля Грегора. «Все, все ошибки от недовольных», — напевали дети, прыгая через веревочку. Трубач, пробегая то там, то сям, видел, что даже следов Врокрора не осталось. Врокрор снова стал монахом, каковым и был поначалу, но отныне отшельником; и ни одна живая душа — ни, конечно же, бог — не сочувствовала ему, он жил совершенно один на вершине горы, питаясь мхами и лишайниками.

Все было прекрасно. Все было прекрасно. Трубач видел, пробегая по улицам, что слуги боятся хозяев, но хозяевам можно их не опасаться, хотя слуги и пожирают глазами столбики денег, похожие на дворцовые колонны. А глядя в лица карманников, внимательно изучая каждую улыбку, Трубач понимал, что и они несчастны. Ведь карманов, набитых деньгами, обычно не хватает. Трубач видел, что торговцы обманывают своих собратьев, а пираты их грабят и никто особенно не горюет; к этому все привыкли. И в Трубаче пробуждалось странное беспокойство.

«Противный пес», — говаривала та, настоящая Принцесса, которую только Трубач и помнил, она сердито грозила ему пальцем, и он быстро опускал голову. Но все-таки было приятно, он признавал это, чувствовать ее внимание; он понимал отчасти, иногда хорошо понимал, что все это — ужасная нелепость. Ведь он был в четыре, пять, шесть раз больше ее, и челюсти его могли до кости прокусить бедро молодого бычка, а она одним словом заставляла его расплаться у ее ног.

Иногда поздней ночью Королева Луиза вдруг садилась в постели, прямая, словно стрела. Ее трясло. Трубач, застыв, лежал рядом, готовый броситься к ней на защиту, но защищать ее было не от чего. Однажды на рассвете, когда шел мелкий нудный дождь, Королева сказала:

— Мы должны устроить королевский бал. Нужно поженить моих принцев и выдать замуж принцесс.

Начались усиленные приготовления; пришли портные и повара, плотники и пираты, переодетые в торговцев вином, жадно глядевшие на столовое серебро. Все во дворце перевернулось вверх дном. Взбешенный Король Грегор шагал взад и вперед, дергая черную бороду, и хватал за руку своего друга Короля Джона.

— Мы что-то забыли,— выкрикивал он.— Но что?

А Трубач с удвоенной энергией бегал то туда, то сюда — на кладбище, в деревню, на черную грязную пристань. Все было в порядке, все было в порядке. Он оставлял знаки повсюду, предупреждая каждый фонарный столб, каждую стену.

Она стала бледной, как мрамор, и очень быстро уставала. И все же все было прекрасно, конечно же, было прекрасно. Король Джон и Король Грегор каждый день выходили на поле боя, и армии их возвращались домой, истекая кровью, или армия Короля Грегора возвращалась домой, истекая кровью, а армия Короля Джона уходила — и танцы длились до полуночи, и читались стихи, и во дворце царила любовь, а Принцесса качала головой и улыбалась:

— Все они сумасшедшие, правда, Трубач? Просто буйно помешанные.

Он протягивал ей свою лапу, она брала ее в руки, и они торжественно приветствовали друг друга.

— По-моему, она очень бледна,— сказала Королева Луиза, дергая себя за губу.

— Пусть ест побольше бифштексов,— сказал Король Грегор, не отрывая глаз от карты.— Ха!— сказал он вдруг.— Он ползет на нас отсюда,— и ткнул пальцем в какие-то линии на карте,— он думает нас перехитрить...

Поскольку дворец был наводнен принцами и принцессами, но ни одна из них не была той, бледной Принцессой, которую помнил Трубач, Король Грегор и Королева Луиза вершили свой королевский бал. Оркестр весело играл вальс за вальсом, и к полуночи все торговцы и их слуги нашли себе по принцессе, а все принцы нашли по дочке торговца, точно такой же, как им и хотелось, и в Королевстве настал такой

замечательный мир и такое спокойствие, каких никогда еще не было.

Когда бал был окончен и все давно спали, Королева Луиза села в постели, прямая, точно стрела, и сказала:

— Трубоч! Что это?

Ничего не случилось, он знал. Если бы что-то где-то случилось, он бы услышал, унюхал, почувствовал бы нутром. Но он послушно поднялся, отвернувшись, зевнул и, нехотя подойдя к окну, выглянул: там была пустота. Воображения у бедного Трубоча не было.

— Нам что-то нужно делать,— сказала Королева Луиза,— с пиратами и попугаями, не говоря уже о карманниках.— Она вскочила с кровати и уставилась в глубину ночи через плечо Трубоча, ее белые ноги были кривые, такие же, как и у жабы, наверное, она в нее превратилась. Королева машинально провела рукой по его голове, и Трубоч заскулил.— Правильно,— сказала она, как будто бы он что-то ей сообщил.— Мы должны показать им, что любим их, считаем их равными. А как это сделать?

Она заметалась взад и вперед, мелькая перед ним кривыми ногами, ломала пальцы, кусала губы. Трубоч сидел на вострив уши, чуть склонив голову.

Странное выражение появилось на лице Королевы Луизы.

— А нам действительно нужны сокровища Королевства?— спросила она. Хотя фраза была трудной, Трубоч понял ее и, не зная, что делать, прикрыл глаза правой лапой. Но Королева Луиза была слишком возбуждена, чтобы это заметить.— Правильно, мы пригласим бродяг, пиратов и попугаев охранять сокровища Королевства. Они их украдут и больше никогда не будут несчастны!

У собак нет власти. Одна надежда была у Трубоча, что утром Королева Луиза забудет о своем плане.

Настало утро, но она ничего не забыла.

— Грегор,— сказала она.— У меня блестящая идея.

Трубоч выскользнул из дворца. Он бросился на кладбище, куда никто никогда не ходил, и около часа там карау-

лил. Но ни один злоумышленник не появился, ни один кролик не проскочил мимо, и он поспешил, хотя еще не стемнело, в деревню, чтобы заглянуть в окна, но там тоже не было никого — все торговцы и их слуги были на празднестве вместе с новыми женами королевской крови,— и тогда Трубач молнией бросился на черную грязную пристань. Но и там было пусто, как в бутылке из-под рома, брошенной на песке, и Трубач с тяжелым сердцем вернулся во дворец.

— О боже,— вопил Король, хотя и он был причастен к плану Королевы Луизы,— сокровища Королевства иссякли!

Трубач лег на пол.

Все было в порядке, все было в порядке.

Она, Принцесса, которую помнил только он, стала еще бледней и еще быстрее уставала. Он требовал, чтобы ему позволяли лежать в сторонке, возле ее высокой, точно помост, нарядной кровати, и ждать, когда рано или поздно, но обязательно — ведь отпущен же ей срок человеческой жизни — взойдет солнце, и она вдруг сядет, прямая, точно стрела, и они снова побегут по полям, преследуя глупых кроликов. Но почему-то пришли пять рыцарей — почему, он так и не понял,— умащивали и задабривали его, а потом, схватив железными перчатками, потащили на цепи в обычное для него место за кладовкой. Когда через несколько дней его отвязали, Принцессы уже не было.

— Свершилось! Свершилось!— дико закричала Королева Луиза, и он в испуге проснулся. Насколько мог он видеть, повсюду плясали люди.

— О, мир!— рыдал Король Грегор.

— О, справедливость!— рыдал Король Джон.

Врокрор Грозный стоял здесь же и держал за руку принцессу Мюриел, застенчивый, словно девица; и Дьюбкин, и Добремиш, и хорошенькая Полли, и все остальные осыпали их лепестками роз, и на всех лицах искрились слезы. Королева Луиза мелодично смеялась, потому что Король пиратов предлагал ей сундук сокровищ, набитый доверху золотом и серебром, и, целуя ей кончики пальцев, косил глазами, словно тут же собирался стянуть все это обратно; а

Король Джон и Король Грегор, сияя улыбками, соглашались, что оба они, конечно каждый по-своему, святые, и попугаи хором кричали: «Фейерверк! Ура, фейерверк!»

Дворец был залит светом, за окнами — глухая тьма. И все было в порядке, иначе быть не могло. Ведь это было гармоничное Королевство, единственное Королевство на свете, где безраздельно правило искусство.

Трубач выполз из-под черной скатерти, которой накрыт был стол, и проскользнул к двери. Постоял, выжидая. Дверь была открыта. Он бросился подальше от танцев и света, подальше от веселого праздника, он знал — абсолютно пристойного, и, когда забрался в чащу леса, завыл.

Ужасы в библиотеке

Уже несколько дней я не находил себе места: мне слышались странные звуки, все исчезало из-под рук — жалкие мирские симптомы расстроенных нервов, знакомые мне слишком хорошо (ведь я, как известно, происходил из семьи безумцев), и вдруг несколько странных фраз, на которые я наткнулся в книге по эстетике, неожиданно резко изменили ход моих мыслей. Я сидел и читал в своей обычной манере, одновременно жадно и бессистемно, прижав одну руку к груди, и угрызения совести, какое-то зыбкое беспокойство скреблось у меня в душе, точно призрак, металось от окна к окну — неважно из-за чего (я не воспользовался случаем навестить отца в психиатрической больнице, которая находилась за городом, или, вернее, придумал причины, помешавшие мне пойти к отцу, и затем, уже не попав к нему, увидел все в новом свете и понял, что доводы мои смешны и ничтожны; я, конечно же, должен был пойти в больницу, но это все ерунда, неважно), как вдруг я наткнулся на любопытные наблюдения — о «живой форме» в искусстве.

Не помню точно, что я тогда читал, даже сути теории не помню. Помню лишь рассуждения — меня очень заинтересовавшие — об «относительности времени и пространства» в музыке и живописи и что-то... простите меня, я спешу... об «органических формах». Моя жена — вот это я помню очень точно — возилась на кухне, гремя посудой и нарочито резко включая и выключая воду, что я мог объяснить лишь как личный выпад против меня: сижу в гостиной с книгой, в то время как она работает. Все ее знакомые имеют прислу-

гу, и она считает — она мне сама говорила, — что человек с таким достатком, как у меня, наверняка может позволить себе эту маленькую роскошь. Когда мой отец был еще на свободе и чуть ли не каждый вечер заходил к нам и помогал ей по хозяйству, эта проблема стояла не так остро. Но отца поместили туда, где ему и следует быть — не моя это вина, — и теперь жена постоянно твердит, что надо нанять прислугу. Я много раз ей объяснял, что чужой в доме для человека, подобного мне, — что угодно, но только не роскошь. Появление постороннего даже рядом с домом выбивает меня из колеи, поэтому я и пешком хожу, хотя не всегда это удобно (впрочем, я бываю на улице редко, лишь когда мне нужно зайти в мой банк), поскольку иметь машину для меня неизбежно означало бы возиться с механиком, шофером или еще бог знает с кем... Но я отвлекся.

Итак, в течение нескольких дней и ночей я слышал странные звуки, которые доносились из библиотеки. (Чтобы установить, что эти звуки приходят именно оттуда, я потратил достаточно сил, но не буду об этом рассказывать, время мое ограничено.) Сейчас особенно резкий звук заставил меня вскочить с кресла, я захлопнул книгу по философии, заложив пальцем страницу, которую читал, и бесшумно — я был в тапочках — направился к двери библиотеки.

Взявшись за круглую ручку и сторбившись, точно старик — как мой отец, например, — я приложил к двери ухо, изо всех сил стараясь понять, что же происходит там, внутри библиотеки, и вдруг до меня дошло — я понял это неожиданно, удивившись, как человек, проснувшийся совсем не в той комнате, где засыпал, — что с диким напряжением вчитываюсь в заголовок книги «Проблемы искусства». Осознание пришло как удар, потрясло меня — у меня даже задрожали колени, ибо в то самое время, когда я полагал, что целиком поглощен звуками в библиотеке, мой мозг перемалывал идеи, на которые я натолкнулся в книге, идеи, которые в этот миг я понял с неожиданной ясностью.

Философ писал — это я помню и сейчас, — что на живописных полотнах, так же как в зеркале, мы видим «отно-

сительное пространство», кажущееся нам вполне реальным, пока мы не попытаемся в него войти, и тогда, в этот миг, обнаружится, что это всего лишь призрак. Точно так же, когда мы читаем романы, нас окружают «относительные» пейзажи, человеческие существа, которые мы наблюдаем,— «относительны»— люди говорят и действуют совсем как живые существа, но потом вдруг исчезают или, вернее, застывают точно по волшебству, в словах на странице книги. Утверждение, что и говорить, ошеломляющее!

Пожалуй, хоть время и дорого, я все же попытаюсь привести еще примеры, чтобы чуточку прояснить этот вывод. Видения, возникающие, когда мы слушаем музыку или, скажем, читаем книги, совсем ведь не то, что отражение в зеркале. Напротив, они — творения, в которых жизнь выражает самое себя. И они действуют точно так же, как все живое, или, говоря по-иному, ими управляют те же законы, какие управляют мною или, к примеру, моей женой Грир. Безусловно, я говорю о работах, так сказать, удачных, в которых есть «жизненная сила», которые живут «самостоятельной жизнью». От этой-то идеи или, мне следовало бы сказать, от этого факта — поскольку мне это представляется именно так — у меня и задрожали колени.

Бог знает какая сила заставила меня действовать. С изумлением я смотрел на собственную руку — сама по себе она все сильнее сжимала большую латунную ручку двери и наконец повернула ее. Та же рука, опустившись в карман куртки, сжала мой золоченый перочинный нож и вытащила его на свет. Плечом — едва понимая, что делаю, и ничего не чувствуя,— я толкнул огромную старую дверь и вошел в библиотеку.

Мир, как известно, полон тайн. Разумная Ньютонова вселенная оказалась более иллюзорной, чем ваше отражение в зеркале или чем прочность дубового паркета. Мы могли бы представить себе черные дыры и белые дыры, крошечные, как ходы червей, сквозь которые тем не менее время совершает головокружительные скачки, и даже элементарную частицу, имеющую, я об этом читал, вес приблизительно

одного электрона и протяженность двух световых лет! Если поверить самым парадоксальным идеям современных физиков, существует реальная возможность, что мы погибнем от удушья, потому что весь кислород может скопиться в одном помещении — именно там, где нас нет.

Мы принимаем все это на веру или, во всяком случае допускаем, что такое возможно, но, переходя улицу, все же смотрим налево, а затем направо, как бы повинуюсь законам вселенной Ньютона, а может быть, даже Моисея («Я знаю, что грешен, и потому, похоже, машина собьет меня»), ибо знаем, что у нас нет выбора, мы вынуждены иметь дело со вселенной, в которую заключены. Я мог бы говорить об этом и дольше — я большой книголюб и, как вы убедитесь, совсем не дурак,— но, я уже сказал, мое время ограничено.

Поначалу могло показаться, что в моей библиотеке (то есть в нашей библиотеке, ведь дом записан на оба имени — жены и мое) ничего, кроме книг, нет: книги от пола до потолка по всем четырем стенам; книги на пяти отдельных стеллажах, поставленных один от другого на расстоянии трех футов от восточной стены комнаты до западной, и лишь один проход шириною в четыре фута, словно туннель, прорезает ряды стеллажей, образуя пять арок, которые кажутся входом в склеп. Эти стеллажи тоже тянутся от пола до потолка. И, чтобы пройти в середину библиотеки, нужно пригнуть голову; свод туннеля находится на уровне восьмой полки, а выше полки идут через всю комнату. Человек, оказавшийся в нашей библиотеке, ощущает себя погребенным заживо в книгах. Отчасти по этой причине я не люблю здесь бывать.

Однако первое впечатление, что в комнате нет ничего, кроме книг, обманчиво. Через низкий проход можно видеть — или, точнее, увидел я, как только вошел,— что середина библиотеки залита лунным светом, значит, в комнате должны быть большие окна или (как это и было) стеклянные двери. Заметив красноватые блики в кругу лунного света, понимаешь, что в библиотеке есть камин, где совсем

недавно бушевал огонь. Каждый вечер в сумерки я развожу в камине огонь. Но никогда не читаю — здесь мне беспокойно, вся эта мрачная масса учености давит меня своей тяжестью, тонна за тонной противоположных мнений, ведь реальность до самой сокровенной сути вещей спорна, но боюсь, что истина состоит в том, что, если я не зажгу огонь в камине, я услышу жалобы жены на то, что у нас нет прислуги. И потому я неистово тружусь в саду, подстригая живую изгородь и выбирая хвою из-под стен голубых елей... Но хватит об этом.

Сейчас в библиотеке не раздавалось ни звука. Я нащупал выключатель справа от двери и трижды нажал кнопку, пока наконец, вспыхнув искрой, свет не зажегся. Вряд ли стало светлее; фактически изменился лишь характер освещения. Осторожно, продвигая вперед сначала правую, а затем левую ногу, я бесшумно шел к освещенному кругу в центре библиотеки, на ходу открывая нож.

Конечно, в этом нет никакой трагедии. Но вдруг из-за третьей полки, так быстро, что я едва понял, откуда он появился, выскочил человек с топором и встал прямо передо мной. Он был мал ростом, не более четырех футов. К чему бы это — я не знаю, но только он был очень мал, ладно скроенный карлик, с тревожно бегающими, слегка косящими глазами, и испугался меня больше, чем я успел испугаться его; свирепого вида маленький русский (студент, подумал я), он что-то бессвязно бормотал себе под нос. В тусклом полусвете я увидел все с удивительной ясностью, точно перед смертью. Он стоял в длинном, по щиколотку, пальто, глаза ввалились, губы тряслись, в руке он держал топор. На обухе топора — кровь и, кажется, седые волосы. Я попытался заговорить с ним и не смог, не хватило дыханья. Колени у меня дрожали. Он замахнулся обухом топора, чтобы ударить меня, но в этот миг за его спиной выросла молодая женщина в платье викторианской эпохи и закричала: «Боже, что вы делаете! Вы с ума сошли?» Он повернул голову, вернее, рывком повернулся, чтобы увидеть ее, при этом топор слегка опустился. Она тоже была карлицей,

хотя теперь это было менее очевидно: что-то странное происходило со мной, я перестал ощущать масштаб вещей, книги на полках стали больше и люди тоже. Карлик в ужасе уставился на девушку: никогда — в самом точном смысле этого слова, — никогда он не видел ничего подобного.

Одна часть моего сознания пребывала в таком испуге за этого маленького человечка, что я утратил способность думать, но другой его частью — во всяком случае, мне так сейчас кажется — я почувствовал, о чем он думает. Раскольников — конечно же, это был он — никогда раньше не видел английской школьницы и не мог знать, что она, так сказать, английская школьница «вне закона», но мне кажется — чисто умозрительно, — он должен был почувствовать, что она, так же как и он сам, почему-то «вне закона»; и то, что поразило его столь сильно, что заставило его опустить топор, и было из области философии: эта девушка с темными локонами, слегка припухшими веками и капризным ртом была для него явлением, о котором он не смог бы судить как о пристойном или непристойном, не зная культуры ее страны; и все же почему-то он знал, что она бросила вызов нормам своего времени и своей среды и, несомненно, была такой же отверженной, как и он сам; но отверженной моралью мира, сопоставлять которую с моралью того мира, в котором жил он сам, было бы все равно что сваливать идею об «универсальности человеческой природы» в одну кучу со старинной *псевдодоксией**. Так как он опустил топор и дико уставился на нее, она внимательно на него посмотрела. Он удивился и снова потянулся к топору, однако лишь дотронулся до него, но так и оставил на полу. Пожалуй, нет смысла анализировать причины его действий, но все это наводит на мысль: его понятия о добре и зле, его этические нормы и способы самозащиты и самобичевания настолько

* «Псевдодоксия эпидемика, или Распространенные заблуждения» (1646) — трактат Т. Брауна, анализирующий причины ошибочности народных верований или связывающий их с общей для всех людей нестойкостью человеческой природы, а также склонностью человечества к заблуждениям, ложным умозаключениям, легковерию, приверженностью к авторитетам, что в конечном счете объясняется в трактате происками сатаны.

отличны от всех ее понятий, что он просто, подобно животному, повинаясь безотчетно и самозабвенно, пошел за ней в полумрак по ту сторону четвертого стеллажа.

Вряд ли мне стоит рассказывать о разных мелочах, свидетелем которых я стал потом. Тогда мне все казалось поразительным, на редкость интересным, но, поразмыслив, я вижу, что все это пустое. Прибегнув к риторике и разного рода уловкам, я мог бы, наверное, воссоздать для вас тогдашнее состояние моего ума, но я отказываюсь опускаться до подобной глупости. Достаточно сказать, что видел Ахава*, расщепленного молнией с головы до пят, нудно спорившего с доктором Джонсоном Босуэлла** (порою грозя его ударить «хорошенько, справа, прямо в лицо»,— конечно, к ужасу последнего) об имманентности трансцендентности; видел Скруджа*** и Паломника Беньяна****, речи которых звучали для меня удивительно схоже; разговаривал с Эммой, героиней Джейн Остин, которая вовсе не была такой уж хорошенькой, какой я ее представлял себе, и показалась мне до странности нетерпимой по отношению ко всему... и т. д.

А теперь я перескочу на другое и расскажу, в чем суть дела; я уже несколько часов провел с этими видениями, или призраками, или реальностью, когда в библиотеку вошла моя жена в ночной рубашке — все говорят, что она весьма красива,— и спросила:

— Уинфред, ты собираешься спать?

Я знал, что это угроза и предложение одновременно. Повернувшись и взглянув на нее, я ответил:

— Скоро приду, я не совсем кончил.

* Ахав — царь израильский; подверг преследованию пророков.

** Босуэлл (1740—1795)— английский писатель, автор мемуаров о Сэмюэле Джонсоне (1709—1784)— знаменитом писателе, лексикографе и критике.

*** Скрудж — герой «Рождественской песни» Ч. Диккенса.

**** Джон Беньян (1628—1688)— английский писатель, автор аллегорического романа «Путь Паломника». Религиозное морализаторство в романе Беньяна сочетается с изобличением паразитизма аристократии и торгашества буржуазии, которым противопоставлены суровые и простые добродетели народа.

Она еще постояла, ожидая. Сейчас ее красивая грудь и бедра, хорошо очерченные рубашкой, мне показались почти что смешными. Ведь если реальность достаточно долго находится рядом, суть ее становится банальной. Жена повернулась, вильнув бедрами — любая актриса назвала бы это штампом, — и исчезла под низким сводом входа или, в этом случае, выхода. Уже стоя в дверях, она сказала:

— Не забудь, завтра день посещений в клинике. Ты занят, конечно, я знаю...

И в этот момент, словно вызванное к жизни ее словами, со страшным визгом из книг вырвалось нечто и кинулось прямо на меня. Вначале я даже не понял, что это такое. Вспыхнув ярче взорвавшейся звезды, что-то двигалось на меня с грохотом и ревом шаровой молнии. Но в последний миг я разглядел абсолютно ясно: это был Ахиллес, герой моей юности, я впервые прочитал о нем в шестнадцать лет. Ни слова не говоря, ни минуты не колеблясь, он поднял свой меч и ударил меня. В изумлении смотрел я на кровь, хлынувшую потоком на мою грудь из глубокой раны на шее. В ужасе я взирал на Ахиллеса — я скорее боялся, чем не верил. Непостижимо! Он был поборником абсолютной справедливости, судьбою, ниспосланной богом, карающей десницей, а я — я заорал это во всю мочь — я был не виновен! Он недоуменно смотрел на меня. То ли он не говорил по-английски, то ли был поражен, что человек, столь тяжело раненный, может разговаривать. Он снова поднял свой гигантский меч, чтобы ударить меня.

Откуда-то издалека я услышал крик жены:— Уинфред!— Затем снова, где-то ближе:— Уинфред!*

Он прислушался и повернулся, недоумевая более, чем прежде. Осторожно, чуть смущенный, он снова поднял свое гигантское поблескивающее оружие.

Жена была уже за моей спиной.

— Как ты кричишь! Ты с ума сошел?— настойчиво спрашивала она. А он стоял, поигрывая своим оружием,

* В оригинале Win — «побеждать» — выделено курсивом.

как будто перед ним был цыпленок, который нервно дергает шейю на колоде.

— Уинфред!— прошептала жена.— Что на тебя нашло?

Ахиллес, поборник правды и справедливости, оглянувшись через плечо, словно искал поддержки, замахнулся вновь, на этот раз слабо, неуверенно, однако клинок все же перерезал сухожилие, на котором держалась моя шея.

— Уинфред!— кричала моя жена.— Что с тобой! Ну скажи же что-нибудь!

Я сидел наклонившись вперед, стараясь, чтобы она ничего не заметила. Поняв, что я не намерен ни разговаривать, ни двигаться, она круто повернулась и, сердито бормоча что-то себе под нос, направилась к двери.

Не стану делать далеко идущих выводов, скажу только, что тогда, там, я знал, что умираю.

И хотя времени остается все меньше и каждое слово, написанное мною, еще более зыбко, чем предыдущее,— позвольте мне сделать паузу и обсудить эту столь необычную ситуацию. Если я оборву предложение посередине, это и будет конец. До свиданья. Да хранит вас господь. Вот видите, я молюсь, пока есть еще силы.

Предположим, здесь можно возразить, что я не умираю, а схожу с ума. (Я, конечно, рассудителен, но никто так не рассудителен, как маньяк, я это знаю.) Моя жена, вы можете сказать, вероятно, не видела Ахиллеса; но она в данном случае не критерий. Она тоже из породы безумцев, все ее предки были безумцами и так же, как я, людьми состоятельными. Прекрасно; итак, предположим, что я сумасшедший. Значит, перед вами сидит персонаж X, сумасшедший, сраженный смертельным ударом, который нанес ему персонаж Y, являющийся вымыслом. А что может сделать X, будучи сумасшедшим, кроме того, как бороться, дабы отстоять справедливость, отстоять нормальность?

Возможно, отца осудили несправедливо. Судья, который его посадил, боится черных кошек. Даже показания, которые давал я сам, могли оказаться не совсем беспристрастными, хотя я старался быть до конца правдивым. Можно не-

справедливо осудить и мою жену, поскольку я обвиняю ее в неуравновешенности. Но по крайней мере одно кажется безусловным: если литературный персонаж, а именно Ахиллес, может заставить кровь литься по моей груди (если она действительно льется по моей груди), то, значит, можно заставить живой персонаж или даже два живых персонажа — моего отца и мою жену — жить вечно, просто поместив их на страницы художественной литературы.

И ради этого — хотя вполне вероятно, что это бессмысленно и, может быть, я совершаю нелепую ошибку, — я сижу за письменным столом в библиотеке и пишу, а кровь вытекает из моих жил, и луна прячется в тучах, и огонь догорает в камине, а Ахиллес ростом в пять футов — он выше всех остальных — рубит и колет мои плечи и мой позвоночник, в то время как тени Тома Джонса, Гулливера, Гамлета и многих других подбадривают его, освистывают или жалуются на свою судьбу, замечая, что я умираю, или не обращая на это никакого внимания, поскольку заняты своими собственными великими заботами. А я пишу свой рассказ и не устану его писать, пока мне позволяет время.

— О, Грир, какая ты добрая, кроткая женщина! — говорит мой отец.

Она, нахмурившись, качает головой и длинными пальцами поворачивает чашку ручкой на север. Стол вытянут с востока на запад.

— Чушь, — отвечает моя жена.

Ее раздражение удивляет его, и он поднимает на нее глаза, а затем снова опускает их на свои колени.

— Я не о том, — говорит он.

Она вдруг встает и идет к холодильнику, открывает его и, точно ребенок, заглядывает внутрь.

— Господи Иисусе! — говорит она.

— Нет сыра? — спрашивает он. Он и сам не знает, почему подумал, что ей нужен сыр.

— Сыра? — переспрашивает она еще более раздраженно. Она глядит на него. Он догадывается, что она считает его сумасшедшим. Разведи он огонь в раковине, она не сочла бы

это более ненормальным, чем предположение, что она ищет сыр. Грир идет обратно к столу с кувшином молока и стаканом.

Отец чувствует боль — чуть-чуть колет в самом центре груди. Однажды, несколько лет назад, он ехал в машине с моей матерью. Машину пришлось остановить — мать ругала его за то, что он не смог возбудить дела против кого-то, кто ограбил его, — и, чтобы избежать сердечного приступа, он остановил машину и сломя голову кинулся по дороге.

— Я только хотел...— говорит мой отец, но и эта ниточка обрывается.

С большим трудом он тянется через стол к руке Грир. Слезы хлынули у нее из глаз и потекли по щекам.

— Не обращай внимания,— говорит она,— прости меня.

Она медленно опускает голову. Отец, тщательно все обдумав, поднимает заскорузлую ладонь и гладит ее мягкие волосы.

— Боже, если б мне было столько лет, сколько Уинфреду,— сетует мой отец. Осторожно, чуть касаясь едва заметного пуха на ее щеке, он проводит негнущейся рукой по ее лицу. Слез он не трогает.

— Ты сумасшедший,— говорит она, и смеется, и плачет.— Ты никогда не думал, что если бы мы с тобой были такими же нормальными, как, например, наш Уинфред, и тратили бы время в библиотеке, переворачивая страницы — одну, другую, третью...

— Ну-ну,— говорит отец.— Когда человеку столько лет, сколько мне, так или иначе думаешь обо всем.— Его рука медленно и нежно гладит ее волосы. Ему восемьдесят два года. Ей тридцать. Никому бы и в голову не пришло, что он душевнобольной, если б однажды он не въехал задом автомобиля в зеркальное окно моего банка.

Волосы у меня на затылке встали дыбом, точно их коснулся ледяной ветер. Ахиллес, Рыцарь Справедливости, застыл в дверном проеме, одетый в скучный опрятный костюм, точно свидетель Иеговы. И я вижу, что он понял суть отношений моей жены с моим отцом.

Я хватаю его за локоть.

— Не надо справедливости,— умоляю я.— Хватит справедливости.

Ничего этого не может быть, я понимаю. Отец мой в сумасшедшем доме. Ахиллеса не существует. Я с трудом заставляю себя перечитать все, что написал. Стол залит кровью.

В моей голове — сплошные планеты и звезды. А Ахиллес с поднятым гигантским ножом медленно надвигается на отца.

— О боже милостивый!— молю я всеми силами души. Да поможет нам в тяжкие времена хорошая литература. Свет пляшущих звезд слепит глаза.— О боже милостивый!— молю я всеми силами души.

Влемк-живописец

1

Жил-был на свете человек, который расписывал разные коробочки. Табакерки и портсигары, шкатулки для драгоценностей и коробки для спичек, ларцы для подарков друзьям и возлюбленным — чего он только не расписывал; и так уж повелось в этой стране, что люди приносили коробки этому человеку — его звали Влемк-живописец (или покупали те, что изготовлял он сам), а уж Влемк писал на них картинки. Хотя он не был старым, сгорбленным старикашкой, но был не так уж и молод и потому отрастил себе усы и длинную, почти по пояс, бороду — как и пристало настоящему мастеру. И настолько он был искусен в живописи, что если брался изобразить на шкатулке, например, старинные часы, то выписывал их так тщательно, что казалось: приложи картинку к уху и услышишь тиканье. Тоже и цветы: они получались совсем как живые, и можно было поклясться, что ты видишь, как они шевелятся от ветра, а если понюхать, то непременно уловишь тонкий аромат роз, сирени или наперстянки.

Как это иногда случается с исключительно одаренными художниками, в делах, не относящихся к искусству, этот Влемк-живописец оказывался не слишком на высоте. Пока он работал в своей светлой, залитой солнцем мастерской, возвышавшейся над домами и улицами города, он был образцом трудолюбия и благоразумия. Кисти, краски, лаки и разбавители он хранил с таким тщанием и в таком порядке, в каком старая заботливая вдова хранит свою посуду и ложки, и трудился сосредоточенно, как трудится над своими бумагами какой-нибудь банкир или адвокат, рассчитываю-

щий умножить свои капиталы. Но, кончив работу (а кончал он ее когда придется, ибо иногда трудился всю ночь, иногда весь день, иногда только час, а иногда без передышки и полторы недели кряду), Влемк совершенно менялся, так что люди, видевшие его за работой, могли бы поклясться, что это уже не он и даже не его брат, а совсем другой человек.

Когда Влемк не работал, то в него словно демон вселялся. Он шел в кабак, что в конце его улицы, и там начинал кричать и размахивать руками, расправляясь с пивными кружками, а то и с подвыпившими старикашками, и хотя многие хорошо к нему относились и с интересом его слушали, потому что не было в тех краях более умелого живописца, только в конце концов даже самые добрые и благожелательные люди не выдерживали и либо вызывали полицию, либо просто хватали его за шиворот и вышвыривали вон. А иной раз его видели в сомнительной компании — с пьяницами, карманниками и даже с неким убийцей, не разлучавшимся с топором.

Надо ли говорить, что живописец не был доволен собой. И часто, сидя в своей мастерской высоко над городом, он хватался за голову и стонал: «Горе мне! Отчего я такой?» Но стенанья делу не помогали. Едва он заканчивал свою дневную работу или если был в ударе, то работу за неделю, как спускался вниз, в город, и вновь предавался постыдному разгулу. «Ну и зажало же меня в тиски!» — восклицал он, выглядывая утром из канавы.

Однажды, когда так и случилось, то есть когда он воскликнул: «Ну и зажало же меня в тиски!» — и стал выбираться из канавы, где лежал среди бутылок и старых газет рядом с дохлой кошкой, мимо проезжала карета, на козлах которой сидел кучер в ливрее и цилиндре. Великолепный кучер — на солнце его сапоги блестели, как отшлифованный оникс, а еще великолепнее была сама карета, похожая на роскошный ларец из черной кожи, украшенный гвоздями с блестящими золотыми шляпками. Когда карета поравнялась с беднягой художником, раздался возглас: «Стой!» — и карета остано-

лась. Чья-то маленькая ручка раздвинула занавески, и в окне показалось бледное нежное личико.

— Скажи мне, кучер, что это за несчастное существо в канаве?— спросила особа, сидевшая в карете.

— А это, к сожалению, Влемк, знаменитый живописец,— ответил кучер.

— Влемк?— удивилась особа, сидевшая в карете.— Не может быть! Я была однажды в мастерской у Влемка и непременно узнала бы его, где бы потом ни встретила. Это жалкое существо, копошащееся в канаве, не может быть одарено талантом.

— Уверю вас, Принцесса,— с грустью сказал кучер,— что грязный оборванец, которого вы видите сейчас в канаве,— это Влемк-живописец.

Влемк в ужасе закрыл лицо руками, ибо узнал в сидевшей в карете особе Принцессу, которая, как он слышал, скоро будет главой Королевства, потому что мать у нее давно умерла, а отец был смертельно болен. Влемк так устыдился, что он предстал в таком ужасном виде перед столь важной особой, что он готов был сквозь землю провалиться.

— Хотите, я брошу этому несчастному монетку?— спросил кучер.— Могу вас заверить, она ему пригодится, ибо, если верить слухам, он спускает в кабаке все, что зарабатывает своим искусством.

— Боже сохрани!— сказала Принцесса, раздвигая занавески шире, чтобы получше разглядеть Влемка.— Какая ему польза от монетки? Все равно ведь пропьет.— С этими словами она задернула занавески и приказала трогать.

— Чудовище бессердечное!— крикнул Влемк и, неуклюже поднявшись, сделал несколько неверных шагов в сторону удалявшейся кареты. Он был так зол, что даже потряс в воздухе кулаками.

Но в глубине души он не осуждал Принцессу за такие слова. Ведь она сказала сущую правду, и, будь он человеком здравомыслящим, то, конечно, поблагодарил бы ее за строгий, но справедливый суд. Он же пробурчал: «Горе королевству, правители которого приходят в смятение от каждого

чиха». Вдобавок ко всему, когда Принцесса показалась в окне кареты и он внимательно присмотрелся к ее лицу, его поразила, как удар ножа в спину или стрелы — в грудь, ее невиданная красота.

Возвратившись в тот день в мастерскую, он пытался писать, но безуспешно. Его своевольные кисти словно в раздражении тыкались в краски, мазки получались густыми, неровными, как это бывает у любителей-самоучек, так что Влемку приходилось все счищать и начинать работу сначала. К исходу дня он понял, что все безнадежно. Он потерял охоту доводить изображения животных, цветов или сельские пейзажи до того совершенства, которым в свое время прославился. Да и вообще у него пропало всякое желание писать. Раздосадованный, он отложил все в сторону, едва ли заметив, что кисти у него вымыты хуже обычного, колпачки на тюбиках с красками завинчены не до конца, бутылка с разбавителем накренилась и ее содержимое пролилось на пол. «Ну и попал же я в тиски!» — пробормотал он, но как-то вяло и равнодушно.

В кабаке на сей раз все было ему не по вкусу. Вино — он знал заранее — горчит, пиво — слишком пенится, ликер приторно-сладкий и густой. «Чего же я все-таки хочу?» — недоуменно размышлял он; разинув рот, опершись подбородком на сплетенные руки, он безучастно разглядывал трещины на старом провисшем потолке. Завсегдатаи кабака поглядывали на него вопросительно и даже несколько недовольно — им было непонятно, почему сегодня он не похож на себя. Обычно в это время, ворчали они, он начинал горланить песни, пинать что ни попадя ногами, отчаянно спорить. Казалось бы, его молчаливость должна была их радовать, поскольку Влемк, впад в свое обычное состояние, был просто несносен. Но нет. Даже самые флегматичные из завсегдатаев, за исключением троих, почитавших себя тоже в некотором роде художниками, были простыми людьми, жилось им несладко, и то, что Влемк отступил от этого, по их убеждению, раз и навсегда заведенного порядка, огорчило их.

«Чего же я хочу?»— снова и снова спрашивал себя Влемк, сидя в одиночестве за столиком у окна.

— Почему он не пьет?— ворчали завсегдатаи.— Почему сидит как истукан?

Лишь трое, а вернее, четверо — кабатчица и еще трое угрюмых незнакомцев — глаза их скрывались под шляпами, и они всегда носили оружие — помалкивали и вряд ли вообще обращали на него внимание. Один из них, с шевелюрой цвета соломы, бывший поэт, крепко спал с открытыми глазами. Другой, очкастый, бывший скрипач, шарил в кармане сидевшего рядом с ним рабочего. Третий уставился в одну точку, будто кот на мышиную нору. Этот третий был будущий убийца, и он не разлучался с топором.

Втайне Влемк, конечно, с самого начала знал, чего хочет, и когда окончательно в этом уверился, то почувствовал себя таким несчастным, что уже не мог далее оставаться в кабаке. Он поднялся, не сказав никому ни слова и даже не взглянув на мрачную толстую кабатчицу, засунул руки в карманы рабочего халата — от огорчения он даже не позаботился оставить халат в мастерской,— подошел к двери и, постояв немного в раздумье, шагнул за порог.

Он шел быстро с видом человека, у которого есть важное дело, хотя идти ему было, в сущности, некуда и никаких обдуманых планов он не имел. Если бы его спросили, какое сейчас время суток, ему пришлось бы оглядеться вокруг, прежде чем ответить, что час уже поздний, почти ночь. В полном унынии он шел от улицы к улице, от моста к мосту, и, когда в небе начал меркнуть последний отблеск заката, к своему удивлению, обнаружил, что стоит у ворот королевского дворца.

Принцесса как раз в это время возвращалась с прогулки со своими борзыми собаками. При виде живописца борзые подняли страшный лай и яростно потянули за поводки, рванулись к Влемку, пытаясь прогнать его прочь, так что Принцесса волей-неволей приблизилась к тому месту, где стоял художник, угрюмо уставившись на двери дворца. Добежав до ворот, отделявших их от Влемка, борзые стали

прыгать, лязгать зубами, гарцевать на задних лапах, кидаться на чугунные прутья, однако живописец чувствовал себя в безопасности и не слишком обращал на них внимание. Наконец раздался окрик хозяйки, и собаки утихомирились. Теперь они просто повизгивали, сопели и бегали кругами. Остановившись на почтительном расстоянии от Влемка,— уж не анархист ли какой явился?— Принцесса, держа в одной руке поводки, а другой прикрывая, как козырьком, глаза, внимательно присмотрелась к нему и воскликнула:

— Так это же Влемк-живописец!

Действительно ли она его признала, Влемк так и не понял. Во всяком случае, халат она признала.

Влемк печально кивнул.

— Да, ваше высочество,— сказал он.— Я действительно Влемк.

— Ради всего святого, что ты здесь делаешь? Уж не думаешь ли ты, что мы подаем милостыню?

— Нет,— сказал Влемк.— Думать так у меня нет никаких оснований.

— Тогда что же тебя привело сюда?— голос Принцессы зазвучал мягче.

Влемк долго молчал, у него даже перехватило дыхание от смущения. Наконец, набравшись решимости, он произнес:

— Скажу вам правду. Душу, по крайней мере, облегчу. Хотя вряд ли я могу на что-либо рассчитывать.

— Что ж, говори,— приказала Принцесса и вдруг, словно охваченная каким-то предчувствием, потупилась и слегка побледнела.

— Я пришел,— сказал Влемк,— просить вашей руки.

Он так сконфузился, произнеся эти слова — хотя не мог не сказать их,— что стал ломать в отчаянии руки и уставился на кнопки своих ботинок.

— Престранная просьба,— сказала Принцесса, бросив на него быстрый взгляд и тотчас же отведя глаза в сторону.— Как человеку, который имеет дело с богатыми аристократами, тебе, конечно, известно, что члены королевской семьи

обычно не вступают в брак с художниками, расписывающими шкатулки.

Даже собаки, казалось, понимали происходящее. Они вдруг успокоились, перестали крутиться и слушали, склонив голову набок,— совсем как присяжные заседатели.

— Да,— сказал Влемк,— мне это известно.

— Не сомневаюсь, известно тебе и то,— продолжала Принцесса хрипловатым голосом, выдававшим волнение,— что сегодня утром я видела тебя в канаве среди бутылок, старых газет и рядом с дохлой кошкой.— Теперь она, вглядываясь в его лицо, склонила голову набок. В сгущающихся сумерках Влемк не мог разобрать, улыбается она или лицо ее серьезно.

— Известно,— только и вымолвил Влемк.

Он так сконфузился, что просто онемел. Но, на счастье, Принцесса стала рассуждать за него сама:

— Думаю, ты можешь на это сказать, что в своем роде ты тоже аристократ, ибо ни один человек не может сравниться с тобой в росписи шкатулок.

Влемк только кивнул головой и до боли заломил пальцы. Во всех окнах дворца зажглись огни. Этих огней было так много, что они казались снежинками, крутящимися в воздухе. Над самой высокой башней из-за туч выплыла луна.

— Любопытный довод,— продолжала Принцесса, словно этот довод придумала не она сама. Она коснулась тремя пальчиками лба и как-то странно встряхнула головой.— Только боюсь, что ты меня не убедил. Как я могу быть уверена, что вследствие такого образа жизни ты не лишился мастерства?

Выслушав ее, Влемк снова обрел дар речи.

— Поверьте,— торопливо заговорил он,— я могу написать ваш портрет настолько живым, что будет казаться — он способен говорить.

— Это интересно,— задумчиво сказала Принцесса.— А ты сделай так, чтобы портрет действительно заговорил, и тогда я позволю тебе вернуться к этой теме.— И, сказав так, она одарила его загадочной улыбкой — то ли насмешли-

вой, то ли ласковой (при рассеянном свете луны и дворцовых огней даже волшебник не смог бы этого определить), повернулась к нему спиной, тронула поводки и исчезла вместе со своими борзыми под аркой дворцового подъезда.

«Чтобы портрет действительно заговорил!»— повторил про себя Влемк, чувствуя, как бешено колотится у него сердце. Ведь это же невозможно! Будь художник хоть в десять раз талантливей бедняги Влемка, и тогда никакие старания и мастерство не помогли бы ему добиться такого сходства с натурой, чтобы портрет заговорил. Но если Влемк не сумеет этого добиться, то Принцесса никогда уже не станет с ним разговаривать. А если не станет разговаривать и лишит его возможности наслаждаться ее красотой, пронзившей, точно стрела, его сердце, то как он сможет заниматься своим искусством? На сей раз он действительно оказался в тисках!

Впрочем, думал он, быстро спускаясь с холма к городу, так ли уж это невозможно? В конце концов он ведь ни разу не пробовал. Мысль эта захватила его, и когда он достиг окраины города, то уже не шел, а бежал во всю прыть, полы его длинного белого халата развевались, а шляпа, которую он прижал к голове, сплющилась.

— Ну вот, теперь снова он стал самим собой,— сказали завсегда и кабака при виде бежавшего Влемка. Четверо же — кабатчица и трое молчаливых незнакомцев — промолчали.

Он бежал, словно за ним черти гнались, до самого дома и остановился лишь затем, чтобы отпереть дверь и захлопнуть ее за собой; потом взлетел на антресоли, в мастерскую, возвышавшуюся над городом, выбрал самую лучшую из своих шкатулок и тотчас принялся за работу.

2

После шести недель работы без сна и отдыха Влемка стали одолевать мрачные, тревожные мысли. Временами в голове у него мелькала догадка, что сказанное Принцессой — всего

лишь злая, жестокая шутка, что замуж за него она и не подумает выходить и, чтобы избавиться от него, поставила перед ним заведомо невыполнимую задачу. Однако Влемк не мог смириться с тем, что эта задача в самом деле невыполнима, ибо если художник поддастся мысли, что образ дивной красоты есть всего лишь иллюзия, то лучше ему отрубить себе руки и идти на улицу просить милостыню. Всей силой тщательно взлелеянного и натренированного воображения он заставил себя вспомнить то утро, когда увидел ее в окне кареты, и, пустив в ход все свое умение и все технические приемы, попытался воплотить этот образ в своей живописи. Он не мог сомневаться в силе нараставшего в нем чувства или в точности воспроизведения лица Принцессы. Каждая искорка в ее голубых глазах была совершенно как живая; линии щек и носа, семь волосков, случайно упавших на лоб,— все детали портрета, по мере того как он их отработывал, выглядели безупречно.

И все же его терзали сомнения. Ему пришлось, например, в голову, что палитра властвует над ним, создавая не образ Принцессы, а нечто новое, какое-то невиданное доселе существо, словно живопись растет под его кистью, подобно растению, верная первоисточнику, но отличающаяся от него в силу свойственных ей непреложных древних законов искусства неповторимым своеобразием: белый цвет ушей у дамы на портрете был близок к цвету белков ее глаз, поэтому художник должен был улавливать тончайшие оттенки, сообразуясь не с натурой, но с естественными требованиями живописи на шкатулках. Он с тревогой обнаружил, что шея на портрете приобретала медленно, но неуклонно зеленоватый оттенок, весьма редкий, если не невероятный для человеческого существа. «Но почему это должно меня беспокоить?— упрекнул он себя.— Разве чувство, которое я испытываю, глядя на эту картину, не такое же точно, какое я испытывал, когда смотрел на Принцессу,— даже если в портрете и есть небольшие, легко устранимые ошибки, такие, например, как излишняя припухлость ноздрей или ненужный блик на веке?» Он отошел немного назад и, прищулив левый

глаз, присмотрелся к картине, чтобы лишний раз убедиться в точности живописи. Все верно. «Ну вот и хорошо,— рассудил он, снова берясь за кисть.— Раз все верно, пускай шея будет зеленой, как трава».

Но это было не главное, что заставляло тревожиться. Его поразила догадка, что чувство, охватившее его в то утро, явилось простой химической реакцией — и только.

— Много я выпил накануне,— сказал он вслух и, смешивая краски, склонился над столом.— Если я, к примеру, сейчас быстро выпрямлюсь, а от усталости у меня голова кругом идет, то вся обстановка этой комнаты покажется мне не такой, какой я увидел бы ее, если бы выпрямился медленно; так и в то утро: мучимый жаждой, промокший до нитки от росы и сточных вод, я, вне всякого сомнения, увидел то, чего не увидел бы, наверное, в другое время, будучи в другом физиологическом состоянии. Можно ли допустить, что я пишу не Принцессу, а скажем, уровень мочевой кислоты в собственном организме или мое кровяное давление?

Вопрос этот вызвал у него неприятное чувство, но даже он не поставил художника окончательно в тупик. Стоя у окна и глядя сверху вниз на старинные кривые улочки города, он подумал: «Да, в то утро мое состояние действительно было ненормальным; но ведь такая ненормальность — весьма распространенное явление среди живых существ, во всяком случае среди людей, так что образ Принцессы вряд ли можно считать причудливым или оторванным от реальности». Ответ не был слишком утешительным для живописца, но это все же был ответ, и Влемк продолжал писать.

Но самую серьезную проблему составляло то, что лицо, возникавшее на шкатулке, отнюдь не вызывало симпатий. Заметны были смутные, но неоспоримые намеки на жестокость, тщеславие и скаредность. Как и всякий другой честный художник, Влемк попробовал, насколько возможно, уничтожить, побороть эти недостатки, но тщетно, они были неискоренимы, ими было буквально пропитано все насквозь. Влемк в раздумье погладил бороду. Такое случалось с ним

и раньше. Чаще всего, задавшись целью запечатлеть какой-нибудь понравившийся ему образ, он при внимательном рассмотрении обнаруживал, что образ этот несколько менее привлекателен, чем казалось вначале. Но раньше, когда это случалось, он не очень уж горевал, потому что цель его заключалась лишь в том, чтобы сделать красивую шкатулку. Подобно тому как государственный министр тактично перефразирует изречение разгневанного короля, исправляет его грамматические ошибки, опускает бранные слова, вставляет отдельные выражения, которые остались бы в памяти народа, Влемк, не задумываясь, редактировал Природу, выпрямляя кривые стебли, оживляя поникшие листья, устраняя то, что не радует глаз. Здесь это было невозможно. Он начал постигать истину, о которой всегда знал, но с которой до сих пор не сталкивался: Прекрасное — лишь тщетная мечта художника, оно лишено жизни, плоти и существует только в искусстве.

Влемку все как-то сразу наскучило. Медленно, аккуратно, без единого лишнего движения он промыл кисти, тщательно завинтил колпачки на тюбиках с красками, привел в должный порядок бутылки с разбавителями и лаками, снял с себя рабочий халат и повесил его на крючок, потом надел пиджак и, выйдя из мастерской, запер за собой дверь.

Гул голосов в кабаке только еще набирал силу. Завсегда-таи распевали песни и спорили о политике: толстая злая кабатчица силилась улыбаться в объятиях старого пьянчуги моряка. Старый кот Том, по обыкновению, спал под печкой.

— Ба! — воскликнул кто-то, заметив входящего Влемка. — Да это Влемк-живописец!

И все радостно заулыбались, ибо он давно уже здесь не показывался.

— Влемк! — закричали все хором. — Где ты пропадал? Пододвигай стул!

Бедняге Влемку понадобилось не так уж много времени, чтобы напиться до своего обычного состояния, — и вот он уже верхом на неведомо откуда взявшейся лошади, впряженной в молочный фургон; при каждом толчке и на каждом

крутом повороте бутылки сыплются на булыжную мостовую и разбиваются, изо всех домов сбегаются кошки, привлеченные запахом молока, шатаются деревья, казавшиеся еще пьянее, чем он сам, жмутся к стенам домов испуганные прохожие. Позднее (когда именно, он толком не знал, хотя ему вспомнилось, что до этого он сидел в доме какой-то женщины, в пьяном оцепенении разглядывая родинку на ее шее) Влемк очутился на кладбище в компании сухопарого старика монаха. Болтая, они распивали бутылку какого-то зелья, отдававшего укропом.

— О да! — воскликнул монах. — Как сказал поэт, красота мимолетна. — Он протянул Влемку бутылку и, помолчав, продолжал: — Расскажу тебе, с чего все это началось. Тут не обошлось без женщин.

Влемк рассеянно отпил из бутылки. Надгробия покачнулись, потом снова выпрямились.

— Если воспользоваться высочайшими мерками, то, по моим представлениям, прекрасной женщины я никогда не знал, — начал монах. — Не знал даже хорошей женщины или относительно хорошей матери. — Он вздохнул и постучал друг о друга кончиками пальцев. — Эта мысль родилась у меня уже давно: мы способны *постичь* с помощью своего воображения, что такое красивая женщина, или просто хорошая женщина, или хотя бы относительно хорошая мать, однако в Природе их не существует, если, конечно, не считать матери нашего Спасителя... — Он кашлянул, как бы в смущении, и продолжал дрогнувшим голосом: — Я давно понял, что Природа недостойна нашего внимания. Даже то лучшее, что мы, смертные, сможем постичь, если верим священным книгам, есть всего лишь слабый отблеск прекрасного, средоточием которого вот уже сколько тысяч лет является бог.

Монах продолжал еще что-то говорить, но Влемк уже не слышал: он спал мертвым сном.

Когда он пришел в себя, было утро, над городом поднималось солнце. Он стоял у порога своего дома и скрупулезно изучал наружную дверь, отмечая каждое пятнышко на

стене вдоль косяков, каждую трещинку на дереве, точно хотел увериться, что это — его дверь. Он еще ни разу не разглядывал свою дверь с таким усердием, и, пожалуй, именно поэтому чем дальше он смотрел на нее, тем меньше узнавал. Одно он знал наверняка: дверь эта заслуживает самого пристального внимания. Он провел онемевшими пальцами по камню и цементу, потом осторожно, опасаясь заноз,— по дереву. Почему-то вспомнилась арочная дверь дворца, в котором жила Принцесса, и тут Влемка охватило такое странное чувство, какого он еще никогда не испытывал: жалость к парадному подъезду Принцессы. Не потому, что в этой величественной, торжественной арке ему виделись какие-то несовершенства. Напротив, она была идеальных пропорций, хотя больше бы подошла для церкви, чем для дворца. Ее изысканность не была навязчивой, сама работа казалась вдохновенной, хотя и неоригинальной; четырехлистники, ромбы, замковый камень — все было доведено до совершенства. И тем не менее во всем этом, как и в его собственной скромной входной двери, крылась какая-то нелепость. Он только об этом подумал, а его уже подстерегала другая, еще более любопытная мысль. Будь он наделен, подобно Иоанну Богослову, даром откровения, он наверняка испытал бы точно такое же чувство: едва уловимую иронию, смешанную с жалостью. Пусть хоть все архитекторы неба и земли объединятся, создавая подобное сооружение,— результат был бы таким же: не разочарывающим — отнюдь нет, но трогательно нелепым.

Предположим, что врата небесные сделаны из жемчуга, а улицы вымощены чистым золотом. Можно ли, глядя на это великолепие, не отшатнуться, подумав со снисходительной улыбкой: «О, как неестественно! Как старо!» Не стоило большого труда установить, что драконы на колоннах портика восходят к династии Мин, шведскому или французскому ампиру; что конструкции такого же рода существовали уже у майя, или в Лондоне сороковых годов XIX века, или у этрусков. Наверное, потому господь бог и сотворил рай скромным, как хижина пастуха, что пожелал этого из-

бежать. «Какая изысканная простота»,— скажут люди, как говорили о тысяче подобных творений. Или, предположим, бог, в своей неизреченной мудрости, предпочел бы создать нечто совершенно новое, еще не виданное ни на земле, ни на какой другой планете. «Как это ново!»— воскликнули бы люди, и им вторили бы стройным античным хором миллиарды миллиардов восставших из мертвых.

Погруженный в эти мысли — скорее приятные, чем грустные, ибо если они и отрицали конечную ценность всякого искусства, то придавали таракану, роду людскому и богу нечто вроде единства в суетности и тщете,— Влэмк отпер дверь и вошел, надеясь, что не ошибся домом, и продолжая отыскивать приметы. Лестницу он нашел вроде бы там, где она должна быть, старательно обошел двух спящих кошек и стал подниматься вверх. Перила гладкостью напоминали подсохшее запыленное мыло, точь-в-точь как перила в его доме, впрочем, наверное, это и был его дом. Подойдя к двери мастерской и обнаружив, что она заперта, он перестал сомневаться. Попробовал вставить ключ. Замок открылся.

Первое, что он увидел, войдя в мастерскую, был портрет Принцессы. Он вздрогнул от неожиданности, открыв, что картина, по существу, уже закончена. Черты лица, заставлявшие его терзаться сомнениями и изобличавшие дурные стороны натуры Принцессы, были запечатлены точно, ничто не было утрировано. Но были в этом лице и доброта, и благородство, и какое-то милое своенравие. Возможно даже, что обыкновенный зритель мог и не заметить не совсем приятных черт, хотя они, несомненно, присутствовали.

Влэмк вздохнул, довольный жизнью, несмотря на ее несовершенства — или, может быть, благодаря им,— и сварил себе в большой посудине кофе. Город по-прежнему крепко спал, лишь кое-где проезжали повозки с мусором. Он вспомнил старого сухопарого монаха на кладбище, женщину с родинкой. Налил себе кофе и стал с улыбкой разглядывать портрет. Хоть она и принцесса, а все равно не лучше кабатчицы, монаха или той женщины с родинкой на шее; только, конечно, может, это он спьяну. Вот что значит сила жизни,

размышлял он, всюду себя оказывает — будь то кабатчица, или принцесса, или одуванчик, или монах, или даже живописец. Он засмеялся.

Он сознавал, что смотрит на мир как бы с вершины горы. И все же чувство тревоги не покидало его, несмотря на эти приятные, светлые мысли. *Сделай так, чтобы портрет действительно заговорил*, вспомнил он слова Принцессы, и тогда я позволю тебе вернуться к этой теме. Да, недостатки недостатками, а она и на самом деле красивая — красивей, чем ему казалось прежде. Если и правда, что весь мир един в своей нелепой суетности и тщете, то правда и то, что некоторые до смешного несовершенные изображения действительности почему-то для иных предпочтительней самой действительности — в таких ее проявлениях, как, например, сам Влемк. Ведь именно теперь, представив себе Принцессу со всеми ее достоинствами и недостатками, бедняга Влемк безнадежно, постыдно влюбился. Теперь она была для него уже не просто каким-то неопределенным, бесплотным видением, а чем-то совершенно реальным. Он хотел, чтобы она спала с ним в одной постели, хотел поговорить с ней откровенно, по душам о Жизни и об Искусстве так, как если бы они были уже давным-давно знакомы и научились понимать друг друга с полуслова. Влемк взглянул на свой кофе. Может быть, она больше любит чай? Он вопросительно посмотрел на картину. Картина молчала.

Поспешно, почти не понимая, что он делает, Влемк открыл краски, схватил кисть. Он писал неистово и бездумно, равно запечатлевая прекрасное и уродливое, работая иступленно и почти небрежно. Вскоре портрет стал настолько похож на Принцессу, что даже ее родная мать не смогла бы найти между ними различия.

И тогда портрет заговорил.

— Влемк,— сказал портрет,— я предаю тебя проклятию. Отныне, пока не будет на то моей воли, ты не произнесешь ни единого слова.

Влемк вытаращил глаза и хотел было возразить, но проклятие уже начало действовать: он потерял дар речи.

С этого момента в жизни художника настал мрачный период. Правда, он достиг того, чего не достигал еще ни один другой художник, он добился успеха в решении труднейшей задачи — успеха, о котором можно только мечтать, но победа обернулась катастрофой: он стал нем как могила. Если портрет будет упорствовать, в чем Влемк не имел причины сомневаться, то он уже никогда в жизни не скажет Принцессе ни слова, не выскажет ей свою любовь, свои вдохновенные мысли.

Он предпринимал слабые попытки приспособиться к своему новому положению. Время от времени брал заказы: украсить анютиными глазками табакерку, нарисовать дом хозяина на коробке для перьев. Но изображения получались грубыми, аляповатыми: в них не было души. Заказчики, даже местные врачи и банкиры, которые при желании без труда заплатили бы просимую им сумму, торговались с ним о цене, а потом тянули с оплатой — верный признак того — и это подтвердит любой живописец, — что его работа не ценится. Неделя следовала за неделей, а дела у Влемка шли все хуже и хуже; все реже и реже на узкой лестнице его мастерской раздавались шаги клиентов. Впрочем, какая ему разница, ведь все равно работал он медленно, если вообще работал. Даже в тех случаях, когда он, охваченный чувством тревоги или недовольства собой, по многу часов подряд не выпускал из рук кисти, сделать ему удавалось ничтожно мало. С тех пор как портрет Принцессы был закончен, все остальное, что он делал, казалось ему ниже его возможностей, изменой своему таланту. Он обнаружил, что просто-напросто разучился писать по заказу; если же ему удавалось ценою нечеловеческих усилий написать то, что его просили, никто уже, даже самый последний кретин, заходивший к нему с улицы, не хвалил его работу.

Унижение Влемка особенно остро ощущалось в тех случаях, когда клиенты, к его досаде, отворачивались с кислой миной от шкатулок, разрисованных по их же заказу, и

переводили взгляд на портрет Принцессы. Некоторые замечали: «Как живая, вот-вот заговорит». «А она и в самом деле говорит»,— отзывался тоненький голосок, и клиенты не верили своим ушам. Вскоре поползли слухи, что Влемк вступил в сговор с дьяволом. А дела его шли все хуже, и в конце концов заказов не стало вовсе.

«Горе мне»,— сокрушался бедняга Влемк, сидя один в мастерской и ломая руки. А тут, в довершение бед, портрет опять заговорил, нагоняя тоску своими жалобами и наставлениями.

— Как можешь ты называть себя живописцем?— вопрошал он тихим, не громче чем писк насекомого, звенящим голоском.— Куда девался твой дар? Вот до чего довела тебя разгульная жизнь.

Влемк терпеливо сносил эти речи либо уходил от них в кабак, хотя считал жестокой несправедливостью, если не сказать больше, что его шедевр стал его же проклятием, тюрьмой его духа. Иногда он, отбросив самолюбие, жестами зывал к своему творению, даже опускался перед ним на колени, умоляя вернуть ему дар речи.

— Нет,— отвечал портрет.

«Но почему?»— вопрошал он вздетыми к небу дрожащими руками.

— Потому что не хочу. Когда захочу, тогда и верну.

«Нет в тебе жалости!» И в немом вопле Влемк потрясал кулаками и печально качал головой.

— Тебе ли говорить о жалости?— возмущалась шкатулка.— Это ведь ты, чудовище, сотворил меня! Знаешь ли, каково мне торчать здесь, точно я несчастная калека,— ведь у меня только и есть что голова да плечи, у меня нет даже рук и ног!

«Всепрощение — величайшее из всех добродетелей»,— знаками отвечал Влемк.

— Нет,— стояла на своем шкатулка.— Проклятие остается в силе.

Влемк со стоном тяжело поднимался с затекших колен и, чтобы наказать шкатулку единственным доступным ему

способом, надев пиджак и шляпу, отправлялся в кабак.

Если отвлечься от невзгод, которые приносило ему безденежье, Влемк, говоря по совести, не так уж и сожалел, что в росписи шкатулок он оказался неудачником. Профессия эта никогда не пользовалась высокой репутацией. Не то что изготовление горгулий*, или цветного стекла для витражей, или литье колоколов; и потому Влемк, ставивший себя намного выше представителей этих более уважаемых ремесел, считал, что ему даже выгоднее превратиться в обыкновенного горожанина, чем оставаться в роли мастера, на которого свысока смотрят презираемые им коллеги.

Вскоре его немота, его неспособность произнести хотя бы отдельные звуки превратили его в существо совершенно безликое. Он все больше и больше времени проводил в кабаке, с жалким видом протягивая руку, чтобы добыть необходимые ему монетки. Беда была только с хозяйкой дома — ему совестно было встречаться с ней. А она, прослышав о его дружбе с дьяволом, старалась не ссориться и держаться от него подальше.

Стояла зима — в городе, где жил Влемк, пора весьма живописная для тех, кто богат или кто бывал там только проездом. Карнизы магазинов украшали блестящие сосульки; крыши домов и шпили церквей покрывали остроконечные снежные шапки; от лошадей, бежавших в упряжке, белыми клубами валил пар. Нельзя сказать, чтобы Влемк был совсем равнодушен ко всей этой красоте. Ему было интересно наблюдать, как тени, падающие от облака пара, меняют окраску предметов или как капельки влаги на ноздрях лошади светятся на солнце янтарным светом.

Но уныние и гнев, охватившие его, не могли не мешать ему любоваться всем этим. Таким, как Влемк, студеной погода причиняла одни лишь страдания и унижения. Его одежда была настолько тонка и дырява, что не защищала его от пронизывающего холода. «При моих-то заработках, — горько шутил про себя Влемк (шутки такого рода все

* Горгулья — рыльце водосточной трубы в виде фантастической фигуры (в готической архитектуре).

больше входили у него в привычку), — надо еще радоваться, что я могу позволить себе иметь собственную шкуру». Эту остроту впору бы и вслух произнести, думал он, да мешало проклятие; так что ему ничего не оставалось, как сидеть, уставясь в одну точку, наедине со своими мыслями, или поднимать за компанию с другими бокал, или время от времени участвовать в драках, если он считал, что кого-то несправедливо обидели.

И так день за днем, день за днем Влемк шел в кабак, как только открывались его двери, тяжело ступая по льду и слякоти своими ботинками, зияющими огромными дырами, сгорбившись, в обтрепанном старом пальтишке, засунув кулаки в худые бездонные карманы, и целые сугробы снега громоздились на его голове и плечах. «Ох уж эта шкатулка!» — думал он, но тотчас же, будто слова эти услышал от кого-нибудь другого, несогласно замотал головой, ибо устал от размышлений, которыми ему не с кем было поделиться; устал и все чаще сердился, потому что теперь, когда он мог только слушать, ему стало особенно ясно, сколько слов люди произносят без нужды.

Между тем морозы крепчали, снег все валил и валил, приезжих людей на улицах появлялось все меньше и меньше, так что милостыню собирать становилось труднее. Иногда за целый день Влемку не удавалось собрать достаточно монеток, чтобы купить себе стакан вина. В такие дни он ходил скорчившись от голодных болей, что неудивительно, поскольку теперь он лишь вином себя и поддерживал. Бывали удачные дни, когда кто-нибудь из его сомнительных друзей — мелких воров и скупщиков краденого — давал ему немного выпить; вообще же на щедрость жуликов рассчитывать не приходилось. Иногда они бывали не в духе и скупились, иногда же по многу недель оставались без добычи, и в желудках у них бывало так же пусто, как у Влемка.

— Что поделаешь? — брюзжал его приятель, бывший скрипач, с виноватым, но непреклонным видом потягивая дешевое вино. — Эти богачи только и думают что о своих

деньгах. Одной рукой за бумажник держатся, а другой — за карманные часы.

— Да не смотри ты на меня так скорбно,— ворчал бывший поэт.— Эти типы застегнулись на все застёжки и окружили себя стражей пуще славного царя Соломона.

А убийца с топором или, вернее, будущий убийца, поскольку ему еще не представилось идеального случая, не нашлось жертвы, которая вполне удовлетворяла бы его эстетически (он во всем искал совершенства),— этот убийца сидел, упершись холодным взглядом в стол, и о чем-то думал — может быть, о том, как умертвить Влемка и завладеть его ремнем и шнурками от ботинок,— и молчал.

«Надо что-то предпринять,— думал Влемк.— Без выпивки никак нельзя».

Как-то вечером, когда именно так все оно и было, то есть когда Влемк сидел со своими приبلудными друзьями за столиком, схватившись за большой живот и дрожа от холода, потому что без вина не мог согреться, он заметил, что толстая угрюмая кабатчица подала вина какому-то посетителю — согбенному старику с седой бородкой — и не потребовала с него платы. Крайне возбужденный, Влемк ткнул локтем поэта, показал на старика и развел руками, как бы выражая недоумение. Поэт внимательно посмотрел на Влемка, догадался, о чем он хочет спросить, и повернулся к старику.

— А, этот. Она его всегда угощает бесплатно.— И поэт снова уткнулся в свой бокал.

Но Влемк не успокоился, теперь он не только подталкивал поэта и разводил руками, но поднял брови и тряс головой, показывая, что ему непременно нужно знать подробности.

— Спрашиваешь почему?

Влемк энергично закивал головой.

— Этот старик — композитор,— пояснил поэт.— Когда-то он сделал кабатчицу героиней одной из своих опер. Вот она и поит его в знак благодарности.

Будущий убийца презрительно сощурился. Так же, как и сидевший рядом с ним кот. Бывший скрипач имел подавленный вид.

Влемк резко поднялся со стула, помахал всем на прощанье рукой и, преодолевая боль в животе, заспешил в свою промерзшую мастерскую. Он писал всю ночь как одержимый, не обращая никакого внимания на реплики Принцессы, ругавшей своим тоненьким голоском каждый его мазок. Работал он быстро и легко, как в прежние времена,— наверное, потому, что замысел картины, хоть и сомнительный, был его собственным и преследовал определенную неблагоприятную цель. Утром, закончив картину, он прилег на кровать и, свернувшись калачиком, ждал, пока подсохнут краски. Как только краски подсохли, он завернул шкатулку в лоскут темно-красного атласа, украденный им несколько недель назад из корзины с бельем, и понес в подарок кабатчице.

Он поставил свой подарок на стойку и, кивая головой и улыбаясь, стал показывать сначала на шкатулку, потом на кабатчицу и обратно, но она лишь молча таращила на него глаза. Кабатчица не испытывала к нему приязни, да и вообще не любила людей, особенно мужчин, ибо много от них натерпелась. Бывали случаи (Влемк вспомнил об этом, только когда писал ее портрет), что она после ночи, проведенной с каким-нибудь моряком, отличавшимся крутым нравом, или с крестьянином, умевшим обращаться только со скотиной, появлялась в зале избитая, вся в синяках. Иногда — и об этом ему тоже напомнила кисть — она наливала в кружки пиво, и на глаза ее вдруг навертывались слезы.

В конце концов кабатчица все же приняла подарок, зная, что он от нее все равно не отвяжется, если она этого не сделает, и с каким-то странным, детским выражением лица, испуганная и смущенная, сняла со шкатулки темно-красное покрывало. Увидев портрет, она вскрикнула, точно пораженная печальным зрелищем, губы ее задрожали; но в ту же минуту дрожь прошла, лицо расплылось в улыбке, и кабатчица, притянув к себе бородатое лицо Влемка пухлыми руками, расцеловала его. Влемку стало ужасно неловко — он меньше всего ожидал от нее поцелуя, но заставил себя улыбнуться

и потом с той же натянутой улыбкой наблюдал, как она ходит от столика к столику, показывая подарок, и как все люди от души расхваливают портрет.

Казалось, никто, кроме бывшего поэта, бывшего скрипача и будущего убийцы, не замечал, что изображение на шкатулке — просто выдумка, фальшивка, наглая ложь. Влемк наградил кабатчицу детской улыбкой, хотя улыбка эта была так же чужда ее угрюмому грубому лицу, как египтянин — эскимосу. Он наградил ее глазами двенадцатилетней селянки, зная, что ничего общего, кроме карего цвета, между глазами кабатчицы и портрета не было. Он украсил ее подбородок багрянцем, некоторые дефекты кожи убрал, а некоторые (такие, как родимое пятно на шее — он обратил на это пятно внимание, только когда стал писать портрет) изобразил в виде мушек. Немного подтянул груди, разгладил кожу, поднял нависшие брови, сделал более приметной ямочку на щеке. Одним словом, превратил ее в красавицу, причем сделал это так искусно, что только художник смог бы определить, где кончается правда и где начинается подделка.

— Вина живописцу! — крикнул один из завсегдатаев.

— Да уж ему-то не пожалее! — ответила кабатчица. И вдруг улыбнулась так, как будто ее подменили.

Теперь у Влемка не было больше забот — во всяком случае, этой самой насущной для него заботы. С того вечера он получал в кабаке все, что просил: вино, пиво, водку, — и если и находил потом дорогу домой, то лишь с помощью кого-нибудь из друзей. А с кабатчицей произошло нечто удивительное. Она стала как две капли воды похожа на свой фальшивый портрет, гостей обслуживала с улыбкой, на незнакомых людей смотрела глазами невинного ребенка и держалась с глуповатой горделивостью и так прямо, что груди ее делались почти такими же, как их изобразил Влемк. В своей «побочной» профессии она добилась таких успехов, что Влемк стал опасаться, как бы она не вышла замуж и, бросив кабак, не обрекла бы его таким образом снова на нищенство. Временами он с тревогой замечал, как она нет-

нет да и взглянет украдкой на шкатулку, которую постоянно держала на видном месте, а однажды — и тут он испытал всю глубину своего падения — взглянула на него самого так, как будто бы она *разгадала* смысл его поступка. Разве ей, как и ему, не свойственна была игра воображения, разве она не такой же творец и разрушитель? Однако вслух она ничего не сказала, за что Влемк был глубоко ей признателен.

Отношения Влемка с другими людьми складывались не столь удачно. Поскольку он был лишен дара речи, всем не терпелось поделиться с ним своими горестными и постыдными тайнами — ведь они заведомо знали, что эти тайны не будут разглашены. Женщины, заглянув в его серые всевидящие глаза и убедившись, что он нем и потому безопасен, раскрывали перед ним такие жуткие картины своих разочарований и измен, раскаяния, гнева и отчаяния, что его неделями преследовали тревожные сны. Тихие старички рассказывали ему истории об изнасилованиях и поджогах, об истязаниях животных и бог знает еще о чем. Влемк сделался ходячей энциклопедией пороков и преступлений против человечности — скорее, козлом отпущения, чем духовником, потому что, увы, не был властен ни прощать, ни осуждать.

Между прочим, он узнал, почему поэт не писал больше стихов, а бывший скрипач с отвращением отвернулся от музыки.

— У всех моих читателей, вместе взятых,— сказал поэт, и губы у него дрожали, а лицо дергалось,— столько же ума, сколько у одной свиньи.— Он поджал губы, потом добавил:— Впрочем, я, пожалуй, несправедлив. Пожалуй, я недооцениваю свиней.— Поэт сказал эти слова в мастерской Влемка, где никто его не слышал, кроме самого Влемка и портрета Принцессы, а портрет тоже молчал.— Какой смысл,— продолжал поэт, он шагал взад и вперед по комнате, и его соломенные волосы развевались точно от ветра,— какой смысл говорить толпе то, чего она не понимает?— Он затаился трубкой, выпустил изо рта злые облачка

дыма и снова зашагал, тыча черенком трубки в воздух.— Мы-то с тобой знаем горькую правду: дураков учить бесполезно, а умных — нет надобности. Да вот хотя бы мудрость Гомера и Вергилия. Что в ней для нас с тобой нового? Сердцем-то мы ее угадывали, когда нам по четыре года было... Нет, я серьезно, мой друг! — Он поднял руку, словно боясь, что к Влемку вернется голос и он станет возражать.— Да и кто учится у поэзии хоть *чему-нибудь*? Допустим, я удивительно точно описываю муки любви, утверждая правду и изобличая фальшь, показывая, как к этому чувству относятся, например, церковники и как — торговые люди. Если я пишу правдиво, действительно правдиво, что ты, как читатель, говоришь? «Верно», — говоришь ты, если ты умный, а не дурак. В таком случае чему я тебя научил? Конечно же, ничему! Абсолютно ничему! Я лишь в более или менее изящной форме выразил то, что ты и без меня знаешь. А дурак что говорит? Да ничего путного. «Признаться, поэзия никогда меня не интересовала, — говорит он.— Я люблю, чтобы мне все говорили прямо». Поэзия, стало быть, — это безделушка, изящная вещица, забава, нечто вроде тайного рукопожатия равных. Разумеется, плохого в ней ничего нет. Она не хуже, скажем, поварского дела.— Губы поэта искривились в язвительной усмешке.— Повар — ха-ха! — человек, искусство которого создает пищу, возвращающуюся потом в землю! — Он тяжело вздохнул.— Поэтому я и оставил эту ничтожную любовную поэзию.— Стоя у окна, он пронзал грозными взглядами кривые улочки города.— Я посвятил свой интеллект более интересным занятиям, — тихо бросил он через плечо.— Ворую драгоценности. Похищаю детей. Тебя это удивляет?

Влемк пожал плечами.

— Людей я не убиваю, — сказал поэт.— Это не в моих правилах. Я лишь немного их будоражу. Пробуждаю в них чувство добра и зла, как Гёте и Шиллер.

Влемк кивнул. Ему думалось, что если бы его приятель и вправду воровал драгоценности и похищал детей, то не бедствовал бы так, как сейчас; но Влемк не показал вида,

что не верит. Пускай! Поэтическая вольность. Впрочем, он знал достоверно, ибо видел собственными глазами, что поэт лазит по карманам, а иной раз ворует яйца.

Скрипач, сидя однажды вечером в заброшенном железнодорожном вагоне, который служил ему временным жилищем, сказал:

— В сущности, я мечтаю только об одном: как бы сквитаться.

Влемк всплеснул руками и поднял брови.

— Спрашиваешь с кем?— Очки бывшего скрипача блистали отраженным светом свечи.— С публикой, композиторами, дирижерами, с теми, кто изготавливает скрипки... Все они — мои враги! К чему делать для кого-то исключение?— Бывший скрипач пододвинул Влемку сухое печенье и кьянти — на мелочи он не скупился,— бутылка с кьянти опрокинулась. Он скрежетал зубами, пальцы у него дрожали, и едва слышно продолжал:— Ты пойми нас, исполнителей. Сочинит какой-нибудь болван музыку, а мы старательно ее интерпретируем, да только интерпретировать-то там нечего, одно нагромождение звуков; но бывает, что и музыка неплохая, а дирижер взял не тот темп; или публике она не понравилась, потому что, видите ли, ей из достоверных источников известно, что все славяне сентиментальны. Или, чего доброго, лопнет у скрипки струна.— Он громко хрустнул пальцем, потом, по очереди, всеми десятью, так что Влемка мороз по коже подрал. Несмотря на тусклый свет свечи — настолько тусклый, что Влемк не мог разобрать, что за твари время от времени пробегали по углам вагона,— Влемку показалось, что он видит на глазах у бывшего музыканта слезы.— Тысячи долларов на уроки музыки, тысячи часов ушло на все эти арпеджио и гаммы, а результат?— Он ловил ртом воздух.— Таким способностям, как мои, найдется и другое применение.

Влемк в недоумении поднял брови и развел руками.

Музыкант заговорщицки наклонился вперед, его била дрожь.

— Шныряю по гардеробам, роюсь в чужих кошельках,—

сказал он.— Доходы не ахти какие, зато реакция публики исключительная.

С третьим сомнительным дружком, будущим убийцей, Влемк положил себе за правило никогда не встречаться один на один, и все же однажды вечером — это было в январе,— зайдя в какой-то подъезд, чтобы укрыться от холодного дождя, он с ним столкнулся. Будущий убийца был мрачный человек с толстыми волосатыми руками, короткими тяжелыми ногами и шеей не тоньше ляжки дюжего парня. Вид незаживающих ранок в углах его рта вызывал неприятное чувство, глаза его постоянно бегали, но в какую бы сторону ни повернул он свою маленькую лоснящуюся голову, смотрели на все с недовольством и раздражением. Говорил он редко, но в тот вечер, столкнувшись нос к носу с Влемком в подъезде, куда их обоих загнал дождь (улица погрузилась в темноту, а фонари еще не горели), он почему-то изменил своей привычке.

— Влемк,— произнес он низким квакающим басом,— беда твоя в том, что ты нечувствителен к силе зла.

Влемк, вздрогнув от неожиданности, кивнул и постарался сделать вид, что мысли его заняты сейчас другим. Он высунул было нос на улицу, надеясь, что дождь не такой уж сильный, но в это время плечо убийцы плотно прижало его к дверному косяку. Влемк понял, что сделано это умышленно: ему приказывали стоять на месте и слушать — слушать внимательно, как если бы от этого зависела его жизнь (а она, между прочим, и впрямь могла от этого зависеть).

— Странные у тебя взгляды на искусство,— продолжал будущий убийца.— Тебе они представляются обычными только потому, что их разделяет толпа, но поверь, что в действительности они странны и несуразны.— Влемк снова кивнул.— Ты занят поисками Прекрасного. Ты выражаешь свои впечатления каким-то ветхозаветным языком. Это заблуждение. Разумный человек удовлетворяет свои *интересы*. Посмотри на наших друзей, бывшего поэта и бывшего музыканта. Начинали они как поборники Прекрасного, божественного. А чем кончили?— Он залился таким утробным

смехом, что казалось, будто голос его исходит из колодца.— Сдались, мой друг. Но даже и теперь они знают об истине не больше, чем пара жирных селезней.— Он повернулся к Влемку раздраженным, ничего не выражающим лицом и вперил в него холодный сверлящий взгляд. Потом опустил глаза, показывая Влемку, куда смотреть: из-под полы его пальто выглядывало лезвие топора.

Влемк проглотил слюну и торопливо закивал. Дождь начал утихать, но плечо убийцы по-прежнему прижимало его к дверному косяку.

— Ты, Влемк, идеалист, по-твоему, действительность — это то, что могло бы быть, или то, что едва выглядывает из-за существующего на самом деле. Какое ты имеешь право предпочитать этот призрак грубому, зловонному миру, в котором мы живем? А ну, взгляни-ка!— Они оба разом посмотрели на топор.— Действительность — это материя во всей ее великолепной сложности,— произнес убийца,— это экстракт реальности в бесконечном механизме перегонки. Сломай этот механизм — и тебе будет ясно, насколько он полезен! Задерни шторой горный пейзаж — и ты оценишь красоту этого пейзажа.— Он придавил Влемка еще сильнее и спросил с кривой усмешкой:— Ты воображаешь, что исследуешь Действительность, разрисовывая свои коробочки?!— Он захохотал.— Да ты бежишь от нее! Ты избегаешь ее! И в этом я даю тебе гарантию — проверяется практикой: отрубает головы семейству из семи человек, стены и полы забрызганы кровью, воют собаки и спасаются бегством кошки, бешено мечутся попугаи в своих мерзких плетеных клетках, и вот тут-то ты задаешь себе вопрос: это ли не Действительность — вот эта кровавая бойня, это крушение чьих-то радужных надежд?! Да сними ты со своих глаз шоры! Смерть и зло — суть принципы, определяющие наши достижения, и в свое время они же поглотят их. Уродство — наш удел и основа нашего существования. Должны ли мы насаждать обман, или мы живем для того, чтобы говорить Правду, хотя Правда может быть невыразимо ужасной?

Влемк задумчиво кивнул и поджал губы.

Лицо убийцы стало безобразней обычного, и он бубнил себе под нос так тихо и уныло, что Влемк едва мог его слышать:

— Признаться, все это — пока еще до некоторой степени в области теории. Полиция вездесуща, где от нее укрыться? Газеты зажимают сообщения, контролируют их. Если то, что мне говорили о портрете Принцессы, который ты написал, — правда, то ты, друг мой, вроде меня: непризнанный гений.

Его рот искривился в жалкой змеиной усмешке. И вдруг он резко втянул в себя воздух и оцепенел, а пальцы его клещами впились в руку художника.

— Кажется, мне повезло! — прошептал он.

Как раз в это время двое взрослых с детьми — всего пять человек, — шедшие по другой стороне улицы, решив, видимо, укрыться от дождя, входили в старую, безлюдную церковь. Как только дверь за ними закрылась, убийца неслышно вышел из укрытия и, подняв воротник пальто и надвинув на лоб шляпу, торопливо зашагал под дождем через дорогу. В тот же миг Влемк, боясь, как бы убийца не передумал и не вернулся, сорвался с места и почти бегом ринулся в кабак. Опасения его были напрасны. Встретив на другой день убийцу, он узнал, что тот так и не осуществил своего намерения. Ему и на сей раз показалось, что для совершения убийства не было всех необходимых условий. Видно, на пути иных видов искусства всегда стоят непреодолимые препятствия.

4

Так Влемк и жил, день за днем, неделя за неделей. Постоянно во хмелю, благо в вине ему не отказывали. Если бы не портрет Принцессы, он бы, возможно, и позабыл свои печали и научился бы довольствоваться тем, что имеет.

Но говорящий портрет Принцессы не давал ему покоя.

Он так надоел своими жалобами и колкостями, что Влемк готов был выбросить его в окно; однако портрет умел не только жаловаться и злословить. Временами, когда Влемк был так подавлен, что с трудом преодолевал отчаяние, портрет говорил с такой доброжелательностью, с такой задушевностью, что художник заливался слезами. В такие минуты он горевал, что оставил свою профессию, что вел беспорядочную жизнь, что утратил чувство собственного достоинства. Он заламывал руки, скрежетал зубами и с тоской поглядывал на кисти, разбросанные на столе.

— Почему же ты не пишешь?— спрашивала наблюдавшая за ним шкатулка.— Хуже, чем сейчас, тебе от этого не будет.

«О-хо-хо!— вздыхал Влемк.— Ничего-то ты не понимаешь.— Ему страстно хотелось сказать эту фразу вслух, но он не мог произнести ни слова, так как язык его все еще был скован проклятием.— Да и никто ничего не понимает!— думал он, вспоминая речи своих друзей.— Мы, художники,— самые одинокие, самые жалкие люди на свете, нас не понимают, не ценят, нас бранят и высмеивают, доводят до измены самим себе, до бесчестия и голодной смерти. Мы — мастера в искусстве более тонком, чем искусство мага или короля, а ставят нас ниже тех кретинов, что высекают из камня бессмысленные фигуры, или клеивают кусочки цветного стекла, или отливают из меди в огромном множестве колокола, похожие друг на друга, как близнецы!»

— Что толку в том, что ты потрясая кулаками?— спрашивал портрет.

Влемк в ярости метался по комнате, его подмывало осыпать портрет непристойной бранью, но сделать это он, разумеется, не мог. Красный как рак, он тарашил глаза и так пыхтел, что казалось, его вот-вот хватит удар. Но, взглянув на портрет, тотчас сникал и закрывал лицо руками — перед красотой Принцессы слова были бессильны.

— Что случилось?— спросил однажды портрет.— От-

чего ты так расстроен?— Голос его был исполнен добро-сердечия и как будто искреннего участия, и Влемк решил, что портрет забыл о своем проклятии. (В этом он ошибался.) Он попробовал сказать вслух, но портрет лишь недоуменно глянул на него, и Влемк в отчаянии бросил свои попытки. По щекам его текли слезы.

«Ничего тут странного нет,— думал он, сжимая и разжимая кулаки.— Принцесса заставила меня пожалеть о том, что я, возможно, имел и что потом утратил: видение необычайной красоты, которое я нарисовал на шкатулке.— Он стиснул зубы и вытер глаза, но они снова наполнились слезами.— Видение,— с горечью повторил он и по-детски покачал головой.— Да, видение, и больше ничего, романтическая иллюзия».

Он сгорбился и зарыдал.

— Бедный Влемк!— воскликнула своим тоненьким голоском шкатулка.— О, бедный, бедный Влемк!

Если бы он обернулся сейчас на шкатулку, то с удивлением увидел бы, что портрет тоже плачет. Но он не обернулся. Он долго плакал, не внемля тихим рыданиям у себя за спиной, потом, наконец, содрогнувшись всем телом, овладел собой. Какой же он все-таки глупец! Как это Принцесса на шкатулке могла забыть о проклятии, если сама же и прокляла его? Да, она чародейка, его маленькое милое творение, однако злая, как гадюка! И если уж портрет на шкатулке такой жестокий, то чего ждать от самой Принцессы?

«Я был сущим олухом,— сказал он про себя.— Убийца совершенно прав. Надо мне избавиться от идиотских грез».

Глядя безумными глазами, он подошел к висевшему на крюке рабочему халату, осторожно снял его и надел на себя. Вернулся к столу с кистями, открыл бутылку с разбавителем, налил немного в блюдце, расстегнул пуговицы на манжетах рубашки и засучил рукава; потом тщательно — тщательней, чем работает со своими скальпелями хирург,— приступил к тонкой процедуре: он чистил и

подравнивал кисти. Затем выдавил на палитру краски и налил в чашечки масла и лака. Закончив эти приготовления, он выбрал изящную, палисандрового дерева шкатулку и начал писать.

Портрет Принцессы с интересом наблюдал.

— Опять меня пишешь?— спросил немного погодя портрет.

«У каждого живописца,— подумал вместо ответа Влемк,— есть своя тема. Кому лучше всего удаются скалы, кому — деревья и цветы, кому — лодки, кому — коровы, бредущие через речку, кому — церкви, а кому — младенцы. Моя тема, которой я по разным причинам предан душой и сердцем,— портрет Принцессы».

Влемк писал несколько часов подряд, работая с таким напряжением, таким накалом, что казалось, он вот-вот взорвется.

Вдруг картина воскликнула:

— Но я же не такая!

Влемк взглянул на нее, мрачно и загадочно усмехнулся и с холодным упрямством снова принялся за работу.

Он писал так, как не писал еще ни разу в жизни, будто вглядываясь в бездонную пропасть. Каждый намек, подсказанный ему памятью, свое знание (час от часу все более основательное) ее абсолютного близнеца — портрета на шкатулке, наблюдавшего за ним сейчас с таким смятением и гневом,— он выявлял с неумолимостью хирурга, который проник в кору головного мозга и проследивает раковую опухоль кончиком своего ножа. Он ничего не смягчал, нигде не поступался правдой, смело обнажая все недостатки Принцессы. Ничто не ускользало от его внимания: ни припухлость нижней губы, которую он по-настоящему увидел только сейчас, когда она предстала беззащитной жертвой его кисти,— скрытая чувственность, которая, выдавая благодаря кисти Влемка порочные задатки Принцессы, таила гибельные последствия для нее же самой; ни слабые признаки усталости одного из век — едва уловимый предвестник раннего увядания; ни

даже еще менее бросающаяся в глаза, но реальная предрасположенность (если нарушится режим питания и, как следствие, обмен веществ) к волосатости на верхней губе и подбородке. Это вызывало ужасное чувство — столь же болезненное и тревожное, сколь нездорово возбуждающее. Влемк искал и не находил новых средств выразить то, что он видел. И ему казалось, что он сделал за одну ночь больше открытий, чем за все предшествующие годы жизни.

— Глупость какая-то, — фыркнула за его спиной шкапулка. — Ты не уловил сходства. Я же совсем не такая!

«Видишь ли, это — всего лишь Искусство», — мысленно ответил Влемк; он валял дурака, прикидывался глупцом — стародавняя уловка рассерженных художников. Коли сможет, пускай отрицает, думал он, а глупости для этого, видит бог, у нее хватит; и все же по глазам заметно, что если и не вполне осознанно, то, по крайней мере, инстинктивно, как животное, она ощущала укор. Позади, слева от дамы, Влемк изобразил на кафедре обезьянку, читающую Библию; на фоне пламенеющей арки окна очертания ее были несколько расплывчаты; обезьянка грозилась пальцем. Картина наводила на мысль, что случай не совсем безнадежный. Стоило даме обернуться, и она могла бы получить наставления — хотя бы от обезьяны.

Говорящий портрет молчал. Он закрыл глаза и в наказание Влемку придал своему лицу скучающее выражение — или хуже чем скучающее: это было лицо скучающего человека, которого заморозили заживо. Сначала Влемка охватили гнев и нетерпение, но потом он вдруг ощутил нечто похожее на радость, хотя чувство это было еще неясным и скрытым: Принцесса натолкнула его на мысль написать еще один портрет. На этот раз он решил работать более «чисто», отгородившись от всего, то есть не обращая внимания на укоризненный взгляд говорящего портрета. Бережно, почти любовно он поднял шкапулку с говорящим портретом и перенес в самый темный угол

мастерской, где поставил на стул и накрыл лоскутом черного бархата.

— Что ты делаешь?— запротестовала шкатулка.— Отнеси меня обратно! Мне здесь не нравится!

Влемк, разумеется, ничего не сказал в ответ и вернулся к своим краскам.

Было уже утро. Из окна струился свет, на улицах перекликались, будто торговцы-разносчики, петухи и собаки, их голоса со звоном подскакивали на обледенелых мостовых. Влемк сварил кофе, подумал, что следовало бы передохнуть, но тут же расположился на табурете у конторки и методично, аккуратно, с предельным напряжением и сосредоточенностью принялся за новую работу — «Принцесса скучает». Мазки, казалось, сами ложились на грунт, идея раскрывалась легко и естественно, как цветок, хотя, что и говорить, цветок страшный, безусловно ядовитый. Так же как в картине, что он писал всю прошлую ночь, Влемк и сейчас в безрассудном порыве разъяренного любовника, обманутого мужа оттенял на портрете Принцессы самые порочные ее наклонности. Потрясающее открытие! Кто бы мог предположить (из знавших ее так, как знал Влемк), на какой обман и самообман она способна, сколь жалки и губительны для нее самой ее уловки или какова мера страха и неверия в себя, скрытых под маской презрения? Неудивительно, что она не хочет уступить ему, не хочет снять проклятие! Можно теперь понять будущего убийцу, мечтающего устроить резню, но, поняв это, Влемк с безмерной радостью признал, что его искусство настолько же выше искусства убийцы, насколько искусство последнего выше тех, кто оскверняет священный камень своей разнузданной фантазией. Влемк писал быстро, как одержимый, но очень точно — так виртуоз-скрипач рассыпает смычком звуки, словно листья, разлетающиеся на ветру. И трудился он вовсе не для того, чтобы по примеру своего друга, бывшего скрипача, свести с кем-то счеты. Этого у него и в мыслях не было. В его работе не было никакой корысти, и не было у него иных целей, кроме

цели познания, но ах!— что при этом открывалось! «Принцесса, ты себе даже не представляешь, как хорошо я тебя знаю»,— думал он. Из темного угла мастерской время от времени доносился жалобный писк. Влемк не обращал на него внимания.

Он работал весь день и закончил вторую «реальную картину» (так он в шутку назвал оба свои творения) и после часового отдыха, окрыленный новыми идеями, отправился в кабак. Как и в былые дни, которые он именовал про себя «днями невинности», его отдых обернулся новой безумной оргией. Он собирался быть очень благо-разумным и только поест, ибо голова его была полна планов и ему не терпелось вернуться в мастерскую, но стоило ему пропустить стаканчик, как он обо всем позабыл. В конце концов в росписи шкатулок, рассуждал Влемк, не было ему на свете равных, он не просто писал, он делал открытия не хуже какого-нибудь ученого. Его пониманию становились доступны самые темные законы жизни; и в то же время, пустив в ход свою интуицию, он за один лишь день овладел таким богатством технических хитростей и приемов, что всего этого не почерпнешь и из дюжины толстых книг. Короче говоря, он настолько овладел своим искусством и грудь его так распирало от радостного сознания, что судьба не обделила его талантом, что он не мог сидеть спокойно, ограничить себя одним лишь стаканчиком и потом также спокойно потащиться домой. Посадив кабатчицу себе на колени, он гладил ее ногу, строил рожи поэту, которого не уважал за скудоумие, издевался над бывшим музыкантом, делая вид, что поет, а один раз бесшабашно погрозил кулаком будущему убийце.

Проснулся он утром в каком-то подвале, недоумевая, как туда угодил, его штаны пропахли утиным пометом, словно он побывал в вонючем болоте, в голове неимоверно стучало, руки так тряслись, что пальцы — он знал это по опыту — еще много часов не смогут держать кисть. Мысленно проклиная себя, он выбрался из подвала, огляделся

вокруг (оказывается, он забрел на самую окраину, в бедные кварталы города) и поплелся домой.

— Значит, ты решил держать меня здесь, под этой тряпкой, до конца моих дней?— спросил говорящий портрет.— Так вот что ты задумал!

Влемк нехотя прошел в угол и сдернул с портрета покрывало.

— Боже мой!— воскликнул портрет, вытаращив глаза.— Уж не заболел ли ты?

Влемк нахмурился, дернул себя за бороду и отправился спать.

А вечером снова засел за работу и писал до рассвета; потом попил кофе и писал целый день, пока не закончил еще одну шкатулку. Портреты выходили все более зловещими, в лице Принцессы бесстыдно проглядывали черты распутства, что делало его, с точки зрения говорящего портрета, оскорбительно непохожим на оригинал; впрочем, говорил портрет теперь мало и даже перестал комментировать происходящее — так он был разгневан и оскорблен. И снова Влемк пошел в кабак, и снова напился до потери сознания, а когда, качаясь, плелся домой, уже наступило утро и по городу развозили молоко.

Несколько недель длилось это безумие — Влемк писал и пил запоем,— и вот однажды, это было в марте, Влемк стал посреди мастерской, заваленной шкатулками с изображениями Принцессы (одно отвратительней, безобразней другого, на некоторых из них художник, одержимый стремлением неприкрашенно показать правду, деформировал лицо до неузнаваемости), и вдруг решил остановиться. Почему? На этот вопрос он и сам вряд ли смог бы ответить. Отчасти вот по какой причине: хоть самому художнику они временами казались великолепными, но ведь никто не приходил их смотреть, а когда Влемк принес один из портретов в кабак, то никому, даже будущему убийце он не понравился.

«Как он может не нравиться?»— жестаи спросил возмущенный художник.

— Скучиш-ща,— протянул будущий убийца и, отвернувшись, уставился в стену.

«Ну, конечно,— подумал Влемк, почти не скрывая презрения,— *твоя работа интересная, а моя — скучная.*

Но Влемк был не дурак, он понял смысл сказанного убийцей. Именно это говорил ему полоумный поэт: мы ничему у искусства не учимся, а только признаем его истинность, если оно на самом деле истинно; нет такого закона, который обязывал бы нас трепетать перед ним. Причем бывший поэт сказал, что Наука в этом отношении ничуть не лучше. «Каково главное назначение Науки,— спрашивал себя Влемк,— если не развлечение, не безделье, не пустое времяпрепровождение, вроде метания колец? Скажут, что Наука облегчает жизнь, даже когда продлевает ее. Да, это правда. Так будем же благодарны Ученым за то ценное, что они даруют нам,— ведь благодарны же мы коровам за их молоко или свиньям — за бекон. Как два полушария головного мозга бывают одновременно заняты несходными функциями, так и Наука и Искусство стремятся несходными путями открыть Истину о вселенной. Таким образом, Ученый и Художник, занимаясь этим весьма приятным для себя делом, одновременно открывают Истины, которыми могут одарить человечество, подобно кавалеру, преподносящему своей даме медальон. А что, если Истина о вселенной заключается в том, что вселенная скучна?»

И вот мало-помалу Влемк пришел к заключению, что радость творчества, как и его прежнее видение идеально прекрасного, есть самообман. Не то чтобы он не испытывал удовольствия, когда искал технические приемы для фиксирования, как бы сказать, своего восприятия, то есть своего представления о непрочности и, в конечном счете, тленности всего сущего. Не меньшую радость могут доставлять уроки игры на мандолине; но ведь когда подобные занятия кончаются, то человек всего лишь умеет играть на мандолине. С таким же успехом можно изучать удобные и неудобные способы сидения на балконе.

Так что Влемк, горько посмеиваясь над собой, перестал

писать. Говорящий портрет по-прежнему дулся, и Влемку иногда приходило в голову, что можно, пожалуй, и продать его какому-нибудь туристу; однако художник почему-то не решался на этот шаг. Теперь уже ничто не мешало ему катиться по наклонной плоскости: он перестал умываться, не менял белья и даже не сознавал своего печального положения, потому что никогда не бывал по-настоящему трезв. Шли дни, недели. Влемк настолько переменялся и пал духом, что перестал буяннить, так что даже завсегдатаи кабака, казалось, не узнавали его, когда он, согбенный и хмурый, похожий на закованного в цепи дьявола, проходил мимо них в уборную или на улицу. О Принцессе он почти позабыл и вспоминал ее очень редко и лишь мимолетно, как вспоминают далекие картины детства. Иногда, если кто-нибудь заговаривал о ней до того, как Влемк успевал окончательно напиться, он усмеялся с видом человека, который знает больше, чем позволяет себе сказать; это наводило других, особенно кабатчицу, на мысль, что отношения между Влемком и Принцессой ближе, чем можно было предположить. Но поскольку он был нем и не желал изъясняться записками, то никто его не расспрашивал. И кому была охота подходить к нему? От него несло, как от старого, больного медведя.

Положение Влемка-живописца с каждым днем ухудшалось. Он уже не говорил себе, что жизнь «зажала его в тиски»,— и не только потому, что это выражение ему приелось, а потому еще — и это было главное,— что положение человека, зажато в тиски, стало для него такой непреложной данностью, что он перестал его замечать.

Однажды утром — дело было в мае, — когда он лежал в канаве и, щуря слезящиеся глаза, ощупывал языком только что сломанный зуб, мимо проезжала карета из черной кожи, украшенная гвоздиками с золотыми шляпками. Поравнявшись с Влемком, карета по приказу сидевшей в ней особы остановилась.

— Скажи мне, кучер, — раздался голос, показавшийся Влемку каким-то удивительно близким, — что это за несчастное существо там в канаве?

Влемк повернул голову и напряг зрение, но ничего не разглядел. Карета казалась тенью на ярком, слепящем пламени, солнечным бликом на превосходно отлакированной крышке расписанной шкатулки.

— Извините, Принцесса,— ответил кучер.— Не имею понятия.

Услышав, что это — Принцесса, Влемк хотел было прикрыть лицо, но у него не было сил поднять руку, и он продолжал лежать неподвижно.

— Брось этому несчастному монетку,— приказала Принцесса.— Будем надеяться, что она еще сможет ему пригодиться.

Спустя мгновение что-то шлепнулось ему на живот, и карета покатила дальше. Рука Влемка потянулась к тому месту, где он ощутил холодок — на рубашке его были оторваны все пуговицы,— пальцы нащупали на серой от грязи коже живота монету, он схватил ее и опустил руку обратно на землю — там деньги будут сохранней, пока он еще вздремнет. Через несколько часов он вдруг встрепенулся, сел и сразу же все вспомнил. Разжал руку: на ладони лежала монета из чистого серебра с портретом Короля.

«Как странно»,— подумал Влемк.

Он зажал монетку, поднялся на ноги и осторожно, опираясь кулаком на стены домов, добрался до перекрестка; улицы были совершенно незнакомые. Как он сюда попал? Где его дом? Он беспомощно озирался по сторонам и, беззвучно шевеля губами, жестами пытался остановить кого-нибудь из прохожих, но те, лишь опуская головы и придерживая шляпы, торопливо обходили его, будто самое Смерть. Тогда он побрел наугад, высматривая знакомые ориентиры, но, казалось, все улицы куда-то переместились. Он шел и совершенно машинально, точно заводная кукла, качал головой и беззвучно шевелил губами. Взглянув на него, старый, облезлый кот зевнул, из его раскрытой пасти торчали иголки зубов. Влемк стиснул пальцы правой руки так, что ребро монеты с барельефом Короля врезалось ему в ладонь.

Три дня спустя, тщательно взвесив все «за» и «против», отмывшись от грязи, подровняв бороду, выстирав в раковине, что была в мастерской, свой старый черный костюм и высушив его на балконе, Влемк-живописец отправился через весь город на вершину холма, где помещался королевский дворец. Под мышкой у него была шкатулка с говорящим портретом, а в кармане — аккуратно сложенная записка, написанная каллиграфическим почерком, — ее он надеялся вручить Принцессе вместе со шкатулкой. «Уважаемая Принцесса, — гласила записка, — вот подарок, который я обещал Вам, — портрет настолько натуральный, что он способен говорить. Я освобождаю Вас от данного Вами обещания поговорить со мной, потому что судьбе было угодно лишить меня дара речи, — возможно, в наказание за мою дерзость. Надеюсь, это письмо застанет Вас в добром здравии. С уважением, Влемк-живописец».

Он подоспел ко дворцу, как и рассчитывал, в тот самый час, когда Принцесса, сопровождаемая собаками, должна была возвращаться с прогулки. На небе, как и в тот раз, начал меркнуть последний отблеск заката; светила луна; тут и там над прудами и над лесом клубился туман, заволакивая ровно выкошенные склоны холма. Влемк, как и в прошлый раз, приблизился к ограде, но в замешательстве обнаружил, что все вокруг и сам дворец теперь выглядят по-другому. Чугунные ворота были широко раскрыты, охрана куда-то исчезла, и он со страхом подумал, что теперь борзым уже ничто не помешает разорвать его на куски; но собак не было видно, всю дворцовую площадь заполняли кареты и великое множество больших фонарей, которые весело мерцали, будто соперничая со звездами, а неподалеку от арочной парадной двери, к которой он когда-то испытывал жалость, стояли аристократы в великолепных нарядах; болтая и пересмеиваясь, они пили шампанское. Вряд ли, решил Влемк, эти люди станут спокойно наблюдать, как его терзают собаки, хотя, с другой стороны, он чересчур слы-

шан о человеческих пороках, чтобы чувствовать себя в чем-либо уверенным.

Но потом он подумал, что собаки — это еще наименьшее зло. Как влиться в эту блестящую толпу знатных господ и дам и вручить Принцессе подарок? Или хотя бы разыскать ее? Продвигаясь несмелыми шагами вперед, он разглядывал изысканные туалеты с пряжками и застежками, пуговицами и эполетами, золотые и серебряные эфесы. Бросил взгляд на свои коричневые ботинки из пупырчатой кожи, на грубые белые носки и мешковатые черные штаны, потом на жилетку, ерзавшую, как седло, на его округлом животе. На ней было всего три пуговицы — две серые и одна синяя. А на пиджаке — ни одной. Он стоял и смотрел, крепко прижимая локтем шкатулку, воображая, каким дураком будет выглядеть в глазах Принцессы и ее родовитых друзей: не подвластная гребню, лохматая, с проседью шевелюра, лицо в синих и красных прожилках, опущенные плечи, сутулая спина — это ли не наглядный пример того, что может сделать с человеком беспорядочная, распутная жизнь? «Пожалуй, лучше мне уйти домой, — подумал Влемк. — Увижу ее в другой раз, когда она не будет занята».

Портрет, обернутый лоскутом черного бархата, пропищал: — Что случилось? Почему мы остановились?

Влемк вынул шкатулку из-под мышки и, держа ее перед собой, приподнял угол покрывала тыльной стороной ладони, как это делает официант, снимающий с подноса салфетку.

Портрет некоторое время смотрел, вытаращив от изумления глаза, потом сказал своим тоненьким и совсем уж еле слышным голоском:

— У Принцессы, должно быть, гости.

Если Влемк надеялся, что портрет поможет ему, то его ждало разочарование. И ничего удивительного. Пусть он похож лицом на Принцессу, пусть у него такой же разум и душевный склад, но ведь до этой прогулки его рисованные голубые глаза ничего, кроме мастерской живописца, не видели.

— Что же нам делать? — спросил портрет.

Пока Влемк стоял и раздумывал, ответ пришел сам собою. Задрожала под ногами земля, из темной рощи донесся нарастающий гул, похожий на раскаты грома. Минуту спустя ко дворцу подскакали, сопровождаемые сворой борзых, шесть или семь всадников — молодых именитых господ и дам в пелеринах и шляпах, возвращавшихся с верховой прогулки. Не доезжая до того места, где гости распивали шампанское, всадники осадили лошадей, и лошади, послушные, как овчарки, перешли на рысь; не успела первая из них остановиться, как собаки, увидев Влемка, с неистовым лаем стремительно, по-оленьи, кинулись к нему. В тот же миг ему на выручку — так, по крайней мере, думал Влемк — поскакали всадники.

Борзые мчались, прорезая своими узкими, как лезвие, телами вечернюю мглу, с поразительной скоростью и целеустремленностью, но всадники не отставали, приказывая что-то собакам; попутно они давали Влемку какие-то советы, да только он ничего не мог разобрать. В последнюю минуту один из всадников, подоспев раньше, отогнал собак. Это был рослый молодой человек с усиками и в черной, как ночь, пелерине на белой подкладке; полы пелерины, небрежно откиннутые за спину, напоминали крылья. Он что-то крикнул — Влемк не понял что,— потом крикнул снова. Подъехали и остальные, их лошади беспокойно топтались вокруг Влемка, и среди всадников Влемк увидел Принцессу. Ему вдруг стало не по себе от душного июньского зноя. Принцесса выглядела совсем не так, как прежде, и даже волнение от только что пережитого испуга не помешало Влемку с первого взгляда отметить произошедшие в ней перемены: следы косметики, новую прическу, высокие подложенные плечики, поразительную бледность рано увядшего лица, впалые щеки. «Постится?» — спросил себя Влемк и стал вспоминать, какой близится церковный праздник. Двое ее друзей спешили и начали умирять собак. Рослый молодой человек с усиками нагнул с седла и громко спросил:

— Кто вы такой? Что вам здесь нужно?

Влемк взглянул на Принцессу, ожидая от нее поддержки,

но она молчала, смотрела отчужденно, почти враждебно. Ее лошадь вставала на дыбы и горячилась, норовя ускакать прочь, сама же Принцесса то и дело оглядывалась на гостей, распивавших у парадного подъезда шампанское; теперь они двигались толпой ей навстречу — узнать, что происходит. Деваться было некуда, и Влемк полез в карман, достал записку, развернул ее дрожащими руками и вручил молодому человеку. Тот поднес записку к глазам, но при свете луны читать было трудно. Усмехнувшись, он повернул своего коня и подъехал к Принцессе.

— Это вам,— сказал он.

— Что там написано?— спросила Принцесса, не желая брать записку.

— Уж не полагаете ли вы, что я читаю адресованные вам письма?— спросил он, развязно улыбаясь, точно был ее возлюбленным, и нетерпеливым движением руки показал, что письмо надо взять. Влемк мрачно опустил голову, ему стало как-то не по себе — будто Принцесса была его давняя знакомая по иной жизни, и вот теперь, встретив ее снова, он обнаружил, что оба они стали совсем другими. Взгляд его случайно упал на шкатулку: портрет смотрел на Принцессу и на усатого молодого человека с резким, почти злобным осуждением.

Наконец Принцесса все же взяла записку, улыбнувшись полураздраженной, полуигривой улыбкой. Кончив читать, она бросила на Влемка пристальный взгляд.

— Ты — Влемк-живописец?— Голос ее звучал недовольтно. Влемк кивнул. Казалось, она заметила у него под мышкой шкатулку. Оглянувшись — гости с бокалами шампанского в руках обступили ее — и сказала:— Подведите его ближе к свету.

И, ни на кого больше не взглянув, уверенная, что ее приказание будет исполнено, Принцесса пустила лошадь рысью к фонарям.

— Не нравится она мне,— решительно заявил портрет.

Влемк прикрыл крошечный рисованный ротик рукой. Усач снова нагнулся к нему, показывая, что может подвезти

его на своем коне. Влемк сначала не понял, потом испуганно замотал головой и быстро пошел пешком. Подъехав ближе к фонарям, Принцесса остановила лошадь, оглянулась, кивнула издали Влемку, приказывая следовать за ней, и направилась к самому парадному подъезду. Там, спешившись, она передала поводья лакею и стала поджидать отставшего живописца. Когда Влемк подошел, отдуваясь и вытирая лоскутом лицо, она спросила:

— Не угодно ли пройти во дворец?— и, не выслушав ответа, начала подниматься по широкой мраморной лестнице.

Теперь у Влемка уже не было сомнения, что он допустил ошибку, принеся Принцессе шкатулку. Он бездумно нарушил социальную условность и только теперь, когда уже поздно, понял, как сильно задето ее самолюбие. Либо она должна в грубой и резкой форме отделаться от него, жалкого, безобидного немого — что было бы не в ее характере,— либо выставить себя на посмешище — перспектива не из приятных для дамы, дорожащей светскими приличиями. В те времена шкатулки с росписью нередко дарили возлюбленным, однако с первого момента их встречи, когда Влемк увидел Принцессу в кругу ее друзей, ему стало ясно, что даже если он когда-то и любил ее в некотором смысле, то теперь уже не может сказать, что любит, да и вряд ли это чувство вернется, хотя что-то — наклон головы, например,— в ней сохранилось, будя смутные дразнящие мысли и заставляя еще острее ощутить происшедшие в них обоих перемены. Только приходиться ему снова было, конечно, незачем, тем паче предлагать в присутствии посторонних подарок, что уже само по себе выглядело оскорбительной ловушкой,— как если бы какой-нибудь даме предложили гробик с трупом младенца, заявив во всеуслышание, что это ее дитя. Даже если он, как профессиональный художник, и не вызвал своим появлением каких-либо кривотолков, оставалась еще проблема самой шкатулки или, точнее, портрета: будучи имитацией Принцессы, он, уж верно, почувствует себя здесь неуютно. В какой мере можно считать себя ответственным, думал Влемк, за это существо, которое,

строго говоря, существом не является? Каков бы ни был верный ответ, фактом оставалось то, что это существо — чувствующее и не так-то просто игнорировать его горе и возмущение. Даже теперь, когда Влемк, поднимаясь по мраморной лестнице, шагал следом за Принцессой и ее друзьями, уже начавшими подходить, по длинному залу, устланному синими коврами и освещенному канделябрами, когда он вошел в комнату, полную зеркал и золоченых статуэток,— комнату эту, как Влемк сразу же догадался (ибо хорошо знал Принцессу), она выбрала специально для того, чтобы подчеркнуть иронию создавшейся ситуации — иронию, которая ослабила бы впечатление от его визита и как-то локализовала бы скандал, которого она боялась (Влемк позабыл, что она боялась его искусства, самой идеи создания портрета настолько совершенного, что он мог бы улыбаться, плакать, говорить,— хотя, исследуя ее лицо с помощью кисти, он, разумеется, знал, видел, что она боится фантазии художника, боится того, чего не может предугадать), и он, послушный ее приказу, сел за низенький стеклянный столик в центре комнаты, а голос, приглушенный бархатом, продолжал жаловаться, бранить его и отпускать язвительные замечания в адрес Принцессы.

— Я домой хочу!— вопил голосок.— Вы все рехнулись! Я совсем на нее не похожа!

Влемк поднял брови, закрыл глаза и осторожно прижал к рисованному ротуку палец. Не снимая со шкатулки бархата, он положил ее на столик и стал ждать, когда соберутся все гости и когда Принцесса займет свое место. По-видимому, усатый молодой человек не был слишком щепетилен, он все-таки прочел записку Влемка. Художник слышал, как люди, сидевшие справа и слева от него, шептались, гадая, будет ли портрет говорить. Наконец слуга подвинул Принцессе стул и склонил голову, как это делают люди, когда наскоро, небрежно читают молитву, и Принцесса, без тени улыбки на лице, села напротив Влемка. Когда в комнате воцарилась тишина, Влемк, безмерно усталый, презирая

себя за покорность этому бессмысленному ритуалу, но не видя иного выхода, окруженный со всех сторон бесконечностью зеркальных отражений, нагнулся и снял покрывало. Принцесса, прежде чем посмотреть на шкатулку, взглянула мельком на живописца, как бы желая убедиться, что тот не замышляет ничего дурного. Потом ее взгляд упал на шкатулку, и она, казалось, побледнела. По комнате прокатился неясный гул голосов. Принцесса повернулась лицом к старому слуге, сидевшему слева от нее, и тихо спросила:

— Я действительно такая, как на портрете?— Голос ее прозвучал так нежно, что у Влемка заняло сердце.

Слуга задумался, склонился ближе к портрету, придерживая двумя пальцами очки,— что ни говори, он был и остается искренним, честным человеком. Наконец он сказал:

— Не уверен, ваше высочество. Право, я не вижу сходства.

Влемк усмехнулся.

— Глупо, глупо, глупо,— прошептал портрет, стараясь говорить так, чтобы, кроме художника, никто его не слышал.

Принцесса глядела на Влемка в упор:

— Ты сказал, он умеет говорить?

«Умеет, когда пожелает»,— хотел ответить Влемк, но, будучи немым, только кивнул головой.

И тут, к ужасу художника, портрет гневно, с нескрываемым презрением выпалил:

— Значит, ты и есть знаменитая красавица Принцесса?

По комнате пронесся вздох удивления, лицо Принцессы словно окаменело. Гости стали перешептываться; кое-кто засмеялся; другие потребовали тишины, они рассчитывали послушать, что еще скажет шкатулка.

Когда все снова умолкли, портрет спросил:

— Ты находишь, что это изображение тебе не льстит, Принцесса?— Лицо на портрете сделало паузу, требуя внимания, потом продолжало:— Наверно, тебя слишком часто писали те, кто хотел тебя «уважить».— Лицо усмехнулось.

Надо отдать Принцессе должное — она проявила огром-

ную выдержку, когда, обращаясь к Влемку, спросила:

— Она всегда говорит таким оскорбительным тоном?

Влемк кивнул, потом, справедливости ради, покачал головой, потом пожал плечами. Бросил вопросительный взгляд на шкатулку в надежде, что та наконец образумится и хотя бы ради него угомонится.

В эту минуту гости оживились. Влемк поднял глаза и, проследив за их взглядами, увидел позади себя высоко над головой балкон с позолоченной дверью, который сперва не заметил. Немного погодя из двери балкона в кресле на колесах появился какой-то человек, вокруг которого назойливо суетились ревностные слуги. Влемк сразу же узнал его лицо — измученное и скорбное, бесконечно терпеливое и в то же время готовое исказиться от гнева по любому пустячному поводу, — лицо пронизательного человека, которого преследует непрекращающаяся ноющая боль и который в то же время, в меру своих сил, стоически переносит все испытания. Это был Король, профиль которого изображен на монете. Казалось, он на пороге смерти. Глаза сузились, тело, прикрытое великолепным одеянием, так иссохло, что его без труда мог бы поднять даже ребенок. Он перегнулся через перила балкона — на нем не было короны, — будто разглядывая гостей, слабо помахал рукой, украшенной перстнями и кольцами, показывая, что ни в коем случае не хочет мешать их занятию. Гости замерли в глубоком поклоне, преклонили колена, у некоторых в глазах стояли слезы; он торжественно кивнул им в ответ, потом взгляд его медленно обратился к шкатулке.

Принцесса сказала:

— Влемк, друг мой, кого бы ты ни изобразил здесь ради забавы, нет сомнения в том, что художник ты удивительный. Мы с удовольствием принимаем подарок.

Влемк печально кивнул, не обратив внимания на то, с какой дикой яростью шкатулка посмотрела на него и как пропищала: «Для забавы!» Он знал, что если закроет сейчас глаза, то увидит Принцессу такой, как в тот день, когда она, сидя в карете, отказалась бросить ему из милости монет-

ку. С тех пор много воды утекло, и Влемк (так он сказал себе) ни о чем не жалел. Тем не менее он счел за лучшее не опускать глаз и, опершись на подлокотники кресла, приготовился встать и уйти.

Но такой ход событий портрет не устраивал.

— Если ты находишь, что я тебе не льщу,— снова заговорил портрет,— то поглядела бы, чего он еще понаписал в своей мастерской. Он тебя без конца писал, Принцесса. Может, какой-нибудь из тех портретов тебе больше по душе придется.

Руки Влемка бессильно опустились, он не мог подняться с кресла.

— Это правда?

В тоне Принцессы слышались одновременно любопытство и тревога.

Мысленному взору Влемка представились, как в кошмарном сне, отвратительные портреты Принцессы. Не то чтобы он считал их неправдоподобными; наоборот, одно веко — как он тогда предвидел — было теперь ниже другого, по крайней мере в моменты, когда Принцесса сердилась. И все же ему очень не хотелось, чтобы она эти портреты видела. Он долго колебался, не зная, кивнуть ли в знак согласия или отрицательно покачать головой, и наконец решил притвориться, что не слышал вопроса.

— Должна признаться,— сказала Принцесса виноватым тоном, как бы допуская, что причиной этого могла явиться она сама,— что, хотя портрет, который ты принес, мне, естественно, нравится, я не совсем уверена, что улавливаю сходство.

На балконе раздался возглас, и все подняли головы.

— Портрет говорит!— воскликнул Король возбужденно, как ребенок, и ударил кулачком по подлокотнику кресла.— Ты только подумай, девочка! Как живой, даже говорить умеет!

При этих словах он страшно закашлялся, все тело содрогалось, из носа хлынула кровь, зубы застучали, и слуги поспешно увезли его с балкона.

Хотя Принцесса в этом не признавалась, но шкатулка, которую оставил ей Влемк, вывела ее из душевного равновесия, и к концу весны чувство неловкости от присутствия портрета усилилось. Она предпочла бы сжечь шкатулку, если б могла на это решиться, но, с другой стороны, ей все время казалось почему-то важным смотреть фактам в лицо. Более того, при одной мысли об уничтожении портрета, даже когда он пускал в ход свой острый, как бритва, язычок, она начинала дрожать от суеверного страха. Бросив портрет в огонь, не совершит ли она своего рода убийство — несмотря на то, что это существо создано из одной только краски? И вот еще что — хотя о подобном было страшно и подумать: когда смертоносное пламя охватит портрет, не ощутит ли и она на себе таинственный жар, не окажется ли, в сущности, и она... Но эту мысль Принцесса не позволяла себе выразить до конца.

Временами, если Принцессе везло и она заставляла портрет спать, она так задумчиво и подолгу разглядывала его, как не могла разглядывать себя в зеркале, потому что, когда она сама гляделась в зеркало, глаза ее всегда, конечно, бывали открыты и любая мелькнувшая в ее голове мысль отражалась в нем, так что ничему нельзя было верить, в самое себя проникнуть ей никогда не удавалось. Она открыла одну поразительную особенность многих людей, в том числе усатого молодого человека: то, что они считают своей наиболее интересной, очаровательной чертой — отнюдь не самое в них лучшее. Самое возвышенное, самое красивое в их лицах часто так и остается им неведомым, потому что этого нельзя увидеть в зеркале. Она, например, знала, что ее усатого Принца, признанного министрами двора отличной партией, зеркало убедило, будто лучше всего он выглядит, когда, подняв бровь, придает лицу удивленно-ироническое выражение. Однако ей, например, его надменный вид казался оскорбительным. Она представляла себе, какой скучной и глупой будет выглядеть его физиономия, когда ему стукнет

восемьдесят. Что действительно подкупало Принцессу в этом человеке (хотя, к ее неудовольствию, он обращался с ней как с племенной кобылой или как с проходной пешкой в политической шахматной игре), так это — порой растерянное, детское выражение его лица, выражение, которое он никогда у себя не замечал, а если бы заметил, то постарался бы во что бы то ни стало его согнать.

Прежде она была убеждена, что образ, созданный художником, ничем на нее не похож (неожиданный просчет мастера или свидетельство вредного воздействия на сознание его образа жизни?), но постепенно ее суждение стало меняться, она начала внимательнее присматриваться к портрету, когда у него бывали закрыты глаза. Ее немного пугали синеватые тени на висках: значит, она далеко не бессмертна. Многие доставляли ей удовольствие, но она стала замечать едва приметные тревожные симптомы жестокости, тщеславия и скарденности. Словом, ей стало казаться, что портрет точен, и в груди у нее что-то защекотало, словно там трепыхались мотыльки.

Еще хуже было, когда картина не спала. Самодовольная, как кошка, она наблюдала за Принцессой или говорила ей такие вещи, о которых Принцесса не могла бы и помыслить; то есть вещи, в которых она не призналась бы себе даже во сне. Она умела так произнести фразу, что у Принцессы холодело сердце. Самое невинное ее замечание: «Значит, у тебя все же есть свои маленькие хитрости?», произнесенное голосом, точь-в-точь (так казалось Принцессе) ее собственным, с постоянно звучащими в нем ироническими нотками, могло выбить ее из колеи на целую неделю. Чувство, которое Принцесса мучительно переживала в такие минуты, было настолько смутным и сложным, что она едва ли понимала, что с ней происходит; оставалось только лечь в постель и плакать. Шкатулка наговорила ей всякого мучительного вздора, из чего следовало — это Принцесса понимала, — что сама она, при всех ее аристократических манерах, — глупая, нудная, в сущности просто пустышка. Хотя она выглядела молодой, но избитые фразы, которыми

шкатулка ее донимала — ее же собственные фразы, ее способ донимать окружающих, — убеждали ее в том, что в ней все уже старо и что красиво расписанная шкатулка могла бы с равным успехом послужить ей гробом. В то же время шкатулка говорила правду, бесспорную правду, хотя и чудовищно обидную. Портрет ненавидел ее, в этом вся суть. Она ненавидела себя. И нуждалась в словах утешения, в участии какого-нибудь любящего чародея, который преобразил бы ее, вернул бы ей простодушие ребенка, — но кто мог полюбить ее? А если кто-нибудь и полюбил бы — Принц, например, — может ли умная женщина отдать свое сердце такому глупцу? В ее окружении найдется немало мужчин, которые не посядут на лестные слова и перед которыми она могла бы искусно разыгрывать роль Добраой Принцессы, — но от этого она возненавидела бы себя еще сильнее. Однако не было человека, способного заглушить голос правдолюбивой шкатулки. Даже когда портрет молчал, как притаившийся зверь, как убийца, выжидающий подходящий момент, Принцессе казалось, что вся ее просторная, с высоким потолком комната пропитана его клокочущей ненавистью. Портрет ненавидел ее; и если бы все сводилось к этому, она погибла бы — не иначе.

Но у портрета было и другое свойство. Иногда он выражал свои чувства бездумно, забывая о ненависти и невольно откликаясь на тепло солнечных лучей, проникавших через окно, на музыку певчих птиц или на красоту пшеничного поля, спускавшегося к реке, к западу от дворца. И тогда она, Принцесса, испытывая на себе благотворное воздействие летнего тепла, стала снова замечать, впервые за много лет, как золотится созревающее пшеничное поле. И голос картины, теперь воздававший ей, сам того не сознавая, безмерную хвалу, был несомненно ее голосом, и в эти мгновения Принцесса радовалась, пусть даже недолго и неуверенно, как радуется ребенок, который вдруг, безо всякого повода получает чудесный подарок.

В этом чувстве была не одна только радость. Хотела этого Принцесса или нет, но оно заставило ее острее осознать

контраст между тем, что она считала лучшей частью своего «я», и тем, что — она это знала — было в ней худшего. Например, гуляя однажды с усатым Принцем по саду, она обратила его внимание на алый цвет роз и вдруг с тревогой спросила себя, какое из ее чувств натуральнее: чувство естественной радости при виде такой красоты или инстинкт женщины, подсказывающий ей ловкий ход в их политической и романтической игре в *arrogement**.

— Они чудесны, как ваши глаза,— ляпнул Принц.

— Значит, мои глаза тоже красные?— спросила Принцесса и усмехнулась, опустив ресницы.

— Я, собственно, имел в виду ваши щеки,— поправился Принц с тем выражением детской досады и растерянности, которое ей обычно нравилось. Но сегодня оно только раздражало, и раздражало, откровенно говоря, отчасти тем, что наивная непосредственность Принца самой ей не была присуща. «Ну, разве это не правда,— с досадой подумала Принцесса,— что Принц на самом деле сморозил глупость, разве это не было грубой подтасовкой? Что с точки зрения эстетической такое сравнение — нелепость, беспомощная метафора, которую применительно к женщине можно истолковать по-разному? Почему женские щеки, как и щеки ребенка, могут быть предметом восхищения за их румянец, а мужские щеки — не могут?» Она была уверена, что Принц невероятно обиделся бы, если бы ей вздумалось сделать ему комплимент, сказав, что у него прелестные румяные щечки. (Кстати, они и правда были румяные, так что у нее мелькнула озорная мысль сказать ему об этом.) Увы, и глупость, и излишняя верность усатого Принца били в нос, как бьет из земли родник, и казались столь же естественными, как гроздь винограда на лозе или красные и голубые штокрозы, что растут у кирпичной стены крестьянского домика.

— Вы чем-то расстроены?— встревоженно спросил Принц. Ее лицо вспыхнуло, сделалось пунцовым, как роза (он мог бы так и выразиться, если бы это пришло ему в

* сближение (*франц.*).

голову), на ее глазах без видимой причины показались слезы.— Милая, милая Принцесса,— продолжал он, не на шутку испугавшись.— Я что-нибудь не то сказал?

— Нет, ничего,— ответила Принцесса и приложила кончики пальцев ко лбу.

— Не лучше ли нам вернуться во дворец?— предложил Принц и сердито взглянул через плечо на небо, словно всему виною — слишком яркий солнечный свет.

— Пожалуй, да,— согласилась Принцесса.

У двери ее комнаты они расстались, слегка пожав друг другу руки. Принцесса обещала снова выйти, как только немного отдохнет. Закрыв за собой дверь, она тотчас легла в постель и приложила ладонь ко лбу.

Портрету хотелось поболтать.

— Ну как, весело провела время?— спросил он насмешливым старушечьим голосом.

Принцесса в ярости подскочила на кровати.

— Не надо одеяла! Не надо одеяла!— закричал портрет. В последнее время у Принцессы вошло в привычку прикрывать шкатулку желтым стеганым одеялом, чтобы таким способом заставить ее замолчать.— Я буду вести себя хорошо! Обещаю!

Принцесса снова прилегла и закрыла глаза, но не успокоилась, ожидая, что шкатулка не прекратит болтовни.

— Он говорил тебе сальности?

Принцесса издала тихий стон.

— Я вовсе не хочу быть назойливой,— поспешно сказала шкатулка, помня об одеяле.— Что бы тебе ни говорили твои кавалеры, меня это не касается. Тому, кто на самом деле не существует, жизнь не так уж интересна. Понимаешь, что я имею в виду? Тебе никогда не приходило в голову, что у меня нет ничего, кроме головы? Я не могу даже погладить свои...

— Замолчи!— простонала Принцесса и снова встала.— Где ты набралась этих вульгарных, непристойных, отвратительных...— Она не договорила, закрыла лицо руками, скрючившись, точно от боли.— Почему ты меня ненавидишь?

Чего ты от меня хочешь?

— Да я, собственно, не ненавижу тебя,— возразила картина и умолкла, погруженная в свои мысли.

Обе долго молчали. Наконец Принцесса сказала:

— Ты мне как-то говорила, что Влемк-живописец писал и другие мои портреты.

Картина ответила не сразу. Потом каким-то странным спокойным тоном вымолвила:

— Да...

— И какие они?— спросила Принцесса.

— Тебе их надо самой посмотреть,— ответила картина. Ее по-прежнему спокойный, сдержанный тон мог означать что угодно.

— Так я, пожалуй, и сделаю,— задумчиво сказала Принцесса и бессильно опустила руки на колени, обратив невидящий взор на дальнюю стену комнаты. Потом сказала:— Я слышала, что Влемк-живописец очень беден. Может, мне пойти к нему со своими друзьями, они могут хорошо заплатить ему, если им что-нибудь понравится.

Картина промолчала.

— Это не как подаяние,— объяснила Принцесса.— Я просто думала...

Картина сказала:

— Мне жаль, что я огорчаю тебя. Я понимаю, ведь ты на меня сердисься. Сознаюсь, я думала только о себе. Вот если бы мы, особенно я, еще постарались... Я хочу сказать...

Принцесса нахмурилась:

— Ты просто *не хочешь*, чтобы я посмотрела другие шкатулки.

— Не в этом дело!— воскликнула картина.

Но Принцессу нельзя было обмануть — слишком хорошо она знала собственный голос.

— Значит, решено!— сказала Принцесса. Она быстро встала, подошла к двери, подозвала лакея и велела сказать кучеру, чтобы он запрягал. Принц стоял в зале, заложив руки за спину, и разглядывал портреты титулованных особ.

Увидев, что Принцесса разговаривает с лакеем, он подошел к ней.

— Вам теперь лучше?— спросил он.

— Принц!— На ее лице играла притворная улыбка.— Есть одно дело, в котором я надеюсь на вашу помощь.

— Все, что прикажете, моя радость,— ответил Принц, глядя куда-то поверх ее головы. Ее улыбка немного его встревожила.

— Мы должны как-то помочь Влемку-живописцу,— сказала она.— Может быть, это один из самых выдающихся художников во всем Королевстве, а живет он в крайней нищете.

И она изложила ему свой план.

7

По кабаку прокатился шепот, потом хозяйка нагнулась к Влемку и что-то невнятно забормотала. Он не совсем ее расслышал, но, обернувшись, и сам увидел вошедшего: это был кучер Принцессы во всем убранстве, включая блестящие, как оникс, сапоги.

От обильного возлияния Влемк соображал плохо, поэтому обратил свой взгляд на друзей, надеясь по их лицам угадать, чего от него хотят. Но поэт спал, закатив глаза, а будущий убийца тупо, словно в забытьи, глядел прямо перед собой.

— Это к тебе,— объяснил бывший скрипач, показывая длинным пальцем на кучера.

Влемк взглянул на кабатчицу. Та кивнула.

Медленно, неловкими движениями он поискал под столом ботинки — приходилось снимать их, потому что от них болели ноги,— и, обувшись, с трудом поднялся со своего стула. Кабатчица взяла его под руку и, прошептав: «Не бойся! По-моему, это к добру!»— подвела его к кучеру, по отчужденному, холодному взгляду которого было видно, что все вокруг ему противно — и эти пьяные физиономии с разинутыми ртами, в бородавках и шрамах, и запах винного перегара, блевотины, табака, и кот кабатчицы, что

развалился у стойки и, тараща глаза, ждал, чтобы кто-нибудь бросил ему кусочек съестного. Когда Влемк вплотную подошел к кучеру, тот изобразил на лице улыбку и отвесил почти подобострастный, но принужденный, полный холодной сдержанности поклон.

— Принцесса спрашивает,— сказал кучер,— не соблаговолите ли вы показать ей свою мастерскую.

Влемк открыл рот, потом в глубоком раздумье взялся рукой за подбородок.

— Ей хотелось бы взглянуть на ваши работы,— пояснил кучер.

Влемк кивнул. Потрогал на голове шляпу, желая увериться, что она на месте, и опять кивнул. Он предчувствовал, что за порогом кабака его ждет какая-то ужасная неприятность, но хмель мешал ему понять, какая именно, и он, снова кивнув, направился вместе с кучером к выходу.

На улице стояли четыре экипажа, битком набитые людьми. Влемк снял шляпу. Дверь черной с позолотой кареты открылась, и из нее высунулась голова Принцессы. Она с улыбкой сказала:

— Здравствуй, Влемк. Извини, мы не знали твоего распорядка дня.

Влемк засмеялся, потом посерьезнел, облизнул в раздумье губы, кивнул. «Неважно»,— хотел было сказать он, но, вспомнив о проклятии, только пожал плечами.

— Не окажешь ли ты нам честь поехать вместе с нами?— спросила Принцесса.

Он бросил на нее растерянный взгляд, посмотрел по сторонам и снова беспомощно пожал плечами. Продолжая держать шляпу в обеих руках, приблизился к карете и, точно слепой, занес ногу. Кучер, стоявший рядом, нагнулся, помог ему встать на блестящую бронзовую подножку и осторожно посадил его в карету. В карете ничего не было видно — казалось, чьи-то белые, точно луна, лица обратились к нему, чьи-то руки повернули его и направили туда, где сидела Принцесса, ему оставалось только воспользоваться любезностью и сесть рядом с ней.

— Благодарю,— сказала Принцесса, откинувшись на спинку, и кучер захлопнул дверцу.

— Большая честь встретить вас снова,— произнес голос, показавшийся Влемку немного знакомым. Чья-то белая рука повисла перед ним, он скоро догадался, что ему следовало ее пожать. И он неуклюже сделал это, после чего вытер ладонь о штанину. В карете пахло цветами и духами. Влемк сдерживал дыхание, боясь, как бы его не стошнило.

— Счастливо королевство,— сказал уже другой голос,— которое имеет таких выдающихся, знаменитых художников!

«Знамениты-то у нас те, кто вырезает горгульи»,— презрительно заметил Влемк; к счастью — беззвучно. Его руки лежали на коленях. Рука Принцессы, затянутая в перчатку, нежно опустилась на его правую руку. Его озадачило, что рука у нее дрожит, как у безумной.

Карета покачивалась беззвучно, точно лодка, было лишь слышно, как ритмично, словно часы, цокают по булыжной мостовой железные подковы. Потом цоканье прекратилось, покачивание — тоже, и дверца кареты рядом с Влемком открылась. Он затаил дыхание, но не произошло ничего страшного. Кучер протягивал ему руку.

Лишь поднимаясь по лестнице, он пришел в себя. Глянув назад и увидев следовавших за ним нарядно одетых людей, он содрогнулся. Они улыбались, словно дети в гостях, ожидающие подарков, у него же душа перевернулась, когда он вспомнил, зачем они приехали и что хотят посмотреть. Ноги его сами собой остановились, а левая рука так крепко ухватилась за перила, что, казалось, никакая сила не сдвинет ее с места. Принцесса, шедшая за Влемком первой, вопросительно посмотрела на него снизу вверх (под глазами у нее темнели круги), и немного погодя Влемк, дернув себя за бороду и облизнув языком губы, стал подниматься дальше.

В мастерской, зажигая свечи, художник опять замешкался, он подумал, что ему, возможно, удастся провести их, если в помещении не будет достаточно света. Но план этот не удался из-за усатого Принца, который, как всегда горя желанием услужить, отыскал фосфорные спички и носился

с ними по комнате, извлекая из разных углов свечи на старых фарфоровых блюдцах и зажигая их одну за другой. Скоро мастерская осветилась не хуже, чем комната Принцессы во дворце, и Влемк понял, что все пропало. Он с нарочитой медлительностью начал подносить гостям претенциозно размалеванные шкатулки — сначала с пейзажами, потом с цветами и наконец — с кошками и собаками; однако заранее знал, что этим не удастся ограничиться. Он стоял, засунув руки в карманы и полузакрыв глаза, точно пузатый сторож, заснувший стоя, и слушал, как они восхищались тем, что он сам считал бессовестной изменой своему таланту.

— А мне говорили...— начала было Принцесса и запнулась.

Она показалась Влемку очень юной, очень напуганной — просто девочкой, а не Принцессой, дочерью, пусть даже умирающего, но всемогущего, как бог, Короля. Усатый Принц стоял рядом, держа ее под руку, в глазах живописца он тоже выглядел таким же ребенком, как эта девочка, — заносчивым хорошеньким мальчиком, который не знает, что такое горе, не имеет представления — разве что из книг или из сказок старых лакеев — о том, что там, внизу, на улицах существуют убийцы с топорами, воры-карманники, люди, шныряющие, как крысы, по гардеробам. Влемк подумал: может, сказать им — объяснить жестами, — что других коробок у него нет, что портретов, о которых ей говорили, не существует. Но по движениям ее губ он видел: да, она готовится спросить его все о том же; и чувствовал, что не в силах сказать ей неправду. Несмотря на все его старания, он все равно до конца не мог стереть из памяти однажды возникший в его воображении образ, и эта призрачная реальность проглядывала сквозь видимые черты ее лица.

Влемк-живописец кивнул, насупив брови, и принес шкатулки, на которых запечатлел все ее самые порочные склонности. Выставив их напоказ, он резко повернулся и отошел к окну. У него мелькнула мысль выброситься из окна, но он решил, что слишком стар и слишком много повидал горя, чтобы поддаться дешевой романтике. До его слуха донесся

их шепот. Нет, не одобряют они его картин.

— Какой ужас!— прошептал кто-то.

Влемк покачал головой и горько усмехнулся. Ведь этим людям свойственно оболыщаться на свой счет. Он соорудил глуповатую мину, повернулся к гостям и развел руками, как бы спрашивая: «Ну, что скажете?»

— Прекрасно! Просто прекрасно!— воскликнула сребровласая дама.— Сколько?

Влемк оставил ее слова без внимания, он смотрел на Принцессу. У нее чуть-чуть дрожали губы, она бросила на него быстрый взгляд, в котором читалось нечто похожее на замешательство и гнев одновременно. Потом снова опустила глаза. Картина на шкатулке, которую она держала в руке, называлась «Принцесса замышляет месть». В эту минуту всякий мог бы заметить, что перед нею — ее же зеркальное отражение: искаженное, задыхающееся от злости лицо, надутые губы, колючие и бессмысленные, как у зверя, глаза. Желая скорее покончить с этой сценой, Влемк стал так энергично жестикулировать и скорчил такую идиотскую гримасу, что Принцесса невольно перевела на него взгляд. «Что вы скажете?»— опять жестом спросил он.

Принцесса глядела на Влемка в упор, видимо догадываясь, что все это нарочно разыграно.

— Мне этот портрет не нравится,— отрезала она.— По-моему, я не такая.

Гости замерли. Значит, она разрешила им хулить художника.

— И правда,— согласилась сребровласая дама, только что восхищавшаяся портретом.— В нем действительно мало сходства.

Они встретились взглядами. Влемк продолжал глупо улыбаться и ждал. Один лишь усатый Принц как будто не понимал, что происходит. Он с интересом разглядывал тщательно расписанную коробочку для пилюль, на которой Принцесса была изображена пробуждающейся от порочных грез, и повернул картинку так, чтобы на глянце губ отразился свет свечи.

— Вот эта мне нравится,— сказал он, протягивая коробочку Принцессе, и только теперь увидел ее лицо.

— Значит, надо купить,— сказала она ледяным тоном.

Бедняга не понимал, в чем его ошибка. Он опустил вдруг обессиленную руку и обратил на картинку вопрошающий унылый взгляд. Влемк понял, что коробочка ему действительно нравится, что по простоте душевной он не видел в ней греха, и это совершенно справедливо, поскольку для него в ней греха и не было.

— Не знаю,— пробормотал он, и в этот момент на его наивном лице появилось выражение озабоченности. Он сжал губы, как бы обдумывая происходящее, но он был слаб и незащищен; окинув взглядом окружающих, он положил коробочку на место и сказал:— Пожалуй, нет. Не знаю.

Принцесса повернулась к двери. Постояла в раздумье, ее лицо ничего не выражало, она, видимо, всячески старалась скрыть свои чувства. Ее тонкие пальцы беспокойно теребили платье. Влемк-живописец, знавший каждый мускул, каждую косточку этого юного милого лица, читал все ее мысли. Вот сейчас она повернется — она повернулась, возьмет почти наугад одну из шкатулок, наверняка с пейзажем,— она действительно взяла шкатулку с пейзажем — и спросит: «Сколько?»

Принцесса подняла голову, поколебалась немного и, стараясь прочесть что-то в глазах Влемка, спросила:

— Сколько?

Влемк придал лицу печальное, виноватое выражение и показал жестами, что шкатулка, к сожалению, не продается. Она моментально, как шахматистка, хорошо изучившая своего противника, сделала второй ход: положив шкатулку на место, взяла наугад другую.

— А эта?— резко спросила она.

Его лицо, должно быть, выразило удивление. Он решил не медлить с ответом — лучше принять от нее подачку, чем продолжать эту опасную игру. Он показал шесть пальцев, потом изобразил с помощью большого и указательного

пальцев кружок величиной с монету с барельефом Короля — цена была явно завышена.

Ее глаза широко раскрылись от изумления, потом она вдруг рассмеялась, потом, также неожиданно, бросила на него тяжелый, испытующий взгляд. Но и эту вспышку мгновенно погасила, опустив ресницы.

— Хорошо, шесть крон,— сказала она и сделала знак лакею, который неловко и торопливо полез за кошельком.

Сребровласая дама тотчас же схватила другой пейзаж; господин в парике потянулся за шкатулкой с двумя собаками, усатый Принц все еще посматривал краешком глаза на понравившуюся ему картинку, но потом решил, что лучше не надо, и стал разглядывать с подчеркнутым интересом цветы. Улучив подходящий момент, когда все склонились над шкатулками с пейзажами, цветами и животными, Влемк взял со стола «Порочные грезы», задел Принца будто бы невзначай за плечо, как это делают опытные карманники, и незаметно сунул коробочку для пилкуль ему в карман.

— Сколько? Сколько?— спрашивали все наперебой.

Он указывал пальцами цифры, с каждым разом заламывая все более высокую цену. Принцесса холодно взирала на него, потом отошла к окну и задумалась. Когда настала пора уходить, она улыбнулась и сказала:

— Счастливо, Влемк. Да хранит тебя бог, бедняга!

«Прикоснулся к ней!— ликовал Влемк, целуя ее руку.— Прикоснулся! Сердце прямо так и ёкнуло!»

8

Однако злокозненные портреты, написанные Влемком, не выходили у Принцессы из головы. Сидя у себя в комнате и вглядываясь в говорящую картину, она все больше убеждалась, что отец прав. Портрет действительно похож на нее, сколько бы она ни надеялась, будто это не так. Неужели и другие портреты, еще менее льстящие ее самолюбию, также похожи? Она попробовала представить их себе, но не смогла: то ли у нее притупилась память, то ли начал действовать

какой-то механизм, который искажал образ, едва он успевал появиться, опалая его, лишая ясности очертаний, как это бывает, когда смотришь на предмет при слишком ярком освещении.

— Интересно, зачем он меня писал?— как-то подумала она вслух.

— Я уверена, что он не желал тебе зла,— сказала картина голосом, который был не громче, чем жужжание пчелы.

Принцесса, стоявшая вполборота к шкатулке, чуть склонив голову, спросила:

— По-твоему, он меня ненавидит? Да?

— Насколько я помню, он никогда о тебе плохо не говорил.

— Ты лжешь,— сказала Принцесса, хотя и не очень уверенно. Ей почему-то становилось все труднее и труднее угадывать, о чем думает лицо на портрете, даже когда его голос звучал, как ее собственный.

— Нет, не лгу!— возразила картина, и в тоне ее звучала обида.— Если хочешь знать, при мне он ни разу не упомянул о тебе!

— Говорить обо мне он не мог, а думать, конечно, думал,— сказала Принцесса.— Потому что мое лицо стало для него навязчивой идеей.

— Ага! Значит, ты признаешь в них некоторое сходство с собой!

— Ничего я не признаю!— вспыхнула Принцесса.— Перестань ловить меня на слове!

И, чтобы избежать дальнейших пререканий, она повернулась и быстро вышла из комнаты.

Но мысли о портретах не давали ей ни минуты покоя. За ужином, сидя напротив Принца, хмурая и недовольная тем, что он перестал понимать ее и что скоро ему уезжать, а неопределенность их отношений остается, Принцесса, откусив кусочек булочки, вдруг представила себе, как Влемк-живописец изобразит ее: вот она, сверкая колючими, как у горноста, глазками, жадно пожирает кусок курицы. Или в лесу: она бродит, ломая руки и то и дело откидывая назад

волосы, будто отгоняя прочь навязчивые мысли либо отвергая несправедливые упреки тех, кому слепо верила; и в памяти ее вдруг воскрес образ, глядевший с картины Влемка-живописца,— образ более реальный, чем деревья и кусты папоротника вокруг: в припадке безумия она раздирает себе ногтями лицо.

Однажды произошло необычное: в ее комнате появился Король, ее отец. Когда дверь за ним закрылась, а слуги отступили по его приказанию в глубь комнаты и будто растворились, как сентябрьский туман, в шторах и стенах, Король, судорожно одергивая на себе одежду, словно все, что к нему прикасалось, все мало-мальски вещественное причиняет ему жгучую, почти невыносимую боль, с большим трудом поднял голову и спросил:

— Дочь моя, что с тобой? Мне говорили верные люди, что ты ведешь себя так, будто лишилась рассудка.

Принцесса побледнела от страха; как и все обитатели дворца, она по опыту знала, что такое отцовский гнев.

— Только не лги!— крикнул он.

— Я и не собираюсь!— возмущенно крикнула она в ответ.

Король поднял брови, изучая ее, его крошечные коготки затеребили края одежды.

— Прекрасно,— сказал он.

Его голова вдруг откинулась назад, словно его ударили невидимым предметом по подбородку. По телу его пробежала судорога, он замахал руками, точно крыльями, потом приступ кончился. Слуги, готовые кинуться к нему на помощь в любое мгновение, приникли к его креслу; в их скрюченных фигурах было что-то обезьянье. Когда он смог снова поднять голову, по его носу и бороде струился пот.

— Тогда скажи, что случилось. У меня осталось мало времени — это всякий дурак поймет.— И, не дождавшись от нее ответа, он нетерпеливо добавил:— Ну?

— Я сама не своя,— еле слышно отвечала Принцесса. К ужасу своему, она заметила, что и ее руки теребят платье, хотя и не так судорожно, как руки отца.

Голова его то падала вперед, то моталась из стороны в

сторону, рот широко раскрылся, как в агонии.

— Не теряй времени!— прохрипел он.— Будь милосердна!— И снова, только резче прежнего, голова старого Короля откинулась назад и тело забилося в конвульсиях. Слуги двинулись было к нему, но он так решительно замахал на них руками, что Принцесса затрепетала от страха.— У нас нет времени для жеманства!— крикнул он сдавленным голосом. Из носа его потекла струйка крови, которую он попытался втянуть в себя.

И тогда шкатулка в порыве любви и скорби воскликнула:

— Расскажи ему! Ради бога! Расскажи ему все! И дело с концом!

Король скосил глаза на шкатулку, потом снова устремил их на дочь.

— Хорошо,— сказала Принцесса, комкая и расправляя свое платье. И единым духом поведала отцу всю историю. Потом она сидела, бессмысленно уставясь на свои колени, и плакала, шмыгая носом и вздрагивая.

Король поник головой и ссутулился, отяжелевшие веки опустились. Совсем уже задыхаясь, он сказал:

— Иди к живописцу. Попроси его снять проклятие. Иначе мы погибли.

— Принцесса!— закричала картина таким голосом, какого Принцесса никогда прежде не слышала.— Он умирает! Подойди к нему! Скорее!

Принцесса без колебания повиновалась.

— Отец! Отец, во имя всего святого!— прошептала она. Вокруг нее столпились все слуги. В припадке безумия она вообразила, что стены комнаты загорелись.— Не умирай!— шептала она, но теперь, когда пламя вокруг нее уже бушевало, она поняла, зачем он к ней пришел. В этом пламени мести ее мозг будто раскрылся, и она узнала все мысли тех, кто находился в этой комнате. Но в следующее мгновение ослепительно белая вспышка заволкла ее сознание.

— Принцесса,— обратился к ней один из слуг, поднимая ее с пола с такой легкостью, словно она была невесома.—

Мы обо всем позаботимся. Вам надо отдохнуть.

Иллюзия пожара мало-помалу рассеялась, и она, поддерживаемая слугами, смотрела на нечто слишком неподвижное, слишком умиротворенное, чтобы быть ее отцом. Вспомнились его странные слова: «Попроси его снять проклятие».

На следующий день после похорон Короля она отправилась к Влемку-живописцу.

9

Он так переменялся, что она не сразу его узнала. Он сильно постарел, лицо его стало печальнее и выглядело таким добрым, что Принцесса или, вернее, Королева (теперь она правила страной) подумала: уж не привиделась ли ей их последняя встреча во сне? — встреча, когда он запрашивал безумные деньги за свои пустяковые картинки — грубо намалеванные пейзажи с коровами, переходящими ручей, хилые, блеклые златоцветы и незабудки, красодневы и первоцветы или сусальные маленькие изображения животных — кошек, собак, медвежат, — все это было не серьезное искусство живописи, а скорее (в лучшем случае) злая пародия на него. Влемк и теперь писал все те же сюжеты, но разница была такая, что казалось, будто прошлые и новые картинки создавались разными художниками. Цветники были выписаны настолько тщательно и подробно, вплоть до отдельных травинок и насекомых, так живо напоминали о человеке, который их вырастил — какая-нибудь старушка или старик в брюках с подтяжками — возможно, бывший крестьянин или адвокат, решивший на закате дней украсить жизнь тех, кого он знал или не знал вовсе, — всех людей вообще, со всеми их горестями и печальями, — так тщателен был рисунок, так точно запечатлевал он всю красоту и печаль мира, что Королеве казалось: если закрыть глаза, то почувствуешь запах осенних листьев.

Да и мастерская приобрела совсем другой вид. Когда-то

она казалась мрачным склепом, который посещала разве что тень самого живописца: тогда все говорило о душевной усталости, нищете и крушении надежд, а теперь жизнь кипела в ней, как в улье. Покупатели жадно перебирали шкатулки и высматривали на них мнимые изъяны, чтобы выторговать уступку в цене, сновали дети, бродили старики, какой-то худой банкир растерянно улыбался, а глаза у него горели страшной озабоченностью — он сказал, что ищет шкатулку для жены, но не знает, какая из них будет ей по вкусу («Ведите ее сюда! — жестами предлагал Влемк. — Ведите сюда!»). А вот какая-то сердитая старуха, и рабочий, и лилипут... Влемк взял себе трех подмастерьев — двух долговязых, туповатых на вид парней и одного толстого и близорукого («Мастер! Гений!» — знаками отрекомендовал этого третьего Влемк). Королева взглянула на «гения» с неприязнью: пухлый, краснощекий, он, высунув кончик языка, мастерил восьмиугольную шкатулку и при этом так низко наклонялся, вколачивая деревянным молоточком гвоздики, что глаза его почти сходились у переносицы. Заметив, что она наблюдает за ним, он усмехнулся и подмигнул, и было в его подмигивании что-то непристойное. Она быстро отвернулась. Каким образом Влемку удалось сделать так много всего за один месяц, для нее казалось тайной, ибо она не догадывалась, что сама же и послужила причиной всех перемен. Ее друзья, купив у Влемка шкатулки, способствовали его признанию в обществе, теперь его вещи были *dernier cri**, и, по счастливому совпадению, это произошло в тот самый момент, когда он решил начать новую жизнь. Впрочем, решение свое он тоже принял не без ее влияния, хотя она и не могла этого знать. Она знала только, что он переменялся и снова стал художником, правда, совсем не тем художником, которого она ожидала здесь встретить и искусство которого, в сущности, не одобряла. Прежде в его манере было нечто презрительно-величественное, какое-то чувство собственного достоинства в сочетании с едва сдерживаемой яростью падшего Лю-

* последним криком моды (*франц.*).

цифера, надменная отчужденность, непреклонная гордость, несмотря на крайнюю нищету, и потому все его несчастья, даже его немота, не унижали его, а лишь придавали его облику черты благородства. А вот теперь он вдруг сделался простым ремесленником, своим среди таких же, как он, простых ремесленников: у окна стоял, робко посматривая поросячьими глазками сквозь толстые-претолстые очки, знаменитый витражных дел мастер по имени Лефс — отец Королевы не раз заказывал ему цветные стекла, а на табурете дремал Борм, мастер литья колоколов — широконосый, придурковатый на вид малый с торчащими из ушей волосами.

Она стояла, выпрямившись, у порога, ее лицо наполовину скрывалось под капюшоном, рука в перчатке не выпускала ручку двери. У нее ныло сердце, и ей хотелось бежать. Именно теперь, когда она наблюдала эту скучную идиллию лавки художника, расписывающего шкатулки (так она называла это заведение; ей было уже неловко называть эту комнату мастерской), — приторные, как засахарившийся мед, — ее осенило, что ужасные портреты, которые Влемк писал с нее, правдивы. Пусть они ей не понравились, пусть (у нее даже задрожали колени) этот факт приводит в отчаяние, пугает ее — она знала, что те портреты были серьезным искусством, чего нельзя сказать о картинках, наполнявших сейчас комнату; она знала, что разум, который до костей прожигал ее плоть, который с холодным безразличием бога снимал с нее, слой за слоем, всякую фальшь, детский пыл, нелепое жеманство, который обнажил ее, использовал и отбросил, был возвышенным и холодным разумом художника. Ей стало горько до слез, когда она подумала, до какого плачевного состояния он дошел: художник, стоивший в пору своего расцвета всего золота Королевства, тысячи королевств, превратился, сам того не сознавая, в то, что было сейчас перед ней. Она вспомнила, как когда-то запретила бросить ему монетку, вообразив в своем безумии, что он «все равно ведь пропьет». Она невольно прикрыла глаза рукой. Этот жест не мог

не привлечь внимания Влемка-живописца.

Он поспешно подошел к ней и, смущенный, зашевелил беззвучно губами, словно забыл, что лишен дара речи.

— Я должна уйти,— сказала она и открыла дверь. С улицы веяло сырым теплом, предвещавшим дождь.

С той же подчеркнутой галантностью, какой отличался ее усатый Принц, Влемк ухватился за дверь и прикрыл ее, преградив путь Королеве. Он жестикулировал и вращал глазами. Бог знает что такое он хотел сказать. Он не сводил глаз с ее траурной ленты.

— Я должна уйти,— повторила она, на этот раз более решительно.

Его лицо сделалось невозмутимым. Скорее даже — холодным, смутно напоминавшим того, прежнего Влемка. С видом человека, который убивает насекомое, не прерывая при этом начатой беседы — слегка поморщился, и снова на лице полное спокойствие,— он захлопнул дверь. Она пристально, немного испуганно посмотрела на него, стараясь угадать по его глазам, что он задумал. Он же стоял не двигаясь, странно ухмыляясь, а комната за его спиной наполнилась благостным гудением — переговаривались между собой покупатели, суетились подмастерья, занятые то работой, то разговорами,— и никому не было дела до них двоих, то есть до Королевы и Влемка, далеких друг от друга, как две звезды. Она дернула за ручку двери. С таким же успехом могла бы она потянуть и за ручку каменной стены, если бы у стены была ручка. Она вперила взгляд в дверь, чувствуя, как в груди вздымается волна дикой ярости. Она готова была закричать на него, но, пересилив гнев, спросила себя: «Уж не влюблена ли я в этого толстопузого старика?»

— Я приду потом, когда ты будешь свободнее.

— Вы же шкатулки пришли смотреть,— сказал он. Она знала, что это невозможно, и тем не менее ей показалось, что он произнес эти слова вслух.

— Да.

Влемк вежливо кивнул, повернулся и пошел прочь от две-

ри. Задержался около подмастерья, объяснил ему что-то — тот поглядел на Королеву, потом быстро перевел взгляд на Влемка, — потом, улыбаясь покупателям и осторожно обойдя стол со шкатулками, живописец прошел в угол, где лежала груда каких-то предметов, сдернул покрывало, взял с пола мешок и небрежно побросал в него одну за другой шкатулки. Вернувшись, он взял Королеву, точно ребенка, за руку, почти не глядя на нее, вывел ее из мастерской и тихо прикрыл за собой дверь. Потом, отпустив ее руку, он начал спускаться по лестнице. Королева шла следом.

Как это ни странно, Королева не знала, как выглядит помещение кабака. Но она вошла туда с напускной уверенностью слепца, притворяющегося, что не нуждается в посторонней помощи, — она шла решительно, держалась прямо и как будто с нетерпением ждала, когда Влемк выберет столик, хотя, в сущности, понятия не имела о том, прилично или неприлично даме сидеть с мужчиной в таком заведении. Все здесь было так ново и загадочно, что она была не в состоянии о чем-либо думать, а только смотрела и смотрела, жадно впитывая увиденное широко открытыми глазами ребенка, — и тут вдруг вспомнила себя четырех- пятилетней девочкой, когда все вещи представлялись ей живыми, неестественно контрастными; вспомнила, как ездила с отцом на ярмарку, как окружавшие их слуги зорко и испуганно высматривали анархистов, ее отец был тогда еще крепкий и рослый, почти грузный человек, он радостными криками приветствовал своих подданных и пожимал руки тем, до кого удавалось дотянуться через плечи стражей.

В кабаке стало тихо, посетители делали вид, что не обращают на нее внимания. Она стояла, высоко подняв голову, испытывая странное возбуждение от близости порока. «Что скажут люди?» — спрашивала она себя, хотя знала, что именно они скажут, и перед ней возник образ, запечатленный на одной из картин Влемка, — образ, который она тайно называла «Королева — падшая женщина».

Потом появилась кабатчица, на вид более простодушная, чем была в свои детские годы Королева (или так Королеве показалось); приветливо кланяясь и улыбаясь, она провела их к длинному столу у входной двери, на столе горели свечи, а вокруг стояло шесть крепких стульев. Влемк пододвинул Королеве стул около стены, сам же, перейдя на другую сторону, сел прямо напротив нее, затем положил на стол мешок, а кабатчица тем временем безмолвно убрала остальные четыре стула. Влемк подал знак рукой, видимо что-то заказывая, и кабатчица ушла. Влемк развязал мешок и стал вытаскивать из него одну за другой шкатулки и пододвигать их Королеве. Достав последнюю, он сложил мешок и постелил его себе на колени наподобие салфетки. Всплеснул руками и пренебрежительно усмехнулся, а взгляд его блуждал где-то далеко. Королева стала разглядывать портреты.

Ей казалось невероятным, что эти портреты, когда она впервые их увидела, так сильно ее потрясли. Вот они, ее задатки,— один ужасней другого; только теперь она уже не считает их столь ужасными. Смотреть на них — все равно что читать книги по истории: этот король погиб в сражении, этот — умер от сифилиса, этот — разбился насмерть, упав с лошади. Теперь самое сильное из всех ее ощущений — ощущение новой свободы, избавления. Да, это так, думала она, будто отвечая на слова говорящей шкатулки; ее праведная жизнь всех предшествующих лет пуста и нелепа. Как удивительно и прекрасно — уподобиться душе, свободной от плоти, и взирать с горной вершины на жизнь и видеть ее такой, как она есть. Этот король погиб в сражении, этот — умер от сифилиса...

На одном из портретов ее голова была вздернута так высоко, что казалось — вот-вот оторвется от шеи. «Королева, исполненная гордости» — такое название она придумала этой картине. Она засмеялась, Влемк-живописец взглянул на нее осуждающе, и она засмеялась опять, на этот раз, пожалуй, слишком громко. Человек с соломенной шевелюрой и сонными глазами резко остановился посреди

зала, посмотрел на нее, потом принес стул и сел рядом. Как раз в это время кабатчица вернулась с напитком, заказанным Влемком: в двух небольших грубых бокалах темнела какая-то густая жидкость. Она волком посмотрела на человека, подсевшего к Королеве, потом перевела вопрошающий взгляд на Влемка; тот опустил глаза и пожал плечами. Кабатчица с тревогой посмотрела на Королеву.

— Не беда,— сказала Королева и так же, как Влемк, пожала плечами.

Кабатчица будто невзначай прикрыла свою безобразную родинку рукой и еще раз взглянула на художника, но тот сделал вид, что не заметил ее взгляда; наконец она неохотно отошла от стола и занялась своим делом.

— Привет,— сказал человек с соломенной шевелюрой и криво усмехнулся. Зубы у него были черные и неровные, как надгробные камни на старом-престаром кладбище.

Она кивнула и покосилась на его потертый рукав с заплатой на локте, слишком близко придвинувшийся к ее руке.

— Я — поэт,— объявил человек. Он откинул голову назад, склонил ее немного набок и помолчал, давая возможность Королеве осознать эту новость.

— Это славно,— сказала она и взглянула на Влемка. Тот разглядывал шкатулки. Она последовала его примеру.

— В наш подлый век поэтов не ценят,— сказал поэт.

Она отозвалась на его слова ни к чему не обязывающим кивком головы и придвинула свечу, чтобы лучше осветить шкатулки. Поэт наклонился вперед и тоже стал смотреть. Королева сдвинула брови и наморщила лоб, стараясь не обращать на него внимания.

Казалось, заговорить могут, если захотят, все эти портреты — даже те из них, которые написаны самой небрежной рукой, как будто с отвращением. О чем он думал, когда писал их?— задавалась она все тем же вопросом. И как он может вот так спокойно сидеть, держа двумя пальцами ножку бокала, почти не удостоивая ее взглядом, и, кажется, даже начинает скучать? Она немного отстра-

нилась от поэта, метнула взгляд сначала на него, потом снова на Влемка. Здесь, в кабаке, при свечах, от света которых его седеющие волосы отливали только что выкованным железом, он уже не представлялся ей обычным ремесленником. Рядом с поэтом его лицо казалось высеченным из цельной мраморной глыбы. «Я пришла просить тебя снять проклятие», — хотела было сказать она и тут же опустила голову; чтобы вытеснить из памяти образ отца, решительно сказала себе: «Это бессмысленно».

Поэт произнес:

— Ваши глаза похожи на свернувшиеся сливки. Вас это оскорбляет?

Она посмотрела на него так, как смотрят на любопытное насекомое.

Поэт закатил глаза и замахал рукой.

Теперь он живо напомнил ей отца, и у нее замерло сердце. Она испуганно посмотрела на Влемка, взывая о помощи, но Влемк сидел с закрытыми глазами, бесконечно терпеливый, предоставив обоим — и Королеву, и поэта — праху времени. И вдруг ее бросило в дрожь, и тут Влемк открыл глаза. Он посмотрел на поэта так невозмутимо, что для нее весь мир перевернулся. Да, она должна научиться быть такой, как Влемк-живописец. Научиться с полным равнодушием отвергать шутовство простых смертных! Жить во имя бессмертия! Теперь она поняла, что ошибалась. Он не сдался, не сник. Нет, просто к концу жизни он пренебрег даже гневом и презрением, даже жаждой Истины, которую испытывал в молодости. Не просто замолчал, а пошел дальше: разыгрывая чудовищную комедию, он писал с дьявольским мастерством всякий вздор — все эти пейзажи, всех этих животных, — все то, за что цепляется погибающее человечество.

В то же мгновение Влемк подался вперед, поднял как бы в знак предостережения указательный палец и сурово покачал головой. Угадал ли он ее мысли? Конечно, угадал. Он знает ее, как не знал еще никто, знает каждую нервную судорогу ее лица, каждое подергивание губ.

Шкатулки поблескивали в колеблющемся свете свеч — холодная, безучастная коллекция ужасов: чудовищные гримасы, выпученные глаза; десять бесстыдных масок разврата. И ее внезапно осенило: дело не в том, что одному из этих портретов суждено донести правду, — они все правдивы. И вовсе не потому, что он любит ее или ненавидит. Для него она — всего-навсего особь, нечто вроде крысы, которую изучает биолог, держа в обтянутой перчаткой руке. Подобным же образом Влемк мог бы поступить в отношении поэта, да и она поступила бы так же, если бы обладала его искусством. Таков этот мир, сказал он. И хватит о нем! И художник вновь обратился к прелестным садам, где растут веселые, точно крокусы, травы, где насекомые вроде горгулий на здании церкви, и они пожирают кого-то, и их самих пожирают. Таков этот мир, дети мои, мои усатые принцы и застенчиво улыбающиеся дамы. Влемк снова закрыл глаза, предоставив все живое праху времени. *При мне он ни разу не упомянул тебя*, сказала говорящая картина. Даже когда Влемк часами писал ее, он думал о ней не больше, чем думает биолог о лягушке, которую живьем разрезает на части. Это же Искусство. Вершина горы. Шкатулки вытеснили из памяти Королевы лицо ее умирающего отца.

Она подалась вперед и, вцепившись руками в край стола, напрягла зрение. В голове у нее мутилось, хотя она еще и не пригубила загадочного темного напитка. Она поймала себя на том, что уже довольно долго не сводит глаз с одной из шкатулок. «Завистливая Королева» — так ей вздумалось назвать этот портрет. Лицо, изображенное на нем, выглядело почти карикатурным, оно смешно съежилось, иссохло, глаза казались непомерно большими, из приоткрытого рта торчали зубы.

Влемк открыл глаза.

«Ваше здоровье», — беззвучно сказал он с убийственной усмешкой — или так показалось Королеве? — и поднял бокал.

Вскоре к ним присоединились еще двое друзей Влемк-

ка — так они, по крайней мере, представились,— и Влемк ничего не возразил, только снова закрыл глаза. Один из них утверждал, что он — бывший скрипач, другой же ничего не утверждал, он лишь бросал мимолетные взгляды на ее шею и время от времени посматривал на дверь, словно ожидая появления еще каких-то «друзей». Королева почти задышалась. Всю жизнь она презирала все пошлое, безобразное и избегала его. Но, оказавшись в самой гуще пошлости и безобразия, она стала сомневаться в том, что была права. Раньше ей нужны были цветники без насекомых. Теперь она думала иначе. Ей хотелось лишь видеть. Но ее сознание затуманилось. Она попыталась собраться с мыслями. Пальцы ее потеряли чувствительность.

Поэт болтал какую-то чушь, и понять его было трудно.

— Предположим,— говорил он, и его лицо с желтыми полумесяцами под глазами стало наплывать на нее.— Предположим, что бог — это паук.

Она ждала; казалось, поэту больше нечего сказать. Но когда она рассеянно посмотрела на бывшего скрипача, поэт встрепенулся и, отчаянно содрогаясь, продолжал:

— Из собственных *выделений* прядет паук свою нить.

Он рванулся к ней, пытаясь погрозить кулаком, но ударился локтем о край стола, да так сильно, что взвыл от боли и на глазах у него выступили слезы. Бывший скрипач покачал головой и сказал:

— Послушай...

Разъяренный поэт размахнулся левой рукой и ударил бывшего скрипача в грудь.

— Но паук еще и жалит!— крикнул он. Его голос, пронзительный и тонкий, напомнил ей голос говорящего портрета, и тут она вспомнила, что портрет этот и есть она сама. Она взглянула на Влемка. Он спал.

Поэт заплакал. Бывший скрипач тихо сказал:

— Этот человек до мозга костей пропитан ненавистью. Но разве он виноват?

Она с надеждой посмотрела на субъекта, не сводившего

глаз с ее шеи. Но от его взгляда у нее все похолодело внутри. Нервно улыбнувшись, она потупилась и спросила:

— А чем *вы* занимаетесь?

Не меня выражения лица, он вперил в нее пристальный взгляд; у нее возникло жуткое ощущение, будто она падает в бездну. Движением глаз он приказал ей заглянуть под стол. Она посмотрела вниз, закусила губу и густо покраснела. Под столом, в полумраке, почти касаясь ее туфель, поблескивало лезвие топора. Инстинктивно, еще не осознав того, что она делает, Королева потрогала шею рукой. Субъект усмехнулся, глаза его превратились в расплывчатые пятна. Она прижала обе руки к груди — сердце отчаянно колотилось, жгло под ключицей.

Влემк-живописец приоткрыл глаза, поднял брови и посмотрел на своих друзей. Потом перевел взгляд на Королеву, как бы спрашивая, что случилось, и снова опустил глаза — на свои колени. Взял мешок и стал складывать в него одну за другой шкатулки. У Королевы был вид ребенка, который с мучительной болью расстается со своими сокровищами. Каждое из этих безобразных чудищ, исчезавших в мешке, представлялось ей частью собственной плоти, но она не проронила ни звука. Кончив укладывать шкатулки, он затянул шнурок мешка, отодвинул стул, поднялся и жестами показал ей на дверь. Она тоже отодвинула стул и встала, учащенно дыша и чувствуя дрожь в коленях. Поэт заворчал. Субъект с топором поднял голову и с сожалением взглянул на ее шею. Она старалась не смотреть на него, но не могла совладать с собой; наконец живописец, обойдя вокруг стола, предложил ей руку. Она крепко в нее вцепилась. По дорожке к выходу она, не выпуская его руки, оглянулась: никто их не собирался окликнуть, никто не требовал платы. Это следовало обдумать, но голова ее была слишком занята мыслью о топоре.

Они вышли на улицу, где ее ждал кучер и сказочно сияла в свете фонарей и далекой луны черная с позолотой карета. Кучер открыл перед ней дверцу и, отступив назад, как бы растворился во тьме — так было заведено при ее

отце,— а Влемк-живописец стиснул ее руку сильнее, чем обычно — утром она, наверно, обнаружит на коже синяки,— потом выпустил ее и стал отступать назад. Еще не отдавая себе отчета в том, что она делает, Королева с проворством змеи протянула руку и ухватилась за мешок со шкатулками. Он не выразил удивления, а лишь вскинул на нее бесстрастные глаза, словно обдумывая, как изобразить ее на новой своей картине.

— Позволь мне взять их,— сказала она, избегая его взгляда.— Продай!

Он ничего не ответил, вид у него был по-прежнему бесстрастный, и лишь спустя какое-то время он печально и немного сурово покачал головой и, разжав свои толстые, сильные пальцы, оставил мешок в ее руках.

Она села в карету, дверца за ней захлопнулась, и почти тотчас же услышала, как зацокали подковы, почувствовала, как заколыхалась карета.

10

В жизни Королевы началось ужасное время. Как бы там ни было на самом деле, только она не сомневалась, что перед ней промелькнул мир более значительный, чем ее собственный, пусть мрачный, злой, но неукротимо живой. Во сне она видела то темный прокуренный кабак, то лезвие топора, выглядывающее из-под пальто молчаливого человека. Надевая бусы или гуляя по полям, она вдруг озадаченно и, пожалуй, немного испуганно замечала, что не любит изумрудами и грациозными пируэтами скворцов, а видит спокойное, сонное лицо Влемка-живописца и ту истинную жизнь, которая его окружает: поэта, не умеющего сочинять стихи, скрипача, не умеющего играть на скрипке, угрюмого субъекта, который таскает с собой топор и не сводит глаз с ее шеи.

Как это ни странно, шкатулки, когда она расставила их у себя на столе, уже не возбуждали у нее больше интереса. Она смотрела на них, изучала, но их чары исчезли. Портреты

как портреты — иногда ей даже казалось, будто они не столь уж и хороши, и, хотя разум подсказывал ей, что в них была записана вся ее жизнь, запечатлена вся ее суть, она решила: должно быть, с ней происходит что-то неладное: портреты совсем ее не трогали. Глядя на них, она испытывала раз от разу все большее разочарование. Их можно было бы принять и за злые карикатуры. Разумеется, она понимала, что они не просто карикатуры, и старалась внушить себе, что перед ней нечто значительное. И действительно, временами ее охватывало знакомое тревожное чувство — ощущение увядания, ужаса смерти. Но, поразмыслив, она поняла: вовсе не портреты внушают теперь ей это чувство, а атмосфера кабака и топор, который она увидела у того молчаливого субъекта. Портреты же наводили тоску. И, горюя о том, что утрачено, она проливала иной раз слезы, склонившись над своими шкатулками.

— Уж здорова ли ты? — спрашивала говорящая картина.

Королева лишь фыркала и скидывала голову.

— А ты и правда делаешься занудой, — продолжала картина. — Куда девалась твоя ярость?

— Ярость! — передразнивала Королева.

Этим обычно и заканчивался разговор. Но однажды вечером — уже чувствовалось приближение зимы — картина так разозлилась, что решила не отступить.

— Да, ярость. Чего ты придираешься к словам?

— Одеяло, — холодно сказала Королева, вставая с постели.

— За что? Это несправедливо! — закричала картина. — Что я такое сказала?

Но Королева была неумолима — она взяла одеяло и накинула его на портрет.

И хотя шкатулка продолжала вопить, ее вопли из-под одеяла были похожи на писк комара, и Королева уже не обращала на них внимания.

Как ни докучны были эти портреты, какую бы глубокую тоску они ни наводили — не тем, что в ней обнаруживали, а тем, что доказывали, что она живет настоящей жизнью,

заставляли чувствовать себя жалким существом, напрасно коптящим небо,— достаточно ей было вспомнить о кабаке, и ее охватывало что-то похожее на ту тревогу, какую она испытала, когда впервые перешагнула через его порог. Ее вдруг осенило, что в этом, пожалуй, и кроется ответ. Она вздрогнула, вспомнив человека с топором. А что, если он на самом деле убил бы ее? Она ясно представила себе внезапно возникшую тень, которую сперва приняла за темный проем двери,— тень человека, стремительно и беззвучнодвигающегося вдоль стены в ее сторону; вот он заносит над ней топор, полы его пальто взлетают, как крылья... Видение показалось настолько реальным, что из груди у нее вырвался крик и на глазах выступили слезы. Сжав кулаки, она стиснула голову, силясь обдумать все по порядку. Может быть, вся беда в том, что она боится жизни, так как слишком боится смерти? Но это же неправда! Ничто на свете ей не страшно — ни душевные страдания, ни болезни, ни безумие... Повинуясь почти безотчетному порыву, она встала, схватила мантию, подошла к двери, чтобы послать за кучером, но, постояв немного, передумала и повесила мантию на спинку кресла. Потом тихо отворила дверь, вышла, так же тихо закрыла ее за собой, поглядела по сторонам и торопливо зашагала к комнате горничной. Когда она открыла, не постучавшись, дверь, в комнату ворвался свет; горничная вскочила на кровати и испуганно взвизгнула.

— Не бойся,— сказала Королева.

Горничная смотрела, выпучив глаза, раскрыв от удивления свой маленький рот.

— Дай мне что-нибудь из твоей одежды,— попросила Королева.

В тот вечер Королева, переодевшись в чужое платье, отправилась в город одна.

Ей никого не удалось обмануть, даже самых тупых завсегдаев кабака, но все делали вид, что не узнали ее. Королева, настороженная, гордая, стояла бок о бок с бывшим скрипачом.

— Вы не будете возражать, если я сяду? — спросила она.

Бывший скрипач растерянно взглянул на своих друзей, потом снова на Королеву, после чего, нахмурясь, кивнул головой и рывком подал ей стул.

Это был самый странный, самый веселый и жуткий вечер в ее жизни — другого такого вечера она не припоминала. Ей казалось, что все ее подозрения оправдались: ее упорядоченная жизнь — безумие, а безоглядное, необузданное приятие — и только оно — всего, что бы ни исторгло с блистательным равнодушием человечество, — истинно и верно. Прежде ее представление о распутстве, когда она о нем грезила, сводилось к тому, чтобы петь и плясать, подобно цыганам, драться кулаками, как мужчина, или ругаться бранными словами. Теперь, вспомнив об этом, она откинула назад голову и залилась безудержным смехом. Нет, нет, совсем не то. Это было нечто более изумительное и мерзкое. Это был запах подмышек рассерженного на музыку бывшего скрипача, когда скрипач, обняв ее, едва не упал вместе с ней со стула. Ощущение холода, когда она прикоснулась губами к щеке спящего поэта — в этот момент она поклялась бы, что он мертв, — и жар пальцев будущего убийцы, когда тот, медленно опустив руку и придавив к неструганому столу ее ладонь, устремил на нее пронизывающий взгляд.

«Очень хорошо, — подумала она; было далеко за полночь, ее веки настолько отяжелели, что глаза стали узкими, как щелки. — Очень, очень хорошо...» Она тщетно силилась вспомнить, что хотела выразить этими двумя словами. Глаза всех трех ее кавалеров остекленели, как глаза дохлых кошек, которых ей приходилось видеть на обочинах дорог.

— Очень хорошо, — убежденно повторила она и погрозила убийце пальцем. Ей хотелось казаться дерзкой и развязной. — Ты, я полагаю, знаешь, что мой отец умер?

Убийца смотрел на нее с прежним выражением. «Ну конечно, знает, знает!» — решила она и затрепетала от острого ощущения жизни. Жизнь, смерть — что они значат для художников? Она усмехнулась, окинула взглядом зал, машинально нащупывая пальцами бокал и стараясь сморгнуть туманную пелену. Дым, полумрак, люди, чья-то высокая

расплывчатая фигура стоит у двери. Она опустила голову и усмехнулась, потом повернулась к убийце.

— Хорошо,— произнесла глубоким голосом.— Тебя, наверно, интересует, зачем я сюда пришла? Ха-ха-ха!— Ей казалось, что смех у нее нежный, девичий. Она приняла устойчивую позу, глаза ее сосредоточились на лице убийцы, ей пришло на ум, что пора сказать правду. Продолжая смотреть ему в глаза, она отпила из своего бокала.— Полагаю, ты знаешь, что мой отец умер? Ну так вот...— Она начала приходить в себя, рассудок подсказывал ей, что она выставляет себя на посмешище, что выглядит нелепо.— Очень хорошо!— сказала она и улыбнулась. Убийца засунул руки под стол и стал проделывать какие-то манипуляции с топором. Высокая фигура отделилась от двери и шагнула в их сторону, потом проследовала дальше. Это был полицейский. Убийца отер лоб. Полицейский сел в углу зала. Он достал трубку и набил ее табаком. Королева поджала губы и сказала:

— Наверно, мы все умрем, не так ли?

Тут она почувствовала, что плачет.

11

Влэмк с трудом поверил своим глазам, когда наутро обнаружил ее, серую, как привидение — одна ее нога была без туфли,— в канаве среди обрывков газет, устричных раковин и прочего мусора; ледышки засыпали ее, как мелкие осколки стекла, а волосы у нее побелели. С первого взгляда ему стало совершенно ясно, что с ней случилось и в чем ее беда, ибо, как ни странно, лицо ее в эту минуту было в точности такое же, как на одном из тех жестоких, злых ее портретов, что он написал когда-то. Присев на корточки с простертыми вперед руками, он глядел на нее, широко открыв глаза; потом, придерживая одной рукой шляпу, обежал вокруг, почему-то выбирая место почище, где бы встать на колени, но тут же досадливо тряхнул головой, поняв, как это глупо, и, вне себя от страха, упал на колени и приложил ухо к ее груди.

Уж не замерзла ли, жива ли? Он сразу же уловил биение ее сердца — оно работало исправно — и с радостью и облегчением похлопал ее по щеке. «Да, да! — мысленно воскликнул он, озираясь по сторонам. — Надо спешить!» По щекам его текли холодные от ветра слезы. Он расставил колени, принимая более устойчивое положение, и стал думать, как лучше подсунуть руки, чтобы ее поднять.

Лишь когда живописец проделал, пыхтя и отдуваясь — Королева лежала у него на руках мертвым грузом, — половину пути вверх по дороге ко дворцу, чувство радости от того, что она жива, уступило место тревоге. Что с ней будет дальше? Вначале он думал, что это попытка самоубийства, что всему виною смерть отца; в самом деле, кончина старика была ударом для всего королевства. Но потом, припоминая некоторые подробности, Влемк забеспокоился. Ему вспомнилось, как они ехали тогда вместе в карете и как задрожала, коснувшись его руки, ее обтянутая перчаткой рука. Это встревожило его; ему следовало еще тогда призадуматься, но он был слишком пьян, чтобы о чем-либо думать. Он вспомнил, да и сейчас, неся ее на руках и глядя на ее бессильно склонившуюся набок голову, увидел, как она осунулась и какие у нее под глазами темные круги. Вспомнил лихорадочный блеск, часто вспыхивавший в ее глазах в минуты гнева, — блеск, который наводил на мысль о безумии. «Господи, — подумал он и еще более опечалился, — до чего же она красива!» Он не замечал странности этих слов, хотя сам видел обратное: Королева подурнела.

У Влемка от усталости болели и дрожали руки и ноги. «Все мы стареем», — подумал он, чувствуя, что ему не дойти до вершины холма, что ему надо передохнуть. Взошло солнце, и стало совсем тепло. У дороги, прямо перед ним, стоял клен с великолепной золотисто-красной кроной, под сенью которого он решил положить свою ношу. Но, приблизившись к дереву, он обнаружил, к своему удивлению, что там сидит какой-то монах. Это несколько смутило его, потому что он рассчитывал доставить Королеву во дворец никем не замеченной. Но делать было нечего, усталость слишком давала

о себе знать. Если понести ее дальше, то можно упасть; так что теперь уж не до осторожности. Он вошел под сень дерева и, вежливо поклонившись монаху, опустил Королеву на траву и опавшие листья подальше от монаха, надеясь, что на таком расстоянии монах не узнает ее. Затем он смахнул с лица Королевы землю и вытянул ей руки и ноги, точно готовил ее — Влемк подумал об этом с грустью — к погребению; и не без оснований, потому что Королева была удивительно похожа на злой портрет, получивший у него название «Принцесса, едва не умершая от отчаяния». Потом, вытирая слезы, Влемк подошел к монаху, рассчитывая отвлечь его внимание от Королевы.

Монах был стар и настолько изможден, что казалось, он много лет питался лишь чаем и воздухом. Он сидел, подняв полы сутаны, чтоб ноги обдувало ветерком (в такую погоду хорошо собирать хурму или пойти искупаться напоследок в прохладном деревенском пруду), и, откинув капюшон на спину, обнажил большие уши и голый, как яйцо, череп. Между гнилушек, оставшихся от его зубов, торчал стебелек тимофеевки, а под воротничок, чтобы не так натирало шею, был подсунут лопух.

— А, живописец! — сказал монах.

Влемк взгляделся в его лицо.

— Помнишь нашу встречу темной ночью на кладбище? Я нашел себе там пристанище, другого дома у меня нет.

Вспомнив, хотя и смутно, Влемк кивнул и улыбнулся. Тогда над ним еще не тяготело проклятие. Жестами и мимикой он объяснил, что произошло с тех пор.

Монах принял эту новость совершенно спокойно.

— Такова жизнь, друг мой, — сказал он с улыбкой. — Куда ни глянь — повсюду грех. — Он поднял голову и посмотрел на крону дерева. — Все мироздание — один великий грех.

Влемк нахмурился, показывая, что не согласен или, по крайней мере, не считает, что пострадал за какие-то грехи; наоборот, он убежден, что это — дело слепого случая.

— Сама материя греховна, — сказал монах. — Горький это урок, дитя мое. — Протянув костлявую руку, он похло-

пал Влемка по стопе.— Влемк возмущенно поджал ногу. Монах закрыл глаза и снова ласково улыбнулся.— Знаю, знаю, ты мне не веришь. Никто не верит. И тем не менее это так. Я старый человек — по моим зубам видишь, что старый, стою на краю могилы,— так что сказки придумывать мне ни к чему. Но ты поверь слову христианина и аскета: самым счастливым днем моей жизни был тот, когда я понял, что всякая материя, все земное есть мерзость и тлен.

Влемк в раздражении вздохнул, сорвал травинку и подумал, что он, пожалуй, уже достаточно отдохнул и может продолжать свой путь ко дворцу. Однако ноги у него все еще гудели, а руки настолько ослабли, что с трудом разорвали стебелек травы. «Ладно, посижу еще немного,— решил он и мрачно пошутил:— Конечно, от поучений монаха мало радости, но и вреда от них не больше, чем от будущего убийцы, а посею их можно претерпеть».

— Да, да,— закивал монах.— Я ведь понимаю, в чем дело.— Он показал на Королеву, по-прежнему в мертвенной неподвижности лежавшую на траве. До этого момента он старательно — или так показалось Влемку — избегал смотреть в ее сторону.— Вот хоть та красивая дама. Тело имеет свою привлекательность, но оно — искушение дьявола и обман. Поверь моему слову. Все преходяще. К этому и сводится великая истина на нашей грешной земле.— Старик почему-то робко взглянул на Влемка.— Все это имеет значение лишь символов. Знаков того, что могло бы быть. Вот, например, эта травинка.— Он показал на стебелек тимофеевки, который держал в зубах.— В ней все соки давно уже высохли. Потому-то я и жую ее.

Пока монах говорил, в траве зажужжала пчела, она почему-то не взлетала, а с трудом пробиравалась между стебельками; достигнув, наконец, лодыжки монаха, она двинулась дальше, не переставая жужжать и трепеща крыльшками, точно грешная душа в адском огне, затем вскарабкалась вверх по ступне и, закончив свой путь между первым и вторым пальцами, постепенно затихла. Влемк осторожно, чтобы не встревожить насекомое, нагнулся и показал монаху на

пчелу, полагая, что тот ничего не почувствовал.

— Пусть отдыхает,— сказал монах.— У нее свои беды.— Он печально покачал головой.— Малая тварь в чудовищном капкане материального мира. Может, она смертельно больна; ведь рано или поздно это неизбежно случится. В ее маленьком тельце сосредоточена вся боль мира.— Он указал на пчелу.

«А если она ужалит?»— жестами спросил Влемк.

Монах едва заметно пожал плечами:

— Пускай жалит. Только, по-моему, не тронет она меня. Но если и тронет? Кто я такой, чтобы жаловаться? Там, наверху,— он показал на небо,— где мы, ослепленные дневным светом, ничего не видим, взрываются звезды. Видели ли ты когда-нибудь умирающего слона?

Он закатил глаза, потом закрыл их и потряс головой.

Отдохнув, пчела снова задвигала крылышками; видно, оправилась от мучившего ее недуга, потому что поднялась в воздух и, полетав взад и вперед (или так Влемку показалось), с жужжанием направилась к стволу дерева. Там, однако, она не задержалась, а, к ужасу Влемка, полетела дальше, к Королеве. И села на ее нижнюю губу. Влемк вскочил, в несколько прыжков он оказался рядом с Королевой, встал около нее на колени и замахал рукой над ее лицом, сгоняя пчелу. Объятый страхом, потрясенный, бессильный что-либо сделать, он смотрел, как пчела с подчеркнутой, как ему казалось, неторопливостью вонзила в ее красную губу жало и улетела. Королева вдруг раскрыла глаза и, слабо вскрикнув, схватилась рукой за рот.

«О господи!»— беззвучно простонал Влемк.

— Теперь пчела умрет,— сказал монах.— Ты убил ее, или, вернее, она убила себя.— Глаза у него были по-прежнему закрыты.— Вот что делает в этом мире любовь. Ну и пусть. Пускай они дерутся, рвут на части друг друга, пускай умирают, если им так хочется. В конце концов им же будет лучше, поверь мне. Свободная душа, чистый дух! Они опять станут теми, кем были до того, как материя с этим ее развитием по спирали и со всеми случайностями погубила

их.— Монах махнул рукой и устало сказал:— Знаю, знаю. Ты мне не веришь.

Королева, открыв глаза, озиралась по сторонам, трогала пальцами губы, силилась понять, где она и что с ней случилось.

«Это ничего,— сказал ей жестами Влемк.— Вас пчела укусила».

Она долго смотрела на него, потом закрыла и открыла глаза, потрогала пальцем губу.

Монах лег на спину и вытянул ноги, как бы давая понять, что ему нет до них дела.

Осторожно, словно преодолевая боль в избитом теле, Королева села и обратила взгляд на дорогу, ведущую ко дворцу.

— Почему я здесь?— спросила она. В тот же миг глаза ее расширились, и она подняла руку в знак того, что отвечать ей не надо.

Влемк поднялся и легким движением головы предложил ей, если она готова, идти с ним дальше. Она, казалось, задумалась, потом согласно кивнула.

За все время пути до дворца они не сказали друг другу ни слова. Королева вцепилась обеими руками в руку Влемка, осторожно, точно инвалид, переставляла ноги, время от времени вздрагивала и то откидывала назад волосы, то прикрывала ладонью глаза. Подойдя к воротам, она в нерешительности остановилась, рассматривая величественную арку подъезда так, будто видела его впервые, потом перевела взгляд на Влемка и наконец опустила голову. Водя носком правой ноги по желтовато-белой гальке, она машинально изобразила небольшой квадрат, похожий на контуры шкатулки.

— Ты пойдешь со мной?— спросила она.

Влемк вздохнул, представив себе, что потом скажут за их спиной слуги, что они подумают, увидев, в каком состоянии он привел ее домой — грязную, с распухшей губой, да еще в столь поздний час, когда давно уже прошло время завтрака. Но глаза ее смотрели серьезно и умоляюще, так что Влемк-живописец, боясь — пусть даже по пустячному

поводу — ее огорчить, согласно кивнул и слегка пожал плечами.

Но тут возникло новое затруднение — у Королевы не оказалось ключа. То ли она потеряла его, то ли просто не взяла, но отпереть ворота было нечем. Тогда они отковырнули от края дороги булыжники и стали стучать по железным прутьям — сперва тихо, деликатно, потом изо всех сил. Дверь дворца распахнулась, и оттуда выскочила свора королевских борзых, а следом за ними ковылял сгорбленный старик. Псы, брызгая слюной, с громким лаем набросились на ворота, словно их специально учили пожирать незваных гостей живьем — они были худые и гибкие, как угри, с дико блуждающими глазами, острыми, как бритва, клыками.

— Смаккр! Локкр! Змёлр! — выкрикивала Королева, но они, видимо, не узнавали ее даже по голосу и продолжали, лязгая зубами, кидаться на ворота.

Королева просунула между прутьев руку, но тотчас же отдернула ее.

— Сидеть! Клауз! — приказала она. — Ирзр! Сидеть!

Старик был еще далеко, он шел не спеша, тяжело опираясь на палку, покрикивая на собак, но не сердито, а так, только для видимости. Наконец самая сообразительная или, может быть, самая боязливая из собак немного оробела, склонила голову набок и хотя лаяла так же громко, как остальные, но уже не ярилась. Королева это заметила.

— Змёлр! — крикнула она что было сил, ее лицо пылало гневом; тогда и вторая собака, наострив уши, видно, что-то почуяла. Обе вдруг зарычали, усмиря остальных, и скоро все псы притихли, начали по-щенячьи повизгивать и скулить, просовывая острые морды между прутьев, прося хозяйской ласки. Старик, поняв, в чем дело, заторопился. — Болван! — крикнула Королева, когда он подошел достаточно близко, чтобы слышать ее. — Так-то ты управляешься с нашими сторожевыми псами?

— О, госпожа, госпожа! — воскликнул привратник, ломая руки. По щекам его текли слезы.

— Смотри, на что я похожа! — сказала Королева, как

будто привратник и его собаки были виноваты в том, что на ней такое грязное и изодранное платье.— Смотри!— Она залилась слезами.— Тебе это даром не пройдет, злодей! Поплатишься ты у меня! Это так же верно, как то, что я здесь стою!

— О, госпожа, госпожа!— твердил привратник, словно не зная, какими еще словами выразить свои чувства, он продолжал в отчаянии ломать руки.

— Да отпирай, глупый ты старик! Не век же нам здесь торчать!

Влемк потрогал ее за плечо, прося успокоиться. Она сделала вид, что ничего не заметила.

Старик подскочил, едва не упав, к воротам, достал связку ключей, отпер замок и потянул за створ. Собаки, радостно тявкая, прыгали рядом.

— Болван,— сказала сквозь слезы Королева и сама взялась обеими руками за прутья.— Я вижу, ты уже совсем ничего не можешь.

В это мгновение лютого гнева, когда, казалось, ее волосы трещали от всполохов молний и встали дыбом, она выглядела точь-в-точь как на портрете, который Влемк назвал «Принцесса в гневе». Ее щеки так ярко пылали, что у Влемка перехватило дыхание.

Но он почти тотчас пришел в себя. Вытер о штаны руки и мрачно устался в землю. Он ясно сознавал: тут всему причиной — испуг Королевы, ее убеждение в том, что она стала жертвой измены, ибо даже собственные собаки набросились на нее, да и стыдно ей было появиться в доме в таком состоянии, будто она — уличная девка, которую переехала телега; да еще присутствие Влемка привело ее в замешательство — ведь он своими глазами видит: дворец, в котором был такой порядок даже во время тяжелой болезни ее отца, теперь, когда власть перешла к ней, пришел в полное запустение. Но и при всем при этом ее гнев казался столь же неоправданным, чрезмерным, в сущности безрассудным, как ее испуг при их появлении здесь, как ее желание зазвать его к себе во дворец, чтобы он оградил ее от осуждаю-

щих взоров прислуги. Погруженный в эти мысли, он невольно покачал головой.

Открыв, наконец, ворота, они прошли во дворец. С дворцовой прислугой она обошлась не менее грубо. Пока она кричала на слуг, Влемк ненадолго вышел — разглядеть фамильные портреты на стенах. Подошел к портрету Короля: вот каким он был или каким пожелал его видеть художник — высоким, стройным, но очень суровым. Пальцы руки, обхватившей набалдашник трости, были так крепко сжаты, что, казалось, сейчас он эту трость поднимет и замахнется на кого-нибудь, а шляпа была надвинута на лоб — не щегольски, но свирепо, — как будто чтобы защитить его голову от удара. Мать же Королевы, напротив, выглядела олицетворением доброты и нежности — нежности, граничащей со слабостью. И было совсем неудивительно узнать, что умерла она молодой, уже много лет назад.

Мимо него пробежала, закрыв руками заплаканное лицо, горничная Королевы.

«Как страшно», — подумал Влемк и покачал головой. Он заметил, что руки у Королевы дергаются, словно в конвульсиях. Ведь это ужасно! Просто трагедия! Но чем же он может помочь?

Теперь и другие слуги начали метаться, они плакали, ломали руки, рвали на себе волосы. Разделавшись с последним из них, она подошла к Влемку и сказала:

— Мерзавцы! Я почти решила отдать приказание их выпороть.

Влемк слушал, низко опустив голову.

— Не хочешь ли чаю? — спросила Королева.

«Как-нибудь в другой раз», — ответил жестами Влемк. — Вам отдохнуть надо».

Быстро, почти бессознательно она коснулась дрожащей рукой его плеча:

— Почему ты так скоро уходишь? Выпей хотя бы чашечку.

Влемк покачал головой, потом заколебался и кивнул.

— Чаю! — крикнула Королева, словно ожидая, что порт-

реты, висящие на стенах, тотчас соскочат в испуге на пол и кинутся исполнять ее приказание. Потом, уже тише, прибавила:— Вон туда.— И, показав рукой на дверь одной из комнат, пошла впереди него. По пути она не сказала ему ни слова, а когда открыла дверь, то, пропуская его в комнату, избегала смотреть ему прямо в лицо. Это могло показаться странным, если учесть, что она сама же чуть ли не умоляла его повременить с уходом. Едва шагнув через порог, Влемк остановился в полной растерянности и снова вытер руки о штаны; в комнате стояли кресла и столики, но это была спальня Королевы; он же в последнее время становился человеком строгих правил и приличий. Пожалуй, это было влияние зажиточной публики, составлявшей основную часть его клиентуры, или его собственной — более мягкой, приятной для глаз — живописи, а может быть, на него действовало странное бормотание, которое, как ему казалось, издают когда-то подаренные им зловещие коробки, что были небрежно разбросаны теперь по комнате Королевы. Так или иначе, Влемку-живописцу стало ужасно не по себе, когда он очутился там, где Королева спит и где все должно быть скрыто от посторонних глаз; если бы у него хватило духу, он убежал бы отсюда без оглядки. Но отступить было уже поздно, ибо в комнату, всхлипывая и пряча лицо, вошла служанка с чайным подносом.

— На стол,— приказала Королева. Когда сервировка стола была закончена, она отослала служанку прочь и предложила Влемку сесть. Но едва он приблизился к столу, как услышал голос говорящей картины:

— Влемк! Влемк!

Влемк заулыбался и радостно всплеснул руками, точно старик, встретивший родного сына.

«Мой маленький шедевр!»— беззвучно сказал он, совершенно забыв, что по воле этого шедевра и стал немым.

— О, Влемк! Возьми меня домой, умоляю! Она жестокая, я умерла бы от горя, если бы ты сделал меня из материала менее прочного, чем краска!

Королева оцепенела от ярости и казалась злее, чем Влемк

представлял себе, когда писал ее портреты. Она просто задышалась от злости, а лицо ее посерело, как подтаявший снег.

— Да, да, возьми ее! Пожалуйста!— крикнула она, придя в себя.— Она только и делает, что скулит, поносит меня и жалуется! Бери хоть сейчас, избавь меня от нее!

— Не могу,— развел руками Влемк.— Эта картина — все равно что вы сами, она настолько реальна, что даже говорить умеет. С собой-то вы должны ужиться!

Но Королева была слишком разгневана, чтобы внимать голосу рассудка. Ударив ладонью по столу так, что шкатулка подпрыгнула, она закричала:

— Убери ее! Возьми обратно! Не хочу ее видеть!

«Хорошо,— смиренно кивнул Влемк; потом вскинул голову с видом мыслителя, которого осенила идея, и жестами объяснил:— Я, пожалуй, немного подправлю портрет, и тогда он вам больше понравится».

— Хоть пауком меня изобрази, мне все равно. Только убери с моих глаз.

— А я не хочу, чтобы меня подправляли,— пропищала картина.

— Да замолчишь ли ты наконец?!— крикнула Королева и замахнулась на шкатулку обоими кулаками сразу.

Но Влемк опередил ее и сунул шкатулку в карман. Спустя немного времени он уже ступал натруженными ногами по дороге в город.

12

Долго и упорно размышлял Влемк-живописец об идее, осенившей его в спальне Королевы. Временами она представлялась ему полнейшим бредом, и тогда он хватался руками за голову и в ужасе шептал: «Горе мне! Что со мной случилось?» Иногда же он считал ее верхом великодушия, совершенно невыносимого для простого смертного, и тогда он напускал на себя такую важность, что становился просто невыносимым для окружающих. Но чаще всего он колебался,

не зная, на что решиться, и только хрустел пальцами и, крепко зажмурив глаза и прикусив губу, раскачивался взад и вперед на табурете — подобно женщине, которая никак не может унять свое плачущее дитя. Идея, осенившая его в спальне Королевы, заключалась вот в чем: может быть, он подправит в некоторых местах портрет, устранив намеки на несовершенство ее характера, с тем чтобы получилась уже не близкая к оригиналу миниатюра, но некий образ — какой Королева могла бы быть, если бы не имела никаких недостатков. И тогда, думал он, портрет ей безусловно понравится — как же иначе? Поскольку тогда (но — ах! — это-то и было самое трудное!), тогда портрет перестанет говорить Королеве дерзости; да и вообще замолчит, раз уже не будет точной копией Королевы. Однако, к сожалению, тогда исчезнет главное достоинство картины, неоспоримое свидетельство того, что еще ни одному портретисту на свете не удавалось достичь такого сходства с оригиналом в миниатюре на шкапулке, — факт, с точки зрения Влемка, немаловажный, ибо вряд ли он мог утверждать, что тщеславие художника не играло в его творчестве никакой роли, — и тогда, увы, рухнут надежды Влемка на обретение дара речи — ведь лишился-то он его из-за проклятия говорящей картины, и, следовательно, сама картина — и только она — должна снять это проклятие.

Мысль о том, что ему суждено остаться на всю жизнь немым, отнюдь Влемка не радовала, ибо, хотя он и успел некоторым образом свыкнуться со своим положением, которое к тому же помогло ему узнать многие тайны окружающих его людей и тем самым неизмеримо расширить свои познания жизни, в немалой степени способствуя его творчеству, Влемк с присущим ему, как и всякому живому существу, оптимизмом (с каким бы недоверием или — в минуту подавленности — насмешкой ни относились к этому люди) не переставал надеяться, что полоса невезения пройдет когда-нибудь и говорящий портрет смилостивится над ним. Сидя в своей многолюдной мастерской, где его подмастерья пилили, стучали молотками, красили или сметали

опилки, мыли кисти и разговаривали с клиентами, Влемк слушал щебетание стоявшего перед ним миниатюрного портрета Королевы о том, как жилось ему во дворце, как умер Король и как Королева покрывала портрет одеялом, — а сам, ломая руки, покачиваясь на табурете, все думал и думал о своей неотвязной идее. Погруженный в эти мысли, он едва поднимал глаза, когда с ним кто-нибудь заговаривал, на вопросы отвечал неопределенно и при этом так скорбно вздыхал, что люди в страхе отступали.

«Если я и вправду намерен это сделать, — размышлял он, — то надо приниматься за работу». Но дни шли за днями, к работе он не приступал и только сидел, раскачиваясь на табурете и вздыхая, без конца взвешивая доводы «за» и «против». Он вспомнил про портрет кабатчицы и про то, как этот портрет изменил ее жизнь. Но, с другой стороны, вспомнил он и случай с пчелой, когда он, желая уберечь Королеву, причинил ей только вред. Как ни досадно ему было слушать рассуждения монаха, он не мог не видеть в них правды: много ли проку от любви к материальному миру — ко всем этим цветникам и королевам, к кабатчицам и несчастным маньякам? Что с ними будет через тысячу лет? Запечатлеть их облик для грядущих поколений — это одно, но впадать из-за них в отчаяние... «Нет, нет! — восклицал Влемк. — Абсурд!» Да и с чувствами говорящей шкатулки надо посчитаться. Имеет ли он право лишать свое творение способности говорить? Разве не все живое священо? Разве истинное произведение искусства не важнее его создателя? И разве не правда, что произведение искусства, как только оно закончено (если не раньше), перестает принадлежать отдельному человеку, то есть принадлежит уже всему человечеству? Влемку теперь нелегко стало смотреть говорящей картине в глаза. Он видел, что та наблюдает за ним, точно ястреб, с тревогой и подозрением. «Как это странно, — подумал он. — Самый благородный, самый бескорыстный поступок в моей жизни может оказаться, если взглянуть на него с другой стороны, отвратительным и бесчеловечным!» Влемк сжал кулаки. Разумеется, он должен был это предви-

деть, еще когда картина только открыла рот. Она — противоестественное существо, она — от лукавого! В самом деле, разве не она околдовала его? Не она ли ни за что не желает исправить свою подлую несправедливость? И все болтает и болтает, не давая ему сделать и знака рукой? Ну что ж, настал конец ее подлости, думал Влемк, злобно усмехаясь.

Но не успевал он принять это разумное решение, как картина снова заговаривала, очаровывая его своей кажущейся детской наивностью и заставляя мучиться угрызениями совести. Ужас был в том, что он всем сердцем любил эту дерзкую неисправимую картинку и, следовательно, и самое Королеву, поскольку они друг от друга не отличались; но об этом он не хотел и думать. Вопреки здравому смыслу и несмотря на то, что она упорно отказывалась снять с него проклятие, он скорее бы умер, чем изменил бы на ее загадочном лице хотя бы один штрих.

— О чем ты задумался, Влемк?— спрашивала картина, пряча за улыбкой страх.

Влемк виновато пожимал плечами, ловя себя на одной и той же постыдной мысли: если правильно повести дело, то можно будет, поскольку она радуется возвращению домой, уговорить ее снять с него проклятие, а уж потом, возможно, переписать ее. Но, вспомнив, что это было бы предательством, он моментально мрачнел, становился раздражительным и несносным, и тогда картина принимала обиженный вид, начинала капризничать и наконец замолкала. Дни шли за днями, а он был так же далек от окончательного решения, как и вначале.

Однажды вечером, когда Влемк был особенно недоволен собой, он вдруг решительно встал, надел шляпу, пальто и отправился в кабак. Завсегдатаи, по обыкновению, были уже на месте, кабатчица ходила веселая, хвасталась обручальным кольцом — скоро она выходит замуж. Будущий убийца, бывший поэт и бывший музыкант сидели в своем обычном углу и, точно хорьки, попавшие в курятник, бросали на всех плотоядные взгляды. Влемк-живописец постоял немного в раздумье, сунув за подтяжки большие пальцы, потом по-

дошел к ним. Сев за столик, он жестом подозвал кабатчицу:

«Вина, моя дорогая, лучшего вина, какое здесь только есть! И платить буду сам, потому что шкатулки мои пошли в ход. Довольно уж мне пользоваться твоими подаваниями.— Убедившись в том, что она все поняла, и отвергнув ее возражения (она заявила, что денег с него не возьмет, потому что сама у него в долгу), он добавил:— И моим старым друзьям — тоже лучшего вина».

Кабатчица сказала:

— Но у них и так уже лучшее наше вино, столько вина, что всего им не выпить. Да и не заслужили они столько, ей-богу. Смотри!

Влемк повернул голову: и в самом деле, перед каждым из них стояла бутылка дорогого вина, еще и наполовину невыпитая. «Ну-ну»,— подумал он и заказал вино только для себя. Когда он жестами спросил друзей, откуда взялось такое богатство, те долго переглядывались, язвительно усмехаясь и дрожа, точно листья на сильном ветру, потом поэт сказал:

— Будто ты, старая лиса, не знаешь! Но если думаешь, что нам стыдно, то глубоко ошибаешься. Мы ведь тоже умеем опошлять искусство ради того, чтобы насытить свою голодную утробу.

Влемк, задетый за живое, обвел всю компанию взглядом и развел руками, показывая, что не понял.

— А!— воскликнул бывший поэт, обращаясь к бывшему скрипачу.— И любит этот бывший живописец поиздеваться.— Лицо его передернулось, на виске вздулась вена. Очкарик, бывший скрипач, хрипло захохотал и подмигнул будущему убийце.

Бывший поэт погрозил Влемку пальцем, едва не касаясь его носа:

— Ты пишешь дурацкие красивенькие картинки, именно такие, какие эти кретины, твои клиенты, писали бы сами, будь они поумнее. И правильно делаешь. Почему люди одаренные должны голодать, а всякая мразь будет кушать картофель с подливкой?— Он подмигнул бывшему скрипачу,

а тот подмигнул будущему убийце. Бывший поэт приблизил лицо, обросшее соломенными волосами, к лицу Влемка и с вызовом сказал:— А я вот вирши пишу. По заказу фирмы, которая делает картонные коробки. «Тревоги, дружище? Совсем не беда! Берите коробку — кладите туда!»

— А я к ним музыку сочиняю,— сообщил бывший скрипач.— На темы знаменитых симфоний. Теперь как услышишь произведение какого-нибудь прославленного композитора, так сразу и вспомнишь мою песенку про картонные коробки.

Влемк с грустью перевел взгляд на убийцу.

Убийца усмехнулся:

— А я ломаю деревянные шкатулки, готовлю материал для фосфорных спичек, которые потом продают в картонных коробках. Эти спички здорово горят. И они удобней кремня. Иногда дети поджигают ими гостиницы. Ха-ха!

Представив себе, как убийца крушит деревянные шкатулки, Влемк до того огорчился, что ему расхотелось и пить. На него будто навалили огромную глыбу снега. «Так вот к чему в конце концов все сводится,— горько размышлял он, разглядывая грязные ногти на своих пальцах, держащих ножку бокала.— Где наши юные надежды, наши высокие идеалы?!»

Но хотя ему было немного досадно и даже больше чем досадно — у него сердце кровью обливалось,— что проку было бранить своих товарищей по искусству? Голод и нищета — самые сильные средства убеждения, как и полицейский, что просиживал все вечера в кабаке, попыхивая трубкой и то и дело поглядывая на убийцу. И потом — ведь сам Влемк невольно способствовал их падению. Во времена своего «цинического периода» в искусстве он с удовольствием и волнением рассказывал о том, как писал на шкатулках «Реальные картины» — те самые злые портреты Королевы. Когда же он стал писать красивые цветы, кошек и собак, рассказывать ему стало нечего. Да и теперь — тоже. Еще пример того, подумал он, когда дух настолько подавлен материей, что уже не осознает самого себя.

«Вот и отлично»,— сказал себе Влемк и, раскланявшись, пожелав друзьям доброй ночи, медленно встал, заткнул бутылку пробкой, сунул ее себе в карман и пошел вверх по улице домой, затем вверх по лестнице — в мастерскую и раскрыл ящик с красками.

— Что ты делаешь?— закричала картина, увидев занесенную над ней кисть.

Он хотел было сказать: «Надеюсь сделать тебя краше». Но картину охватила такая паника, ее маленькая грудь так высоко вздымалась, а глаза так широко раскрылись, что Влемк махнул рукой и только улыбнулся, стараясь ее подбодрить, закусил нижнюю губу и начал писать. Он писал, не останавливаясь, всю неделю, и, когда закончил, портрет выглядел — так, по крайней мере, казалось Влемку — совсем как Королева, только без изъянов. Почти всякий, кто смотрел на это лицо, находил его самым красивым — просто ангельским ликом — и таким близким к натуре или, во всяком случае, смутно угадываемым ее возможностям, что казалось, можно уловить его дыхание. Но говорить картина уже не могла. Конечно, не все были убеждены в ее совершенстве. Когда Влемк показывал этот портрет своим подмастерьям, те хмурились и норовили отмолчаться, но в конце концов один из них, толстяк, сказал:

— Да вроде бы ничего и не изменилось.

Влемк неистово замахал руками, как бы говоря: «Я, Влемк, целую неделю писал, а ты говоришь — ничего не изменилось?»

Толстяк опустил голову.

— Я сказал «вроде бы»,— оправдывался он.

«Ничего-то они не понимают»,— огорчился Влемк.

Хотя картина и смотрела на него по-прежнему укоризненно, но стала, подобно Влемку, нема как могила.

Объяснялось ли это малодушием или другими причинами, но только Влемку очень не хотелось нести картину самому —

да и не было в этом смысла, уверял он себя; Королеве вовсе незачем с ним и разговаривать. И все же, когда прошла неделя с тех пор, как он отправил картину со своим младшим подмастерьем, а вестей из дворца все не было, он втайне забеспокоился. Но весть все же пришла, ее привез сам кучер. Он был в цилиндре, в блестящих сапогах и вручил Влемку небольшую белую карточку, на которой неуверенной рукой Королевы было написано, что она просит его срочно прибыть во дворец.

Влемк нахмурился и испытующе посмотрел на кучера. Кучер стоял у окна, а за окном медленно ползли низкие свинцовые тучи. Лицо кучера ничего не выражало, он, сложив руки, вперил в пол торжественный — почти скорбный, как показалось Влемку, — взгляд. Живописец торопливо повесил халат, надел свой черный выходной пиджак, отдал подмастерьям распоряжения на день и направился вместе с кучером к карете.

Они поднялись на холм. Ворота дворца были распахнуты настежь, собаки неподвижно, как околдованные, лежали у дороги. Привратник не только не задержал кареты, но почтительно отступил назад и снял шляпу. А увидев в окне кареты Влемка, проговорил:

— Дай бог вам здоровья, господин.

Влемк помрачнел еще больше.

У высокой арки подъезда карета резко остановилась, и кучер, забыв про свою горделивую осанку, почти на ходу соскочил с козел и открыл дверцу. Когда он помогал Влемку вылезать, на его лице была написана такая глубокая торжественность, что Влемк, поколебавшись, сощурил глаза и рывком приблизил свое бородатое лицо к лицу кучера, чтобы разглядеть его; но на лице этого человека нельзя было прочесть ничего, и Влемк с чувством нарастающей тревоги устремился вверх по дворцовой лестнице.

Здесь было все не так, как прежде. Дворцовые покои настолько переменялись, что Влемк остановился на полпути и сорвал с головы шляпу, чтобы легче было обдумать, что же произошло. Все стены были до блеска вымыты и стали по-

хожи на только что отшлифованный мрамор; повсюду, куда ни бросишь взгляд, стояли свежие цветы, они сверкали и горели; обрамленные папоротниками, увитые белыми лентами, они устремлялись своими стеблями и соцветиями к застекленному потолку, и от их изобилия человек начинал сам себе казаться божьей коровкой на дне цветочного ящика. Еще более зловещим было поведение слуг: одни из них беззвучными ласточками сновали туда и обратно по залу, другие молчаливо застыли у дверей. Тут никто не улыбался, даже внуки дворецкого, игравшие у фонтана. «Скверно»,— подумал Влемк. Он стоял ссутулив плечи, в волнении потирая руки и кривя подергивавшиеся губы.

Вдруг дверь опочивальни Королевы распахнулась и оттуда, к изумлению Влемка, стремительно вышел усатый Принц.

— Вы!— крикнул Принц. Лицо его искажилось, в нем сквозило такое смятение, что нельзя было определить, что испытывает Принц, гнев или надежду: теперь, когда живописец здесь, все наконец-то уладится.

Влемк поклонился и ткнул пальцем себе в лоб, показывая, что ничего не понимает.

— Пошли скорее,— сказал Принц.— Она, как проснулась, все про вас спрашивает.— Даже теперь выражения его лица нельзя было разобрать: в нем словно боролись противоречивые чувства. Он схватил Влемка за руку, но Влемк стоял как вкопанный, склонив голову набок, с протянутыми по-нищенски руками. Наконец Принц понял:— Вам ничего не сказали? Королева больна!— Но так как Влемк все еще ждал, Принц продолжал:— Никто, никто не может понять, что с ней. Я, как только мне сообщили, примчался из соседнего королевства.— Его лицо посуровело, и он еще крепче ухватился за свою резную трость.— Нет, нет! Уверяю вас, я переверну все вверх дном, если понадобится...— Он провел рукавом по вспотевшему лбу, упрямо насупился и стал похож на бодливого козла.

При вести о том, что Королева серьезно больна, у Влемка подкосились ноги, и он, наверное, упал бы, если бы не ухватился обеими руками за Принца.

— Я полагаю, что это все из-за портрета,— сказал Принц. И еще сильнее вцепился в трость. Глаза его загорелись, но тут же погасли, исполнившись сомнения и страха.— Впрочем, не знаю. Может, как раз наоборот,— сказал он и отвел взгляд в сторону.

Он рассеянно озирает зал и будто в надежде, что именно Влемк может разрешить его сомнения, энергично дергал его за рукав и упорно тянул к двери; в конце концов художник сдался и последовал за ним.

Как только Принц и живописец вошли, служанки и доктора, стоявшие у кровати с балдахинном, подняли полог и исчезли точно тени. В спальне было тоже полно цветов, особенно около постели. Лицо Королевы белело на подушке, как белеет на темно-красном бархате жемчуг, а в ее до синевы бледных руках, лежавших поверх одеяла, была шкатулка с портретом, исправленным Влемком. Принц, не в силах, видимо, сдержать свой порыв, опередил Влемка и, оказавшись у постели первым, быстро нагнулся и поцеловал Королеву в лоб; потом вспыхнул и отошел в сторону, знаками умоляя Влемка помочь. Убедившись, что Влемк на него не смотрит, он отвернулся и закрыл лицо руками, как бы стараясь заглушить стон.

Влемк не без робости подошел к Королеве так близко, что мог коснуться рукой ее бледной щеки. Потом заложил руку за спину — теперь он обеими руками держался за шляпу и неотрывно глядел вниз, на Королеву. Спустя мгновение веки ее затрепетали, и она открыла глаза.

— Влемк,— проговорила она тихим голосом, исполненным неизбывной печали и такого нежного чувства, какого еще ни разу к нему не проявляла.

Глаза Влемка наполнились слезами. Он кивнул, шмыгнув носом и слегка поклонился, давая понять, что все слышит.

Она попыталась заговорить снова, однако, видимо, была слишком слаба; но потом, собравшись с силами, сказала:

— Спасибо, что пришел. Я боялась умереть, не повидав тебя, я хотела успокоить твою душу.

Услышав эти слова, Влемк вытаращил глаза.

— Вздор!— воскликнул он. Видя, что она как будто не замечает, как он заговорил,— заговорил своим голосом!— он взял ее руки в свои.

И тут Принц сердито встал с ним рядом.

— Вы не умрете!— воскликнул он, сверкая глазами. Потом повернулся и яростно глянул на Влемка. Но Влемк увидел сквозь слезы лишь расплывчатое розоватое пятно. Снова оборотившись к Королеве, Принц продолжал:— Вам уже лучше, моя девочка!

Его озабоченный и в то же время виноватый вид показался Королеве трогательным и забавным, но она постаралась не выдать своих чувств.

— Нет, нет, милый Принц,— возразила она и вздохнула, глядя на его дрогнувшее лицо. Он стиснул зубы, по его румяным щекам текли слезы, которые (она это знала) были слезами любви к ней, любви невинной, чистосердечной — хотя кроме любви было здесь и нечто другое (она это тоже знала), что он скрывает,— и ей казалось, будто она совершает преступление, заставляя его страдать, потому что недостойна его доброты. Какого же еще искупления можно ожидать от нее, разве смерть ее не будет искуплением грехов и преступлений? Но как они поникли, как униженно, словно просители, ломают руки! И ей это нравится, чего уж тут спорить. Она чувствовала себя истинной королевой, и это чувство искушало ее промолчать,— она не пожалеет их, не избавит от страданий; но потом на нее навалилась какая-то тяжесть — почти ощущение старости, подумала она, или, во всяком случае, праведности,— и она почувствовала, что не может умереть вот так, не объяснившись до конца, чтобы все стало просто и ясно, чисто и открыто, как свет солнца, а дальше уж — пусть как хотят. Потому что умереть она должна; душой она к этому готова.

Влемк-живописец беспокойно переминался с ноги на ногу. Слова Королевы «успокоить твою душу» вызвали у него чувство тревоги. Случилось то, чего он так опасался. Это ведь из-за него она дошла до такого плачевного состояния; она же, зная, что он рано или поздно поймет, что натворил, жаж-

дала снять с него всякую вину, вознестись над суетой к сладостной мудрости смерти. Она ласково улыбалась, жмурясь, как старая кошка. Влемк, взволнованный, перевел взгляд с лица Королевы на заплаканное, красное от гнева лицо Принца. Но как мучительно он ни думал, он все равно не мог придумать средства, которое помешало бы ей сделать то, что она решила сделать. Он видел: силы ее на исходе. Шкатулка выпала у нее из рук и лежала на одеяле.

— Влемк,— сказала Королева слабеющим голосом.— Я была не права, сказав тебе, что тот, первый портрет на меня не похож. Когда я увидела новый портрет, который ты довел до идеала, мне стало совершенно ясно, что в действительности я совсем не такая, какой себя воображала, что становлюсь все больше и больше похожей на те, другие портреты, которые ты писал.

— Новый портрет?— спросил Принц.

Не отвечая на его вопрос, Королева продолжала:

— Несоответствие между тем, что я собой представляю, и тем, какой мне хотелось бы быть, навело меня на мысль, что единственной радостью такому ничтожеству, как я, может служить пример древних философов, которые по крайней мере «познали самих себя».— Она опустила бледные веки и залилась слезами. Потом, уняв дрожь в голосе, сказала:— Поэтому я и не хочу больше жить, поэтому и довела себя до такого жалкого состояния. Я не хочу, чтобы ты, когда меня не будет на свете, мучился угрызениями совести. Надеюсь, и мой милый друг Принц...

Королеву прервали драматические обстоятельства. Ни она, ни Влемк не заметили, что, когда она упомянула говорящий портрет, Принц в ужасе широко открыл глаза, словно медленно прозревая, в каком-то безотчетном порыве нагнулся к постели, схватил шкатулку, подбежал к камину и бросил ее в огонь. Там он и остался стоять — с суровым и более, чем обычно, виноватым видом. И тогда Королеве показалось — отчасти оттого, что ее оборвали на полуслове,— будто она и сама вся в огне; в тот же миг из камина донеслись вопли боли и ужаса:

— Влэмк! Скажи ей, что это не моя вина! О, Мастер, милый Мастер, *спаси* меня!

При этих словах проклятие было снято — так они все поняли,— и Влэмк, бросившись к камину, крикнул через плечо:

— Вы ошибаетесь, Королева! Спасти картину — значит спасти и вас!— Его голос гремел, как раскаты грома.— Она — не идеал, не иллюзия, она — это и есть вы! Иначе как бы она смогла заговорить?

Принц ничего этого не слышал: в тот самый миг, когда в камине раздались крики, он круто повернулся и не раздумывая — Влэмк еще не добежал трех-четырёх шагов — вытащил шкатулку из огня, побрызгал на нее водой и тем спас портрет от гибели.

— Неужели это возможно?— воскликнула Королева, покраснев от удовольствия и смущения.— Неужели я и вправду стала точно такой, как портрет?

— Влэмк,— сказала картина, откашливаясь и часто мигая, чтобы стряхнуть с глаз копоть,— надеюсь, ты не думаешь, что...

Осененный догадкой, Влэмк так ударил себя по лбу, что едва устоял на ногах.

— Плутовка! И все это время ты могла говорить, но скрывала!

— Могла?— удивилась картина и опасно взглянула сначала на Влэмка, потом на Королеву.— Вы не поверите, но...

— Конечно, не поверим,— перебила ее Королева. Всего минуту назад она была бледна, как привидение, а теперь вдруг порозовела, поздоровела, ожила.— Бессовестная лисичка! Притворялась немой и, чтоб досадить бедному Влэмку, не хотела вернуть ему, несмотря на его отчаяние, дар речи, пока не оказалась на краю гибели. Какое ужасное, ужасное создание!

— Ужасное?— переспросила картина и залилась слезами.— Не забывай — мы с тобой одно и то же! Я потому и

умею говорить, что совершенно похожа на тебя! Кто же тогда — ужасное создание?

Королева вздрогнула и прижала руку к груди. Лицо ее сначала покраснело от гнева, потом побледнело. Поняв все до конца, она была так потрясена, что глаза ее закрылись и она едва не лишилась чувств.

Принц, что-то обдумывая, в волнении дергал себя за усы и помахивал тростью.

— Погодите,— сказал он.— Если я правильно уяснил себе эту нелепицу, вы...— указав пальцем на Влемка, он устремил на него неприязненный взгляд,— вы подправили картину, чтобы устранить маленькие несовершенства, да?

— Да,— ответил Влемк и смутился.— По крайней мере, я этого хотел.

Принц задумался.

— Если бы вы этого достигли, а Королева не смогла сравняться с картиной, то вы на всю жизнь остались бы немым?

Королева и портрет посмотрели на Влемка и в смущении отвели глаза.

— Если бы достиг, то — да.— Влемк нахмурился и почесал затылок.— Но картине удалось каким-то образом перехитрить меня и сохранить свое могущество. Это тайна.

Картина явно была довольна, Королева тоже украдкой улыбалась.

— Полно, такая ли уж это тайна?— засмеялся Принц. Он вдруг повеселел, словно с него сняли какой-то мистический груз. На его лице не осталось и следа прежней тревоги и гнева. Он выпрямился, стал гораздо выше ростом и уже не сжимал в руке, как дубинку, свою трость.— Конечно, мой дорогой Влемк,— продолжал он, балансируя тростью на пальце,— то, что вы написали, вам лишь казалось идеалом, в действительности же у вас получилось опять то же самое.

— Должно быть, так оно и есть.— Глаза Влемка расширились от удивления. Он взглянул на Королеву и на шкатулку — обе они почему-то плакали.— Что это вы? Я, может, сказал что-то не то?

— Ты любил меня!— воскликнули в один голос Короле-

ва и шкатулка.— Как ты мог?— Они плакали навзрыд и уже не могли выговорить ни слова.

Влемк, сбитый с толку, вопросительно посмотрел на Принца.

Принц сделал неопределенный жест рукой и улыбнулся.

— Да поможет вам бог, Влемк. Для большинства мужчин достаточно и одного непредсказуемого существа.— Он подбросил трость, и она, перевернувшись в воздухе, упала ему на палец и закачалась снова.— Ну что ж? Раз все теперь уладилось, поеду-ка я к своей жене.

И он повернулся, чтобы уйти.

— *К жене?*— воскликнули разом Королева и картина.

Принц покраснел, а его трость потеряла равновесие. Он поймал ее на лету.

— Не мог же я объявить вам об этом раньше. Вы были больны, чуть ли не умирали, насколько я мог судить...

— Вы женились?— спросил Влемк.

— Да, две недели назад. Династический брак, понимаете? Но когда я узнал, что Королева...

— Правильно сделали,— перебил его Влемк и неожиданно засмеялся.— То-то я замечал, что вы вели себя как-то странно!

Ни картина, ни Королева даже не улыбнулись.

— Ну конечно,— с сердцем сказала Королева и покачала головой.— Тебе-то смешно. А если бы я выздоровела из-за того, что верила в его любовь, а потом бы все выяснилось? Что бы ты ни говорил, но я считаю, что мы живем в жестоком, жестоком мире, полном фальши и обмана.

— Правда, все правда,— сказал Влемк, сдерживая улыбку.— И все-таки я вижу на ваших щеках румянец. Так или иначе, вы выпутались из беды!

Втайне Королева это тоже заметила. Сказать по правде, ей было так весело, что она могла бы сейчас соскочить с кровати и пуститься танцевать. Особенное удовольствие ей доставило то, что отныне Принц — всего лишь добрый друг, прекрасный партнер по верховой езде и больше уже ничего ее с ним не связывает. Но вот беда: вместе с Принцем сейчас

уйдет и Влемк, а было так много важных дел, которые они еще не решили. Мысль эта словно ножом полоснула ее по сердцу; она бы с радостью рассталась с жизнью, отдала бы тело и душу, чтобы окутать его теплом, чтобы стать солнечным зайчиком на его голове, — лишь бы быть с ним рядом. Но она не могла придумать иного средства удержать его, кроме упреков и горьких сегований.

— Ну что ж, — сказал Влемк, он мял в пальцах шляпу и украдкой косился на цветы у двери.

— Да, конечно, — с обидой сказала Королева, — обман и фальшь для тебя дело привычное. Все вы, художники, одинаковы.

Влемк посмотрел на нее, потом на свои ботинки и вздохнул.

Ее глаза блеснули коварством. Ей пришло в голову, что если бы она смогла околдовать его, то он сам бы придумал какой-нибудь способ оставаться подле нее до тех пор, пока она не освободит его от чар, — а уж этого-то она никогда бы не сделала.

— Да, уже поздно, — сказал Принц.

Влемк-живописец кивнул.

Шкатулка все это время, поджав губы, слушала и наблюдала. Вдруг она выпалила:

— Влемк, а почему бы тебе не жениться на Королеве и не переселиться к нам?

— Правда, почему? — не задумываясь, мгновенно подхватила Королева и в тот же миг почувствовала, что вся зарделась, кровь бросилась ей в лицо.

— Жениться? — переспросил Влемк и поспешно добавил: — Да я и сам об этом подумывал.

— Чудесно! — воскликнул Принц. — Будем ходить друг к другу в гости и ездить верхом!

Влемк растерянно улыбнулся. При одной мысли о верховой езде он готов был упасть в обморок от страха.

— Ты хочешь сказать, что мы с тобой... — пробормотала Королева. Лицо ее сделалось сначала мертвенно-бледным, потом пунцовым, потом белым как мел.

— Если вам угодно,— сказал Влемк.

— О, Влемк, Влемк, прости меня за то проклятие!— взмолилась картина.— Это было всего лишь... Я хочу сказать...— Она вдруг стала говорить бессвязно.— Мужчине нужна опора — женщина то есть. Если она целиком отдает себя мужчине, которого любит...

Влемк кивнул:

— Понимаю.

В голову ему лезли несуразные мысли о живописи, риске и соблазнах, с которыми порой сталкивается человек.

— Но возможно ли это?— спросила Королева.— Мы ведь не одного круга: ты расписываешь коробки, а я — Королева.

— Брак, конечно, не совсем обычный,— ответил Влемк.— Найдутся недоброжелатели, в этом нет никакого сомнения.

— А ты не станешь больше в канавах валяться и все такое?— спросила Королева.

— Думаю, нет. Хотя жизнь всегда полна неожиданностей.

Королева, забыв о своих страхах, с радостной улыбкой протянула к нему руки. Он улыбнулся в ответ, наклонился, и они легко, по-детски обнялись.

Служанки, заметив перемену, пробрались в комнату, чтобы узнать, что происходит. Принц, поняв, что он больше не нужен, сказал:

— Ну, мне пора.— Однако он не сдвинулся с места.

— Если угодно, останьтесь поужинать,— пригласила его Королева.

Влемк уверенно, уже по-хозяйски, протянул Принцу руку. Тот посмотрел сначала на него, потом на Королеву. Он долго стоял, глядя в одну точку, и все обдумывал; потом лицо его оживилось.

— Нет,— сказал он и решительно взялся за трость.— Но на свадьбе буду. А сейчас — домой, к жене.

— И мне надо домой,— сказал Влемк.— Займусь приготовлениями.

Теперь уже всей прислуге было ясно, что дело пошло на лад. Служанки стали целовать Влемку и Принцу руки и бла-

годарить обоих за то, что они сделали. Влемк, сияя, кланялся, кивал головой и бросал направо и налево: «Не за что! Не за что!» Так, сопровождаемый служанками до самой двери, он помахал на прощанье рукой, а Королева, взяв шкатулку, вышла следом за ним из спальни. В высокой передней ждал элегантный, как никогда, придворный кучер, по бокам от него стояли лакеи с охапками цветов для Влемка и Принца.

— Возвращайся скорее! — крикнули в один голос Королева и картина.

Влемк помахал им шляпой.

— Ну вот, — сказал кучер, кланяясь и пропуская Влемка и Принца вперед, — все обошлось лучше, чем я ожидал.

— В самом деле, — согласился Влемк. — Наконец-то дела пошли на лад. Приятно, когда все становится на место.

Они спустились к выходу из дворца, и кучер рванулся вперед, чтобы открыть дверь. Когда они шагнули за порог, на них резко дунуло холодным зимним ветром; юбки служанок надулись, как паруса, над землей крутились снежные вихри.

— О! — удивленно воскликнули Королева и картина.

— Зима! — закричал Принц. Он был так поражен, что почти не верил своим глазам. Цветы, которые несли лакеи, вдруг затрепетали и начали никнуть, а листья цветов, оставшихся во дворце, дико заметались из стороны в сторону.

— Зима, — изумленно откликнулся Влемк — так тихо, что его не слышал никто, кроме кучера.

Чтобы добраться по снегу до черной кожаной с позолотой кареты, им пришлось высоко поднимать ноги. Экипаж Принца стоял немного поодаль. Со всех сторон их обступал прекрасный белый мир, снег, казалось, излучал собственный свет. А прямо над головой — или так представлялось Влемку, который стоял придерживая одной рукой бороду, а другую засунув в карман, — белело небо, такое яркое, ослепительное, что на него больно было смотреть, точно с земли сдернули покрывало и скоро на ней, как это обыкновенно бывает, все преобразится.

Возвращайся

Сорок пять лет назад, когда Ремсен в штате Нью-Йорк назывался Джек и почти все, кто там жил, были выходцами из Уэльса, мой дядя или, вернее, двоюродный дедушка со стороны матери Э. Л. Хьюз владел недалеко от Ремсена мельницей. Сейчас его имя вряд ли помнят в городе, да и от мельницы остались лишь развалины, и, чтобы найти ее теперь среди домов и деревьев, нужно хорошо знать, где она находилась. В другой части города раскинулся Агрокомплекс, и, хотя ему от силы лет пятнадцать, может быть двадцать, он уже выглядит обветшалым.

Теперь я редко бываю в этих местах, но часто приезжал сюда ребенком, когда жил с родителями на ферме в окрестностях Батавии. Мой дедушка Хьюз, которого я никогда не видел и о существовании которого знал лишь по ящичку плотницких инструментов, оставленных им отцу, и несколькими маленьким, ободранным книжкам валлийских церковных гимнов, подаренным им маме, первым обосновался в селении возле Ремсена или, скорее, на его окраине, и в течение многих лет, даже после смерти дядюшки Эда, мои родители совершали туда паломничество, чтобы повидаться со старыми друзьями, принять участие в праздниках песни «Симанфа Гану», посетить белую деревянную церковь, которая называлась «Капел Укка», и посмотреть, как постепенно разрушается мельница.

В то время, когда мой дед и его братья переселились в Америку, на Ремсен в Уэльсе смотрели как на своего рода Новый Иерусалим — манящую надеждой обитель мира и

процветания. Рассказывали, как один валлиец, попав в Нью-Йорк, выпучил на небоскребы глаза и воскликнул: «Если это Нью-Йорк, то каким же должен быть Ремсен!»

А Ремсен в те дни был маленьким сонным селением на берегу небольшой речки. Вся страна была охвачена депрессией, но в Ремсене вы не нашли бы ее следов. В глубине улиц, обсаженных деревьями, стояли высокие дома с небольшими огородами и кустами роз, к домам вели аллеи, увитые диким виноградом, и возле каждого дома сверкал квадратный автомобиль, чаще всего «форд», а иногда и просто коляски. (У дяди Эда, одного из самых богатых людей Ремсена, был черно-зеленый «бьюик».) Оранжевого цвета повозки, запряженные лошадьми, еще развозили молоко в граненых стеклянных бутылках, а уголь для печей доставлялся в огромных фургонах с крупными белыми и черными буквами: «В. Б. Прайс энд санз, коул энд ламбер». Помню, что лошади, запряженные в эти фургоны, были гнедыми бельгийской породы, и такие величественные и прекрасные, что, казалось, пришли из сказки. Почти каждый хозяин имел позади дома гараж, двухэтажный, с курятником наверху, затянутым сеткой. И если бы вы крикнули с дорожки, один-два цыпленка обязательно устави́лись бы на вас, словно старые леди, возмущенные вашей дерзостью; большинство же из них, сколько бы вы ни кричали, не обратили бы на вас ни малейшего внимания. Люди, которые там жили, были очень похожи на них — такие же невозмутимые. Домов в селении было немного, двадцать, от силы — тридцать, две церкви, школа, лесной склад, бензоколонка и рынок.

Мы всегда подъезжали к Ремсену с юга, и первое, что видели, была серая мельница дядюшки Эда, возвышавшаяся над деревьями среди залитых солнцем просторов. Она стояла, похожая на сарай с тремя башнями, слева от узкой проселочной дороги, позади лужайки и сада, который поднимался к покрытому бурой дранкой дому, где многие годы жил дядюшка Эд со своей женой, моей двоюродной бабушкой Кейт. Я помню ее лишь смутно — мягкая, застенчивая, с тихим голосом, она озаряла своим присутствием кухню

дядюшки Эда или их «лагерь» на Черной речке, как они называли свой дом в лесу. Бабушка Кейт носила толстые очки, и потому ее глаза казались неприятно большими. Нижний этаж дома они делили с младшим братом дяди Эда, моим двоюродным дедушкой Чарли — Чолли звали его они, — который работал на мельнице за комнату, стол и пустячное жалованье. Через дорогу от мельницы и дома дядюшки Эда стояла черная, закопченная кузница, которая тогда еще действовала; там пахло углем, железом и лошадьми и всегда кипела жизнь. Целый день кузница пела, словно музыкальный инструмент, а стук железа о железо был слышен далеко от дома и мельницы и звучал колокольным звоном. За кузницей бежала речушка, прозрачная, громко журчащая. Мальчиком я ловил в ней головастиков и мелкую рыбешку; местами речка была глубокой, и, когда бабушка находила меня возле нее, мне доставались увесистые шлепки. Сейчас там развалины, речка затихла и заросла травой и тиной. Я помню, что кузница была маленькой, каменные стены внутри черны от гари, вокруг росли огромные лопухи, листья которых всегда блестели от измороси, так как чуть выше по течению речки день и ночь рокотал водопад.

Мне было тогда пять, может быть, шесть лет — возраст, когда день кажется бесконечным и все, что видишь, слышишь, чувствуешь, — ярко и живо, хотя, возможно, память хранит лишь отблески тех впечатлений, во всяком случае, кажется так, пока не начнешь писать. Но вот садишься за стол, воспоминания наплывают разом, и уже видишь крупную фигуру дяди Эда, дядю Чарли следом за ним, застенчиво улыбающегося, карлика рядом с братом, и где-то совсем близко тетушку Кейт, с чайником и кухонным полотенцем в руках. И снова ощущаешь себя в том озаренном солнечным светом мире, где жизнь текла вроде бы без забот и тревог, словно время ее не касалось. На стене в кухне висели большие черные часы с маятником, и цифра четыре на них была обозначена так: III; я до сих пор не понимаю, была ли это ошибка (я сознавал уже, что Уэльсу свойственно допускать курьезные ошибки) или это было что-то таинственное, древ-

нее, восходившее к тем непонятным временам, когда, по словам дядюшки Эда, все валлийцы жили в пещерах и на деревьях и никто не умел говорить, а все объяснялись только при помощи пения.

В то время мир, который меня окружал, казался мне — может быть, чуть больше, чем другим детям, — в равной степени населенным реальными и мифическими существами. И не только из-за историй, которые дядюшка Эд так любил мне рассказывать. У нас на ферме я спал в одной комнате с бабушкой и каждый вечер, перед тем как погасить свет, она читала мне что-нибудь из Библии или «Христианского вестника». Я не помню, что именно она читала, но помню картинки, которые рассматривал, — ангелочков с ослепительно белыми крылышками, они играли на арфах и пели, и бабушка уверяла, что они существуют на самом деле, как и деревья, и повозки с сеном. Бабушка сделала мой мир волшебным, так же, впрочем, как и свой собственный.

Она не раз в течение дня выходила с мотыгой во дворик перед домом и убивала ужей, которых замечала в траве. Отца, человека практичного, это приводило в бешенство.

— Мать! Что они вам сделали? — спрашивал он.

— Они могут ужалить, — отвечала она.

Порою мама вступалась за нее. Ведь бабушка какое-то время жила в Миссури, где водились гремучие змеи, привыкла бороться с ними, и теперь ей меняться было бы слишком поздно.

— Даже самого глупого осла можно переубедить, — говорил отец (он был скотоводом, занимался разведением лошадей для сельскохозяйственных работ), но продолжать пререкания не стремился. Мне же, напичканному библейскими мифами и сказками из «Христианского вестника», казалось вполне естественным, что бабушка, готовая извести любую скверну на земле, стоит, озаренная лучами солнца, пробивающегося сквозь кленовые листья, и, сощутив глаза и приготовив острую мотыгу, высматривает в траве ужей.

— А ты сама видела ангела? — спросил я ее однажды. Раз существуют змеи, почему бы не быть ангелам?

— Трудно сказать,— отвечала она.

Я задумался.

— А папа видел?

— Сомневаюсь,— сказала бабушка и сжала губы, чтобы не рассмеяться.

Уверовав в сказки бабушки, не говоря уже об историях дядюшки Эда, я решил, что в мире есть что-то, недоступное глазу, или, вернее, есть как бы два мира, и Ремсен, словно долина, где Иаков увидел во сне ведущую в небо лестницу, и был в моем сознании тем местом, где эти два мира встречаются. Возможно, и моя семья имела какое-то своеобразное, ремсеновское, светлое восприятие мира, которое заставляло родственников и друзей собираться, чтобы петь гимны в «Капел Укка» в ясные воскресные утра; а может быть, это впечатление рождалось просто потому, что здесь говорили по-валлийски. Только время в Ремсене как бы остановилось или по крайней мере замедлило свой бег. У нас в Батавии кузницы не было. Мистер Калвер, который подковывал лошадей моего отца, наезжал с инструментами на грузовичке. А мельница, где отец молот свое зерно, походила на фабрику — фургоны стояли на обочине дороги вереницей, и внутри мельницы, когда бы туда ни заглянуть, были тучи белой пыли, возле огромных железных машин сновали мужчины в защитных очках. В Ремсене мой дядюшка Эд, работая на старомодной мельнице, надевал костюм. Костюм был пепельно-серым от мучной пыли, помятым, но это был костюм. (Дядюшка Чарли работал в полосатом комбинезоне.) Механизмы на мельнице дядюшки Эда были почти все деревянные, они басовито жужжали, и изредка это жужжанье прерывалось глухими ударами.

Иногда я оставался в Ремсене с тетюшкой Кейт и дядями на целую ночь. Это бывало, когда вместе с другими молодыми родственниками мои родители уезжали «петь». В окрестностях Ремсена всегда где-нибудь пели. Существовала даже поговорка: «Где трое валлийцев, там и хор». В те дни почти так и было. Куда бы ни ехали мои родители, они всегда пели, протяжно и стройно; и всякий раз, когда собирались род-

ственники, они тоже пели, и чем больше было людей, тем больше звучало голосов.

Я всегда очень волновался, когда родители начинали одеваться, собираясь ехать на певческий праздник, сладкими голосами они уговаривали меня вести себя хорошо с тетей и дядями. Бабушка, если она была здесь, начинала требовать, чтобы ее взяли тоже. Хотя ей было около восьмидесяти, голос у нее, по ее словам, звучал «как у птички». И праздник песни без нее будет совсем не то. Дядя Чарли обычно качал головой, выказывая неодобрение суете, хотя все говорили, что, когда он был моложе, у него был прекрасный тенор, и в те времена, говорили они, даже если б ему посулили весь чай Китая, он не пропустил бы ни одного праздника «Эйстеддфод»* или «Симанфа Гану» — поистине огромного певческого съезда, на который собирались сотни и сотни валлийцев. Дядя Чарли краснел, словно девушка, когда вспоминали о его былой певческой славе.

— Да, старый стал, — бормотал он.

— Гордыня, — заявляла бабушка, — греховная гордыня!

Она была женщиной с трудным характером; огненно-рыжая в молодости. Но при всей своей суровости дядю Чарли любила как никого другого — самый младший из братьев ее мужа, он был почти мальчиком, когда она впервые вошла в их дом, и с ним всю его жизнь никто не считался.

— Это голос погубил его, — сказала она как-то моей маме на кухне, вытирая тарелки, которые мыла мама. — Он сбил его с толку.

Меня, ребенка, это выражение озадачило, хотя мама печально кивнула, видимо понимая, в чем дело. Позже, когда бабушка сидела за штопкой в нашей спальне — больше моей спальне, чем ее, заявляла она, когда на нее «находило», — еще одно озадачивавшее меня заявление, — я попытался заставить ее объяснить мне это.

* «Эйстеддфод» — самый крупный национальный фестиваль культуры в Уэльсе, проводится ежегодно, обычно в августе, как состязание всевозможных музыкальных коллективов, а также театров и произведений литературы на валлийском языке.

— Ба-а,— спросил я,— как это голос дяди Чарли «сбил его с толку»?

— Тише, тише,— сказала она. Это был ее постоянный ответ на мои «трудные вопросы», и я уже знал, как вести себя дальше. Я сидел, выжидая, смотрел, как она штопает, чем действовал ей на нервы.— Ну ладно,— наконец, сказала бабушка, откусывая нитку. Осмотрела ее конец, повертела между пальцами, скрутила, чтобы просунуть в ушко иголки.— Все хорошо в меру,— сказала она, — и пение тоже. Иначе человек парит в небесах и может вообще подумать, что жить на этой благословенной земле — и значит петь в хоре, а когда он спускается на землю, его постигает ужасное разочарование.

Я был озадачен и мучительно пытался представить себе людей, поющих в небесах, ангелами на ее картинках.

Прижав меня к себе, бабушка продолжала:

— Дяде Чарли не встретишься в жизни хорошая женщина, вот в чем беда. Вам бы только ла-ла-ла, молокососы, а по счетам нужно платить!

Так ничего и не поняв, я сдался и обиделся на бабушку. Я прекрасно знал — она не давала мне об этом забыть,— что я был ей в тягость, хотя, конечно, она и целовала меня, и всячески суежилась возле, когда меня собирали в церковь или я делал что-то приятное для нее, например, вытирал пыль без ее просьбы или помогал найти наперсток, который она без конца теряла. (Да, она постоянно что-то теряла, и это заставляло отца глубоко вздыхать и качать головой.) Вообще-то я был послушным ребенком, во всяком случае, я очень старался, но порою бывал невыносим. Теперь-то я понимаю, что оправдывал присутствие бабушки в нашем доме. Она была слишком старой и бедной, чтобы жить одной, но не могла допустить, чтобы ее считали обузой. Взяв на себя заботу обо мне, она давала возможность маме преподавать в школе, а отцу проводить в полях целые дни. Но я хорошо знаю, что выводил ее из себя, и случалось порою — особенно когда родители уезжали из дома по вечерам,— я досаждал ей как только мог.

Я ненавижу те вечера, когда родители оставляли меня, а сами уезжали на собрания фермеров, если мы жили дома, или на певческие праздники, если мы бывали в Ремсене. Я знал, что, конечно, со мной ничего не случится — я умел даже немножко отвлечь себя, — но ночь за окнами большого старого дома в Ремсене была темнее, чем обычно, и ни родителей, ни бабушки не было рядом, и их нельзя было позвать, и они не могли прийти сверху или из уютной, залитой мягким светом гостиной. Мельница, которую я так любил днем, после наступления темноты из окна кухни дядюшки Эда казалась зловещей, и чудилось, что она надвинулась на дом, закрывая, словно необъятный надгробный камень, свет звезд. Часы на кухонной стене торжественно отбивали секунды: ток... ток... ток... и тишина была такой глубокой, что в кухню доносился даже торопливый, беспокойный бег часов из гостиной — тик-тик, тик-тик. Серые тени подсолнухов из дальнего конца сада смотрели на меня как привидения, а кузница за дорогой чернела пятном на фоне сгустившейся темноты, и сорные травы вокруг нее, казалось, шушукались друг с другом, слушая шум речки, а кузница превращалась в жуткое место, словно там жила баба-яга.

Пока родители одевались, я скулил, слонялся по дому, хныкал, цеплялся за белые фарфоровые ручки дверей.

— Почему мне нельзя ехать с вами? — спрашивал я.

Мама, напряженно глядя в зеркало, подводила карандашом брови. Она была довольно толстая, но мне казалась поразительно красивой. У нее были темно-рыжие волосы.

— Поедешь, когда подрастешь, — отвечал отец; стоя за спиной мамы и вытянув подбородок, он сосредоточенно завязывал галстук. В ванной во весь голос пела бабушка. Она и правда пищит, думал я со злорадством. Как цыпленок. Наконец поняв, что у меня ничего не выйдет, я притворялся, что мне гораздо приятней поесть домашнего печенья тетушки Кейт и послушать истории дядюшки Эда, все же дуясь, чтобы показать, что обиды я не забуду, провожал родителей до двери, не спуская глаз с их довольных лиц и слушая с негодованием, как они громко и радостно прощаются с те-

тей и дядями. Они уже спускались по деревянным ступеням прохода между домом и большой темной мельницей, здоровались с родственниками, которые приезжали за ними в автомобиле. В машине зажегся свет, дверцы распахивались, и в квадратном островке света я мог видеть, как мои кузены и кузины, взрослые и те, что были лишь чуть-чуть меня постарше, теснились, усаживаясь друг другу на колени. Проход между мельницей и домом наполнялся, как лужа водой, смехом и криками. «Убирай локти,— временами прорывался заботливый и терпеливый голос отца.— Все в порядке, мама. Не суетитесь». Наконец дверцы автомобиля захлопывались, и он, пытая и светя фарами, проезжал мимо мельницы, накрываясь, словно карета, огибал сад, затем, снова накрываясь и брызнув задними фонарями, словно двумя спелыми гранатами, выезжал на дорогу, скользнув светом по деревьям. Когда красные огоньки исчезали из виду, я, стараясь не плакать, поворачивался к дядюшке Эду, и он поднимал меня и нес на своих плечах, словно мешок с мукой, в кухню.

— Так вот, держу пари,— обычно говорил он,— ты не знаешь, что я ходил на медведя.

— Не верю! — отвечал я, хотя в глубине души верил, что так и было.

— Большого черного медведя, которого звали Герман. Он жил у Голубого горного озера.

Его истории всегда происходили у Голубого горного озера или возле Черной речки, где находился его «лагерь» (он иногда брал нас туда, к неудовольствию бабушки) — огромный охотничий дом из камня и бревен, набитый чучелами рысей, волков и сов, с японскими фонариками под потолком, дом, где на грубых, из неотесанных досок столах располагался целый музей странных экспонатов, собранных тетушкой Кейт: маленькие модели березовых каноэ, резные фигурки, старинный стереоскоп с видами Парижа прошлого века. Дом стоял среди деревьев, почти неприступный, на берегу речки, под ним — деревянная пристань с причаленной к ней лодкой. В мелкой и чистой речке текла прозрачная, как стек-

ло, вода, и казалось, что она совсем не движется, но если на воду падал лист, река мгновенно его уносила. Рыбы медленно и задумчиво кружились в воде, то скрываясь, то вновь появляясь из водорослей, а если посмотреть вверх, открывался новый, не менее удивительный мир — сосны и горы, необъятные бегущие облака, где в огромных белых курганах, пронизанных солнечным светом, казалось, и живут ангелы. Стоило дядюшке Эду заговорить об Адирондаке, и было ясно, что через минуту он будет рассказывать о своем детстве в Уэльсе, где люди жили в красивых домиках на темно-зеленых холмах, по склонам которых бродили овцы и собаки колли и где никогда ничего не менялось.

Во время ужина дядюшка Эд рассказывал одну историю за другой, а тетушка Кейт ходила взад-вперед от стола к плите, поглаживала меня по голове и уговаривала не верить ни одному его слову. Дядя Чарли сидел тут же, застенчиво, чуть глуповато ухмыляясь, иногда подмигивая мне, иногда бросая несколько слов резким, пронзительным голосом, надеясь, что я поверю, будто это выкрикивает попугай Бобби Уотсон, который сидел в своей клетке в углу, поглядывая на нас и поклевывая салат. Дядя Чарли был щуплый, как воробей, с поразительными глазами — один карий, другой голубой. Он был почти так же стар, как и дядя Эд, но со светло-каштановыми волосами, и в мягких, блестящих коричневых усах его едва пробивалась седина. Он всегда сидел чуть сгорбившись, опустив глаза, положив руки на колени и поднимая их лишь затем, чтобы взять вилку или ложку; возможно, поэтому, несмотря на морщины, он и теперь казался худеньким мальчиком, не толще правой руки дядюшки Эда. Люди, которые их не знали, думали, что дядя Чарли брат тетушки Кейт, а не дядюшки Эда. Она тоже была, как любила сама говорить, «крошкой». После ужина, пока тетя Кейт мыла посуду, а мужчины выходили к мельнице, как они говорили, «подышать» — на самом деле выкурить сигару, — я барабанил на пианино тетушки Кейт в гостиной. Пианино было хорошее, настоящий «Стори энд Кларк». В седом полумраке гостиной угольно-черная поверхность его

сверкала, точно зеркало или Черная речка ночью, и все, что я играл, казалось мне настоящей музыкой. Я терял всякое представление о времени, закрыв глаза, слегка наклонив голову к звучащему пианино, слушал его печальные, долго звучащие аккорды, и мое воображение переносило меня куда-то далеко-далеко, я казался себе следопытом, который бродит по дремучему лесу, пытаюсь понять его тайны. Когда тетя кончала мыть посуду, а дяди — курить, все снова собирались в кухне и звали меня, и мы садились за кухонный стол играть в домино. Проходил час или чуть больше, и дядя Чарли, ухмыльнувшись и не глядя никому в глаза, говорил: «Пожалуй, пора закругляться» — и удалялся в свою узкую, оклеенную желтыми обоями комнату в нижнем этаже.

Я еще немножко сидел с дядей Эдом и тетей Кейт. Они, конечно, хорошо понимали, как ужасно было мне одному подниматься наверх в этом огромном тихом доме, но у тетушки Кейт была привычка перед сном слушать пластинки — старые и хриплые, фирмы «Эдисон», в основном оперные арии, — и немного пошить, а дядя Эд садился напротив нее с газетой, большой и уютный, словно старый серый кот, и, водрузив на нос очки в стальной оправе, читал. Они оба были уже слишком стары, чтобы дважды лазать вверх по узкой лестнице. (В вестибюль вела широкая и пологая лестница с перилами до самого конца; но я не помню, чтобы кто-либо когда-нибудь ею пользовался, кроме нас, моих кузин и кузенов, игравших здесь в китайскую школу.) Тетушка Кейт была хрупкой и поднималась, останавливаясь на каждой ступеньке. Дядя Эд, напротив, для валлийца был огромным, с белыми, как снег, волосами. Когда я начинал клевать носом, он, глядя на меня поверх очков, говорил: «Бадди, беги надевай пижаму, мы сейчас придем». Вспоминая об этом, я до сих пор удивляюсь, что не устраивал сцен; послушно, не протестуя, я подчинялся, зная, что буду крепко спать, когда они наконец поднимутся.

Но случалось, я просыпался, когда они приходили, и тогда видел их в белых фланелевых рубашках, стоящих на

коденях возле кровати. Притворившись, что сплю — моя детская кроватка была у другой стены, — я наблюдал, как они бок о бок, склонив головы и сложив руки под подбородком, шепотом молятся по-валлийски. У дяди Эда на руке не хватало трех пальцев, их оторвало на мельнице, когда он был еще молодым. Его округлые плечи были непомерно широки. В моей памяти, безусловно не очень надежной, осело, что плечи эти закрывали треть кровати. Днем на мельнице дядя Эд был королем — он играючи подбрасывал мешки с зерном и весело, непринужденно болтал с погасшей сигарой во рту, но сейчас, в этой комнате, он был таким же покорным и кротким, как дядя Чарли или тетушка Кейт возле него. Единственная лампочка в комнате тускло горела на ночном столике. В ее свете волосы дяди Эда казались мягкими, как у ребенка. А волосы тетушки Кейт были похожи на тонкие серебряные нити.

Однажды во время одного из наших визитов в Ремсен с дядей Чарли произошел несчастный случай, который потом долго в семье называли «трюком». Я не знаю, что из всего мне известного я действительно видел. Тогда мне было, как я уже говорил, лет пять или шесть. С годами в моей памяти сохранилось лишь несколько ярких впечатлений, остальное же попытаюсь дополнить, доверяясь семейным преданиям и собственному воображению. Помню, что сидел в конторе мельницы — а возможно, это было в какой-то другой раз — и рисовал в одной из желтых, стандартного размера, конторских книг дяди Эда, где он вел свою бухгалтерию, в углу напротив стояла холодная пузатая печка. Был август; хорошо помню это, потому что фермеры везли на мельницу пшеницу. Вокруг печки теснились тусклые голубоватые глыбы соли, такие же скользкие, как сине-белые кости в мясной лавке, рядом — сложенные в кучу мотки шпагата и колючей проволоки, керосиновые лампы, оцинкованные ведра, вставленные одно в другое, верхнее до краев набито гвоздями. За окном полыхал розами и цинниями сад тетушки Кейт, посреди сада —

грядки овощей и подсолнухи, а в дальнем его конце — чучело в застиранном драном пальто и соломенной шляпе, которые когда-то, без сомнения, носил дядя Чарли. В комнате, где я находился, собрались фермеры — развалиясь, они сидели на деревянных стульях с круглыми спинками и, как всегда, болтали и перебрасывались шутками, ожидая, пока дядя Эд сметет их зерно, а дядя Чарли нагрузит мешками тачку и откатит ее к погрузочной платформе, чтобы с нее сбросить мешки в фургоны. Наверное, большую часть утра я, как обычно, провел возле Чарли, бегая за ним взад и вперед; дядя Чарли молчал, он вообще почти не разговаривал, разве что на кухне, когда изображал попугая, — мне же было не до разговоров, я старался изо всех сил быть полезным: оттаскивал пустые мешки с его пути, хотя места было полно, пытался как можно шире распахнуть перед ним тяжелую дверь. Сейчас, устав от этой игры, я уселся в конторе и, прислушиваясь к пению деревянных стен, вторивших гулу мельницы, рисовал кроликов, очень похожих на тех, которых рисовал мой отец (единственное, что он умел рисовать), и, если б его спросили потом, каких рисовал он, а каких я, он не смог бы с уверенностью ответить.

Я не слышал ни крика, ни каких-либо других звуков, но вдруг фермеры вскочили и, гремя тяжелыми сапогами, бросились из конторы в помещение мельницы; быстро соскользнув со стула, я кинулся вслед за ними. Внутри мельницы, поднимая белую пыль, глухо стучали и пели деревянные механизмы, но там было все спокойно. Дядя Эд стоял и, моргая, смотрел на пробежавших мимо фермеров, затем дернул истертый деревянный рычаг, грохот вмиг прекратился, и, подхватив меня на руки, бросился вслед за фермерами. Мы выскочили через открытую дверь на солнечный свет и увидели дядю Чарли, который пытался выбраться из щели между платформой и фургоном и, вытирая грязь со рта и усов, что-то гневно кричал. Фургон был плохо припаркован к платформе, и между ними оказался провал шириной в три фута. В него-то и попала

нога дяди Чарли, он упал, уронив на дно фургона мешок, мешок развязался, и теперь зерно медленно, как моросящий дождь, сыпалось на землю. Дядя Чарли кричал все громче и громче, ругаясь, очевидно, по-валлийски — странно было слышать взбешенный и виноватый голос этого всегда молчаливого человека, — он пытался подняться на ноги, спасти зерно. Затем выражение его лица изменилось, теперь он с удивлением и злостью смотрел на свою задранную вверх, точно хлебный нож, ступню, которая его совсем не слушалась. Дядя Эд поставил меня на землю и вскочил на фургон, вытянув руки вперед, чтобы схватить дядю Чарли, но почему-то не решился это сделать, сконфузился да так и застыл, нагнувшись вперед, с протянутыми руками, словно ребенок, который хочет поймать бабочку.

Задняя дверь дома отворилась, и на крыльце показалась бабушка в черной вязаной шали.

— Вот она, ваша земля обетованная! — закричала она гневно. — Полюбуйтесь, что вы натворили!

Отец вышел вслед за ней, ничего не понимая и заранее чувствуя себя виноватым, будто, если бы он не вздремнул, беды бы не случилось.

— Перестаньте, — бросил он бабушке, и она тут же осеклась.

Слезы капали с усов дяди Чарли, и он, держась обеими руками за ногу, уже не ругался, а, сжав зубы, жалобно скулил. Тетя Кейт стояла с ним рядом, близоруко склонившись над ним.

— Я позову доктора, — сказала она и пошла обратно в дом.

— Это все из-за меня, — горевал один из фермеров, трясая головой и свирепо двигая челюстью, точно хотел сам себя ударить.

— Вот что, — сказал дядя Эд, — давай-ка я перенесу тебя в дом.

И осторожно, подсунав руки под спину дяди Чарли и бережно поддерживая его сломанную ногу, поднял его,

словно ребенка или новорожденного телка, и положил на платформу, а затем, взяв поудобнее, понес через дорогу к дому, поднялся по деревянным ступеням и вошел в кухню.

— Боже милостивый!— сказала бабушка, не в силах сдержаться. Ее глаза сверкали так же, как в те минуты, когда она выходила с мотыгой убивать ужей. Мама глядела ее по руке.

Конечно, тогда я еще не понимал, что все они, как и я, испытывали чувство вины. Теперь я понимаю, что даже бабушка, наверное, чувствовала себя виноватой; ругая нас, она считала в глубине души, что должна была лучше смотреть за нами. Но как бы там ни было, теперь, когда Чарли лежал на кушетке в гостиной, они забыли об этом. Во мне же чувство вины продолжало жить. Я был убежден, что, если бы я не перестал бегать по пятам за Чарли и его тачкой, расчищая ему дорогу и следя за каждым его движением, он никогда бы не упал и не сломал ногу. Пришедший по вызову доктор был сосредоточен и серьезен. Тетушка Кейт ломала под фартуком руки. Я, разрыдавшись, предложил доктору оплатить счет за дядю Чарли. Дядя Эд, взглянув на меня, недоуменно поджал губы. Другие, казалось, вообще не заметили, что я сказал.

— Я правда оплачу счет,— цепляясь за ногу доктора, выкрикнул я.

— Тихо, тихо,— сказал дядя Эд.— Кэти, дай ребенку печенья. И уходите отсюда.

Она вводила меня, а я через плечо смотрел на серое лицо дяди Чарли, лежавшего на кушетке, на доктора в строгом черном костюме, который склонился над ним. Теперь уже все улыбались, даже дядя Чарли, наперебой рассказывая, как все случилось, и называя это просто «трюком». Вернее, все, кроме бабушки, которая, по словам отца, всегда и все видела в черном свете. Ночью мои родители — они думали, что я сплю,— поссорились из-за бабушки. Отец сказал, что она «ангел смерти». (Гнев сделал его непривычно красноречивым — хотя теперь я думаю, что он сказал то, что уже говорил множество раз.)

— Если ты так ее ненавидишь, почему бы тебе не отправить ее в дом призрения?— спросила мама. И снова одержала победу, как это бывало всегда. И, когда это стало ясно обоим, сказала:— О Билл, она просто очень переживает. Ты же знаешь ее. Она как ребенок!

Я лежал в темноте с открытыми глазами и пытался понять, что же все это значит.

Вплоть до следующего лета наша семья не бывала в Ремсене. Тем не менее письма уходили туда и приходили оттуда по два-три в неделю, и в них тетушка Кейт среди прочих новостей сообщала о постепенном выздоровлении дяди Чарли. Он поправлялся медленно, совсем не так, как хотелось бы,— сетовала она, а мама передавала слова поддержки от всей нашей семьи и посылала им вдохновенные поэмы из старых бабушкиных журналов. Наконец мы собрались в Ремсен — отчасти потому, что на этот раз праздник песни «Симанфа Гану» проводился в соседнем Ютике. В доме дяди Эда я узнал, к моему удивлению и испугу — я не любил перемен, ненавидел даже самые незначительные намеки на то, что в жизни вселенной, которая казалась мне такой же вечной, как наша старая-престарая мельница, теперь не все идет так гладко, как прежде,— что на этот раз принять участие в празднике песни, к которому раньше, как я помнил, ни дядя Эд, ни тетя Кейт большого интереса не проявляли, собирались все. Узнал, подслушав разговор в гостиной. Они думали, что я сплю, как и дядя Чарли, а я спустился вниз и, прощмыгнув мимо окна комнаты Чарли, видел, что он лежит на кровати с открытым ртом и громко храпит; одна рука его свисала с кровати — я тихонько забрался под лестницу и забился в угол рядом с гостиной, откуда доносились голоса.

Тетушка Кейт говорила тише, чем обычно:

— Он мог бы работать с лифтом.

— Он все еще плох, да?— спросила мама.

— О, с Чолли все будет в порядке!— как всегда бодро воскликнул дядя Эд и засмеялся.

Я затаив дыхание ждал, что скажет бабушка. Но она молчала, и я подумал, что она, наверное, уснула над шитьем.

— Он слишком ушел в себя, вот и все,— робко сказала тетя Кейт, опасаясь, что дядя Эд с ней не согласится.

— Во всяком случае, мы едем все,— сказал отец, подводя итог.

— Бадди берем тоже. Он еще никогда не бывал на празднике «Симанфа Гану». Теперь самое время!

— Святая Бетси!— взорвалась бабушка.— И вы позволите этому несчастному молокоосу не спать до полуночи вместе со всеми сумасшедшими, которые будут вопить до упаду?

Мурашки побежали у меня по спине. Я воспринимал все слишком буквально и не мог увязать ее слова с пением, о котором когда-то слышал, и еще менее с тем праздником, на котором никогда не бывал. Невольно мне на ум пришли рассказы дяди Эда о том старом времени, когда все в Уэльсе были ведьмами и ведунами — как они летали по ночам, словно птицы, делая магические круги среди деревьев и скал.

Я ходил затаив дыхание весь следующий день и томился тревожными предчувствиями. На мельнице я держался возле дяди Чарли, стараясь предугадать каждое его движение, чтобы вовремя помочь. Он вроде бы стал еще меньше, чем был до «трюка». Манжеты его рукавов, хотя он и носил резинки, болтались на руках так же, как болтались на нем штаны комбинезона. Руки тряслись, и он больше не заботился о том, чтобы вставлять по утрам зубы. Раньше он делал вид, что ценит мою помощь. Теперь же я все чаще замечал, что мое старание его раздражало. «Я сам»,— говорил он, отпихивая ногой моток веревки в проходе, когда я бросался к нему. Или, если я хотел шире распахнуть перед ним дверь, говорил: «Оставь, парень, она открыта». В конце концов мне стало нечего делать возле него и я просто болтался рядом — оставить его и пойти к дяде Эду я стеснялся.

Работать, как раньше, дядя Чарли уже не мог. Стофунтовые мешки были не для него — он сам был немногим их тяжелее, — и, когда он толкал тачку, нагруженную дядюшкой Эдом, мы оба — и я и дядя Эд — с беспокойством следили, как бы она не накренилась слишком сильно, не потеряла бы равновесия и не упала бы на него. В большинстве же случаев дядя Эд сам брался за тачку. «Ну и пожалуйста! — огрызнулся дядя Чарли. — Мельница твоя!» Чтобы занять себя, он ставил ловушки на крыс, обматывал проволокой стремянки, укрепляя их, сбивал паутину, подметал пол. Он, как и прежде, шутил с фермерами, но мне казалось, что эти шутки невеселы, а по глазам его я видел, что он не считает фермеров своими друзьями. Иной раз, когда в конторе кроме фермеров находились только я и дядя Эд, кто-нибудь говорил: «Похоже, Чоллис каждым днем все лучше и лучше», но по тому, как все улыбались, я видел, что никто в это не верит. Обычно я стоял возле конторки, в которой было много отделений и потайных ящичков, — дядя Чарли однажды показал мне, как их открывать, — и старался угадать, что будет нужно дяде Эду: записная книжка или одна из желтых конторских книг, а может быть, большой белый карандаш с красной надписью «Э. Д. Хьюз», но мне никак не удавалось угадать, за чем он потянется в следующий момент, и я был совершенно не нужен, если не считать тех случаев, когда дядя Эд говорил мне: «Бадди, дай вон тот календарь», — и я срывался и со всех ног бросался за календарем. На мельнице дядя Чарли медленно бродил взад и вперед с веником, бессмысленно смахивал белую пыль в проходах, вбивал гвозди в разошедшиеся лари или латал джутовые мешки, которые еще не совсем износились, чтобы из них не просыпалось зерно. Конфузясь, он втягивал голову — воротник рубашки был ему велик — и робко спрашивал дядюшку Эда, готов ли овес Билла Уильямса. «Я займусь этим, Чолли», — отвечал дядя Эд, пыхтя сигарой. А дядя Чарли хмурился, качал головой и быстро уходил, возвращаясь к своим занятиям.

Однажды после завтрака я увидел, что дядя Чарли сидит на полу рядом с ларем и прибивает крышку от банки из-под кофе на то место, где могло высыпаться зерно. Я постоял, наблюдая за ним. Рука, которой Чарли вынимал гвозди изо рта, сильно дрожала. Он делал вид, что не замечает меня. Подождав немного, я подошел ближе и присел на корточки рядом, думая, что смогу подавать гвозди из банки, стоящей у его колена, хотя в тот момент рот его был набит гвоздями, точно подушечка булавками. Он молчал, и я, выждав, спросил его:

— Дядя Чарли, а что такое «Симанфа Гану»?

— Это по-валлийски,— пробурчал он, не вынимая гвоздей изо рта, и аккуратно забил очередной гвоздик. Затем, бросив на меня виноватый взгляд, вынул гвозди изо рта и положил их на пол между нами.— Означает — возвращаясь,— сказал он неожиданно, не к месту усмехнувшись.— Возвращайся в Уэльс — вот что это такое. Этого хотят все валлийцы или думают, что хотят.

Откинув голову назад, он замер, словно прислушиваясь к чему-то. Солнечный свет пробивался в помещение мельницы, и в его лучах кружились белые пылинки, сбиваясь в диковинные узоры такие сложные, что вряд ли можно было бы их разобрать,— здесь было совсем как в церкви. Даже лучше. И я вспомнил тот лес, где, по рассказам дядюшки Эда, валлийцы поклонялись своим странным пучеглазым богам, обожествляя все вокруг,— «боги реки, боги деревьев, боги свиней и бог знает чего», говорил дядя Эд. (А бабушка не хотела и слышать об этом. «У твоего дяди Эда странные идеи»,— ворчала она.) Внезапно дядя Чарли резко опустил голову, схватил гвоздик и, пристроив его между пальцами, стал вбивать.

— Дураки несчастные,— сказал он, затем взглянул на меня и нахмурился. Но тут же мне подмигнул.

— Скажи еще что-нибудь по-валлийски,— попросил я.

Он задумался, примеряя очередной гвоздик. Наконец, искоса посмотрев на меня, спросил:

— А ты знаешь, что значит Бадди?— И прежде чем я

смог ответить, сказал сам:— Поэт! У них, в Уэльсе, высоко ценят поэтов. После короля первый — поэт, он даже равен королю. Что король, что поэт — одно и то же. Каждый по-своему врет.

Вид у него был скорбный. Лицо, под старческими пятнами, пепельно-серое. Я уставился на него, сбитый с толку,— не более, однако, чем и он сам, теперь я понимаю это; но в шесть лет трудно себе представить, что взрослые тоже могут теряться. Я знал только, что глаза его — один карий, другой голубой — наглухо от меня закрыты, а усы, словно остроконечная крыша из старой соломы, прикрывали наполовину черную рану его рта.

Я спросил:

— А что, мы все поедем на праздник «Симанфа Гану»?

Его глаза потеплели, затем он резко потянулся за очередным гвоздем.

— Конечно, все,— сказал он. Приладил гвоздь и двумя резкими ударами вбил его.— Не бойся,— сказал он,— не так уж это страшно.

Помещение, в котором проходил праздник песни, я помню только изнутри. Должно быть, это была церковь, очень большая, с деревянными стенами, желто-серыми, как в новом амбаре. Было очень светло, и стены и балки под потолком сияли как навощенные. Похоже, мои родители знали здесь всех, и все знали их. Люди кружили повсюду, казалось, много часов подряд, вскрикивая, бросались друг к другу, обнимались, громко болтали; я сидел на плечах у отца, который переходил от группы к группе, подолгу разговаривал, шутил, все радостно улыбались. Бабушка, в легком черном пальто, опираясь на палки,— это была первая зима, когда они стали ей необходимы,— переходила от одной седовласой валлийки к другой, разговаривала, кивала, смеялась чуть не до слез и, ликуя, тыкала костлявым пальцем куда-то через весь зал, радостно выкрикивая какое-то имя, хотя в общем шуме ее никто не слышал.

Наконец стали рассаживаться. Мы сели все вместе, меня втиснули между отцом и дядей Чарли. Впереди поднялся че-

ловец, похожий на конгрессмена, и что-то сказал. Все засмеялись. Он снова что-то сказал, и снова все засмеялись, и вдруг откуда-то, быстро нарастая, зазвучала органная музыка; дядя Чарли дернул меня за локоть, приказал опустить глаза. Он держал в руках маленькую, похожую на Библию, книжечку со стихами — не нотами, как в книге гимнов нашей церкви (тогда я еще не видел тех книжек, которые оставил мой дедушка маме), просто стихами, но прочесть я ни слова не мог.

— Помнишь, до-ре-ми?— спросил дядя Чарли, строго взглянув на меня, хотя лицо его было ясным.

Я кивнул, только теперь вдруг заметив, что над каждым словом, написанным по-валлийски, было еще одно, маленькое, — до, ре или ми и так далее, так же не имевшее никакого смысла для меня в тот момент, как и все остальное. Дядя Чарли бросил недовольный взгляд на отца, снова обернулся ко мне и, усмехнувшись, сказал:

— Ну ничего. Пой, как я пою.

Вокруг нас все стали подниматься, теперь кое-кто даже отстукивал такт носком своих грубых ботинок. Отец и дядя Чарли, подхватив меня, поставили на стул. И вдруг словно гром ударил в огромном зале, сотрясая его, — люди разом запели. Большинству из них, казалось, уже не нужны были книжки, да они и не смогли бы ими пользоваться, потому что пели, высоко подняв голову и широко раскрывая рот, точно рыбы, вынутые из воды; не знаю, что они пели, но казалось, они обращались и не в зал, а ввысь, к сияющему потолку. Они пели на множество голосов, именно так всегда звучит валлийский хор, каждый голос ясно выделялся, словно холодное течение в общем потоке полноводной реки. Среди них не было голосов слабых, хотя были и такие, как у дяди Чарли, резкие и пронзительные, но это не имело значения, река звуков вбирала в себя все. Они пели так, словно пела сама музыка, — пели смело, не чувствуя ни сомнений, ни колебаний; и я как зачарованный пел вместе с ними, уверенный в каждой ноте, чувствуя себя самым мудрым и самым могучим в этом хоре. И хотя я был поражен своей силой,

вспоминая теперь о прошлом, я понимаю, что это не было так уж удивительно, как мне тогда казалось. Меня несло могучим потоком, самым строем древней музыки, только очень хороший музыкант мог бы устоять против него. И все же это казалось чудом. Будто в нас пело все — и кровь, и кости, земля и небо, каждый вел свою партию, сливаясь в едином хоре, и, когда грянул финальный аккорд, эхо еще долго звучало, подобно раскатам грома: аминь!!!

Мы пели гимн за гимном — пели старики и дети, люди в возрасте моих родителей, — пели древние мелодии, рожденные еще раньше, чем родились законы построения музыки, мелодии, похожие на дыхание огромных животных. Унесенные вихрем, как говорят валлийцы, мы не принадлежали самим себе. И мне не раз казалось, что я смотрю на всех с высоты потолка. Отец крепко сжимал мою руку; дядя Чарли крепко-крепко вцепился в другую. Слезы текли из обоих его глаз — карего и голубого, — омывали щеки, капали с усов, просветляя лицо. Уже позже, когда мы выходили, я увидел, что и тетя Кейт, и мама тоже плачут, и даже бабушка, не плакали только отец и дядя Эд. На крыльце, закуривая сигару, дядя Эд сказал:

— Хорошо пели!

Отец кивнул и, подтянув брюки, оглянулся, словно ему жаль было уходить:

— Хороший праздник.

А дядя Чарли стоял засунув руки в карманы, глядел в землю и молчал.

На следующий день дядя Чарли не пришел к ужину, хотя его звали и звали. Через окно в кухне я видел, как дядя Эд и отец, серые, точно привидения в залитом лунным светом саду, громко кричат в сторону деревьев за дорогой, речки, кузницы, затем поворачиваются и медленно бредут к мельнице, как бы с трудом преодолевая ставший вдруг плотным воздух. Позже дядя Эд, уже сидя в деревянном кресле на кухне, держа сигару в руке, на которой не хватало трех пальцев, и глядя в пустоту, сказал:

— Бедный Чолли! Что же с ним?

Тетя Кейт стояла понурившись над раковиной и, качая головой, то складывала полотенце, то разворачивала его. Наконец, она сказала:

— По-моему, надо позвонить в полицию.

— Нет, не надо,— неожиданно сказал дядя Эд, будто очнувшись от забытья. Опершись руками на подлокотники, он быстро встал.— Пойду в контору позвонить соседям,— сказал он и решительно шагнул к двери.

— А почему не отсюда?— начала была тетя Кейт, но, увидев меня, осеклась.

— Я с тобой,— сказал отец дяде Эду.

И, сгорбившись, словно испуганные маленькие мальчики, они вышли, осторожно прикрыв за собой дверь.

— Я покормлю Бадди,— предложила мама.— Не стоит ему ждать нас всех.

— Конечно,— согласилась тетя Кейт, продолжая то складывать, то разворачивать полотенце.

— Нельзя было брать его с собой на праздник песни,— сказала бабушка.— Я же говорила, что ничего хорошего из этого не выйдет.

Моя мама, сажая меня на стул, сказала:

— Вы не говорили ничего подобного, мама!

— Значит, думала!— отрезала бабушка и, поджав губы, замолчала.

Его нашли под утро, я узнал об этом намного позже, прямо за дорогой, в реке за кузницей. И по сей день мне порой представляется, хотя этого я, конечно, не видел, что дядя Чарли лежит вверх лицом, прозрачная, как стекло, вода, залитая лунным светом, сверкает над ним, и он неподвижно глядит на тихие звезды.

Тетушка Кейт, оказывается, знала, что он ушел, чтобы покончить с собой, но она не хотела этому верить и потому никому ничего не сказала. Вчера, едва село солнце, она нашла его одежду, аккуратно сложенную стопочкой на стуле рядом с его кроватью в комнате на первом этаже, где он жил.

— Он оставил одежду нам как послание,— сказала бабушка,— какая ни на есть, еще послужит.

— Хватит об этом,— резко оборвал ее отец.

Тетушка Кейт сидела за столом, бросив очки перед собой, и, закрывая лицо руками, пыталась нам объяснить, что, найдя одежду, испугалась, но стала себя уговаривать, выдумывать причины одну глупее другой — он нашел хорошую женщину, уже решил уходить, купил новую одежду, даже носки и ботинки.

На следующий вечер, когда все уже знали, что дядя Чарли умер (никто никогда не признал бы, что это было самоубийство), в гостиной у дяди Эда собралось очень много народу. Все стулья были заняты, сидели даже на ручках кресел — парни, молодые женщины, в основном родня. Стулья, которые папа принес из столовой и кухни, тоже были заняты. Переговаривались вполголоса, тихонько всхлипывали, в покрасневших глазах стояли слезы. Я сидел на коленях у отца и смотрел.

Все вспоминали о том, как прекрасно пел дядя Чарли; без него уже таких фестивалей песни не будет. Они говорили, как это все-таки плохо, что у него не было жены и детей; может быть, тогда все было бы по-другому. Затем, немного помолчав — от печальных разговоров всем было не по себе, — заговорили о погоде и урожае, о свадьбах и политике. То говорили между собой человека три-четыре, то вели общий разговор. Тетя Кейт подала чай. Несколько мужчин принесли с собой виски, и тетя Кейт, которая обычно не одобряла этого, опустив глаза, молчала. Часы на бюро красного дерева тикали, тикали, но все в окружающей дом темноте, в тускло освещенной гостиной замерло. Люди сидели напряженно, лишь изредка шевелились, чтобы сменить положение руки или ноги, иногда сморкались, но никто не уходил. Разговоры постепенно угасали, как гаснут угольки камина молчание становилось все более глубоким, словно зимний холод сковывал нас и души наши поглощали колдовские чары, и казалось, что эта мертвая тишина и есть наше прощальное слово.

Наконец сидевший в углу старый Си Томас, у которого штанины были подвязаны бечевкой, сложил руки, кашлянул, выставил вперед подбородок и, закатив глаза, покраснев от напряжения, запел. Сначала робко, затем смелее, к нему присоединялись остальные. Тетя Кейт с полусмущенным, полулукавым лицом подошла к пианино и, чуть помедлив, села за него, сняла очки и начала играть. Теперь лилось многоголосое пение, пели все, слегка вскинув голову. И, словно оживая, на ковре один за другим задвигались башмаки.

Искусство жить

Жил в нашем городе повар, и в итальянском ресторане, где он работал — большом темном заведении с дешевыми картинами на стенах, дешевыми, обитыми искусственной красной кожей мягкими стульями и свечой в бутылке из-под кьянти на каждом столе, — его звали «шеф», но сам он называл себя просто повар, поскольку гордыня ему была не по нутру, во всяком случае, он так заявлял, хотя, бог свидетель, этого-то на свете хоть отбавляй, и поскольку толк он встряпне знал, а о «шефах», по его же словам, наверняка знал лишь то, что носят они огромные дурацкие колпаки, которые он сам не наденет, хоть убейте. Конечно, делая такие заявления, он был не совсем искренен, можно сказать — просто старомоден, ибо всем было известно, что в квартире, где он жил со своей семьей, на третьем этаже, прямо над кондитерской Кастуса и аптекой, он хранил сотни поваренных книг и журналов, как и книг и журналов обо всем на свете, вплоть до знаменитых сан-францисских комиксов, и его утверждения о том, что он всего лишь обычный повар, были как раз тем самоуничижением, что паче гордости, желанием казаться своим парнем, каковым он никогда не был и не будет, проживи он хоть сто лет. Разговоры о поварских колпаках были пустой болтовней, дурацкой идеей, когда-то давно пришедшей ему в голову да так там и застрявшей. Он вообще болтал много, особенно с тех пор, как погиб на войне его сын, приходя в возбуждение от того, на что даже безумный в сумасшедшем доме не обратил бы ни малейшего внимания. В то время, когда произошла история, о которой я вам расскажу, в городе, где мы жили, на севере штата Нью-Йорк, поварские колпаки носили немногие, но в больших городах,

таких, как Ром или Ютика, они были обязательны в блинных и в закусовых. Звали нашего повара, я забыл об этом сказать, Арнольд Деллер.

Вспыльчивость поваров известна, но Арнольд вспыльчивым не был. Для меня и сейчас, когда я об этом думаю, остается загадкой, как ему удавалось оставаться уравновешенным, при его-то любви к безудержному фразерству и в особенности при том, что его, как и каждого в те времена — в этом мы убедились,— переполняла едва сдерживаемая ярость. И все же он был человеком уравновешенным. Правда, бывало при иных обстоятельствах, глаза его наполнялись слезами; но он никогда не сквернословил или почти никогда, никогда никого не ударил и никогда в раздражении не бросал работы.

Думаю, что многого он просто не принимал близко к сердцу, по крайней мере до известной степени. Проработав на одном месте более двадцати лет, он стал у своих хозяев почти что членом семьи, условия работы были приличные, насколько это возможно в таком заведении. Ресторан был на хорошем счету. Ведь если относиться к делу спустя рукава, тут же окажешься на обеих лопатках — на улице среди мусорных баков и пустых ведер. Поэтому и кухня, где работал поваром Арнольд, была просторна и достаточно хорошо спланирована, так что толстяку Арнольду не приходилось сбиваться с ног. По его требованию кухню оборудовали так, как он видел однажды в ресторане в Сан-Франциско или еще где-то, когда был на съезде по защите исчезающих видов животных. К этому вопросу, как и к политике и борьбе с наркотиками, он и его дочери относились очень серьезно. Конечно, такие вопросы волнуют всех, но он и его дочери придавали им особенное значение. Видя на людях меховые шубы, дочери Арнольда чуть не плакали. Жена же Арнольда в основном спала или смотрела телевизор. С тех пор как погиб ее сын, она почти не выходила из дома.

Как я уже говорил, с работой Арнольду повезло. У него был помощник — полуповар, полумойщик посуды, полуиндеец, полуитальянец, паренек по имени Эллис. К тому же

одна стена кухни состояла почти сплошь из окон, и при желании Арнольд и Эллис могли открывать их зимой и летом, так что в кухне было немногим жарче, чем в обычной комнате. Но помимо всего прочего для Арнольда, с его наклонностями и темпераментом, эта работа была идеальной, потому что хозяин ресторана Фрэнк Деллапикалло — седовласый, мрачный старик, которого почти никто никогда не видел, — позволял Арнольду готовить все, что ему вздумается, лишь бы не морочить себе голову с продуктами и не платить за них слишком дорого и лишь бы посетители все съедали, чтобы это не пришлось делать старику Деллапикалло. Сам он ел только спагетти.

Деллапикалло не так уж и рисковал, предоставив Арнольду полную свободу. Хоть Арнольд и мог говорить часами, не закрывая рта, точно конгрессмен или бродячий проповедник, ко всему, что касалось кухни, он относился с большой ответственностью. Повелось это еще с тех пор, когда в конце второй мировой войны он оказался в Париже — служил поваром в армии — и дважды обедал в довольно изысканных (по тем временам) ресторанах; ему там очень понравилось, и он до сих пор рассказывал про это всем, кто соглашался его слушать, утомляя собеседника бесконечными подробностями. Потом он, конечно, бывал и в других хороших ресторанах. Но, открывая для себя новое чудесное блюдо, головы не терял. С самого начала в Париже он понял, чтостряпня может быть и искусством, и никогда не уставал это подчеркивать; однако увлекаться приготовлением экзотических блюд не стал, хотя вы могли бы так подумать, когда я начну рассказ о событии, к которому неизбежно придет это повествование. В Париже он оба раза заказывал жареное мясо, *bifteck au poivre**, и усвоил простую истину: чтобы еда была превосходной, совсем не обязательно ей быть необычной. По его словам, он оба раза так расхваливал блюда, официантов и шеф-повара, что в конце концов все уверились, что он канадец. Это было тоже открытием — еда может служить миру между народами.

* бифштекс с перцем (франц.).

Итак, теперь раз в две недели, по пятницам, Арнольд готовил новое «фирменное блюдо шеф-повара»: утку по-пекински, говядину по-веллингтонски, баранью грудинку, заливную лососину — блюда, которые всегда кончались задолго до закрытия ресторана и которые со временем так прославили заведение Деллапикалло, что оно стало прямо-таки знаменитым в нашем городе и округе. И когда кто-то возвращался домой из Вьетнама, или к кому-то приезжали дальние родственники из Сиракуз или еще откуда-то, или просто старым леди хотелось приятно провести вечерок, все в первую очередь вспоминали о ресторане Деллапикалло.

Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что еда там подавалась более или менее обычная, по крайней мере, по меркам больших городов. Но в нашем городе в те времена было всего двадцать тысяч жителей, плюс минус несколько тысяч в зависимости от погоды на озере, и нас ничуть не удивляло, что, расписывая свои таланты, наш повар называл себя художником. Мы не видели в этом ни глупости, ни хвастовства. С одной стороны, Арнольд расходился постепенно, так что никто из нас попросту и не замечал, когда его начало заносить. С другой стороны, он имел обыкновение выражаться книжно, читал он, как я уже говорил, очень много и не только кулинарные книги, а все, что попадалось ему под руку. Любой печатный текст, оказавшийся перед его глазами в очках с металлической оправой — будь то список лицензий или номера на кромке обоев, — привлекал его внимание, и, находясь в его обществе, особенно если в зале постоянно завывают «Биттлы» или «Джефферсон Эйрплэн», порой и оглянуться-то не успеешь, как он уже сел на любимого конька. Мы же в то время — «банда стервятников», громили на мотоциклах, как нам нравилось о себе думать, а на самом деле «гризеры»*, компания обыкновенных ребят в поношенных черных куртках, с прыщавыми лицами — слонялись, ожидая, когда нас заберут в армию и отправят под пули. Нельзя сказать, что мы совсем уж не понимали, как обстоят наши дела. И у нас в городе были ребята, кото-

* «Гризеры» — прозвище выходцев из Латинской Америки.

рые записывались добровольно в морскую пехоту Соединенных Штатов и стремились поскорее в нее попасть; другие, напротив, пытаясь этого избежать, поступали в колледж. Мы же застряли между ними, на распутье, подобно бедным глупым щенкам — достаточно смысленные, чтобы не соваться в армию добровольно, но слишком робкие, чтобы сбежать и скрываться среди бунтарей. «Чума на оба дома» — был наш девиз, вернее, мог бы быть, если бы кто-то из нас хоть раз его услышал. Мотоциклы наши не были отмечены ни символом мира, ни флагом США, ни радугами ЛСД, ни нацистской свастикой, ни железными крестами. Единственное, что их отличало, была тусклая черная краска. Романтическое отчаяние и тайна. С диким ревом носились мы на перепроданных по три-четыре раза «харлеях», в основном старых добрых колымагах с задранными вверх выхлопными трубами — правда, чаще мы их толкали, чем ездили на них. И тем не менее мы были королями дорог с жесткой усмешкой на губах. И как ни анархичны были наши мечты, но, чтобы поддерживать машины на ходу, нам приходилось по большей части быть трудолюбивыми, добропорядочными гражданами.

Обычно после полудня мы заходили к старому Арнольду. «Пойдем потрепемся к старому Арнольду», — как бы в шутку предлагал кто-нибудь из нас, например, Тони Петрилло. Никто из нашей компании ни за что не признался бы, что ему и в самом деле интересно слушать рассказы Арнольда. И никто, насколько я помню, никогда не сознался бы, что не прочь посидеть в опасной близости с Анджелиной, внучкой старого Деллапикалло. После полудня у повара Арнольда не было особых забот. Одна-две кастрюли кипели на плите, из-за чего он время от времени убегал в кухню проверить, как идут там дела; но обычно в эти часы на кухне ничего существенного не происходило, ничего, с чем не мог бы управиться Эллис, если бы даже Арнольд на время исчез вообще. И вот Арнольд устраивался за одним из круглых темных столиков возле бара (ресторан был отдельно), где Джо Деллапикалло, сын хозяина, стоял за стойкой и где

иногда, если нам повезет, клиентов обслуживала его дочь Анджелина. Арнольд пил «черри»; стакан он держал большим и указательным пальцами, поигрывая остальными. За весь день он позволял себе лишь один большой стакан, хотя говорили, что, придя с работы домой далеко за полночь, он частенько вдребезги напивался, читая книжки и потягивая виски, пока его жена и три дочки крепко спали. В баре было темно и шумно от телевизора и пианолы, которая никогда не выключалась. Мы брали бочкового пива, подходили к столику Арнольда, расставляли стулья, усаживались.

— Привет, Арнольд!

— Привет, ребята.

Ему самому, конечно, казалось, что он отвечает с достойной сдержанностью, словно вещает с высокой трибуны — ни дать ни взять Линдон Бейнс Джонсон, разъясняющий телезрителям проблему ограниченных ответных действий США во Вьетнаме. Но этого не выходило. Арнольд был толстый, розовый, на носу торчали слегка запотевшие очки в металлической оправе, из-за них глядели бледно-голубые крошечные глазки, а шея и лоб даже здесь, где было темно и прохладно, всегда блестели от пота. И запах от него, если сесть с наветренной стороны, исходил ужасный. Светло-каштановые волосы, сильно тронутые сединой, были коротко острижены, как в старые времена в армии, и он носил продолговатые золотистые бачки, чем заметно выделялся в заведении Деллапикалло, где почти каждый — не считая толпы посетителей в обеденный час — был итальянцем. В некотором роде и я был исключением. Наполовину ирландец.

«Ну, что на бирже?» — спрашивал кто-нибудь из нас, скорее всего Бенни Руссо; несколько лет спустя он стал экспертом по компьютерам. Или кто-то другой задавал вопрос: «Послушай, Арнольд, в чем секрет счастья?» Скорее всего Ленни, по прозвищу Тень. Любил он про чувства поговорить. Был у него пунктик. «Совсем погряз», — решил я. Позже, во Вьетнаме, он пристрастится к наркотикам и в двадцать лет умрет, отравившись ими. Но что бы мы ни говорили, значения не имело, важно было «завести» Арнольда. А он, о чем

бы его ни спросили, всегда верил, что это серьезно. В те времена в моде была откровенность «хиппи», по крайней мере в определенных кругах, и мы тоже усвоили этот стиль, но с известной долей иронии, чтобы не дать кому-либо подумать, что мы принимаем всерьез рассказы Арнольда.

— А, это вы, хулиганы,— обычно бросал Арнольд, лишь приподняв уголки рта и брови и даже не давая себе труда презрительно вскинуть голову; впрочем, недружелюбия в этом не было. Он знал нас. Каждый знал нас. И большинство жителей города, как я убедился несколько лет спустя, даже любили нас, хотя всех раздражал проклятый шум наших мотоциклов.

— Послушай, малыш,— сказал Арнольд в тот день, с которого я поведу свой рассказ. Сощуриив глаза еще больше, чем обычно, он говорил с особым возбуждением.— Послушай, малыш, с тобой говорит художник, понимаешь? А что знает художник о том, например, что творится сегодня в мире? Люди всегда задают самые важные вопросы не тем, кому надо. Например, известного футболиста спрашивают о политике. А знаменитого проповедника, такого, как Билли Грэхем, просят предсказать, кому достанется Большой приз футбола.— Он покачал головой, как будто бы все это удручало его значительно больше, чем он смог выразить.— Если у вас есть мозги, ребята, то вы спросите меня: в чем соль жизни? И я отвечу: учитесь, овладевайте хорошим и честным ремеслом, а еще лучше — сделайте его искусством.— Он улыбнулся. Его подбородок был похож на большой розовый мягкий мячик с двумя-тремя ямочками.— И вот что я вам скажу: уж лучше вы задавайте проклятые вопросы мне, чем спрашивать кого-то, кто думает, что знает ответы на все.— Он посмотрел в сторону Джо, будто имел в виду его.

Джо, как всегда, вытирал тряпкой все подряд — стойку бара, краны, пепельницы, прекрасно зная, что минуту назад он все это уже сделал. Телевизор над его головой был включен, и оттуда неслись последние новости: кто-то кого-то убил, где-то проходили демонстрации и перевороты. Над Вьетнамом и Беркли летали вертолеты — все одно и то же.

На экране шум и грохот, бородатые «зеленые береты» смеяют бородатых партизан, у одного разбито стекло очков и заклеено «скотчем». И трудно поверить, что за стеной ресторана ярко светит солнце и разомлевшие собаки спят на тротуаре на солнышке.

Джо никогда не смотрел телевизор. Он вел свои собственные войны, необъявленные, точно великие державы, главным образом со своей дочерью Анджелиной. У него были быстрые, словно у игрока, нервные пальцы и черные волосы, зачесанные назад так гладко, что они казались нарисованными. Как и Арнольд, он не выносил длинноволосых. Когда его взгляд вдруг случайно падал на мои лохмы, которые в те дни болтались ниже плеч, лицо у него застывало и как будто даже дыхание перехватывало. Джо Деллапикалло, отец Анджелины, был не из тех, кому по душе мое пренебрежение к порядку. Сейчас, вытирая стаканы, он нет-нет да и усмехался, видимо прислушиваясь к нашему разговору, но ни за что не признался бы, что ему интересно, о чем мы болтаем с Арнольдом.

Входная дверь открылась, и, впустив волну света, вошла Анджелина. Занятия в школе кончились. Она была старшеклассницей. Джо бросил на нее беглый взгляд, как бы отметив, что она явилась; и все. Он всегда был такой — холодный как лед. Можно было подумать, что он ее ненавидит или вообще с ней незнаком, но попробуй кто-нибудь дотронься до ее красивых загорелых голых ног, он пулей вылетит из-за стойки и учинит над дерзнувшим Страшный суд. Я много думал об этом по ночам, в отчем доме, лежа в постели и заложив руки за голову. Считается, что наступила эра сексуальной революции, любовь свободна — было бы желание, — об этом писали все журналы, и я порою был уверен, что повсюду идет разгул свободной любви, везде, где только возможно, на каждой вечеринке, где меня нет, за каждым освещенным окном. Так, наверно, и было, даже в нашем городе, — и люди, рисующие на телах ближних цветы, и групповой массаж согласно инструкции; но ничего подобного не происходило там, где бывал я, и, несомненно, там, где быва-

ла Анджелина. В этом я совершенно уверен. Признаться, по вечерам я частенько следил за ней. Слонялся вокруг ее дома, наблюдал, горит ли свет в ее окне, и, если света не было и ее силуэт не мелькал в доме, искал, где же она, на какой вечеринке. Однажды около полутора часов я преследовал машину, в которой, как я думал, была она — бесшумно, с погашенными фарами висел на хвосте, — и когда наконец у засевших в машине сдали нервы и они вышли из нее под деревьями у озера, я включил фары и увидел всех троих сразу; девушка испуганно оглянулась, и я обнаружил, что это не Анджелина, а какая-то блондинка. Погудев, я дружески помахал им рукой. Словом, мы с отцом Анджелины создали ей такие условия, что вряд ли она могла незаметно даже пальцем пошевелинуть.

В ресторан она вошла быстро, длинноногая, двигаясь плавно, но с таким выражением лица, словно ждала нападения и готова была дать отпор.

— Привет, па, — жуя резинку, бросила она, не глядя ему в глаза, и сняла пальто. На ней было черное платье с белой полоской по вороту и подолу мини-юбки. Причем вырез вокруг шеи был столь же глубокий, сколь коротка юбка. Не ее это вина, в нашем городе так одевались все официантки подобных ресторанов. Подходя к вашему столику, она наклонялась слишком низко — вот за это я на нее злился, и ее отец тоже, — но мне вовсе не хотелось, чтобы она вела себя иначе. Ведь ее поведение ровным счетом ничего не означало, ни дурного, ни хорошего. Ей просто нравилось дразнить нас. Более того, я понял это значительно позже, в душе она была монашенкой. Скорее всего Анджелина сама не знала, чего хочет. Обыкновенная школьница, запуганная церковью и отцом, девственница, кокетка. В дни, когда «Плейбой» лежал прямо в гостиницах, ее легко можно было представить на просторах Калабрии: заигрывает с пастухами и чуть что — выхватывает нож.

— Привет, Арнольд, — обычно бросала она, улыбнувшись ему. Нам — ни слова.

Он улыбнулся в ответ, блаженно щурясь:

— Привет, Анджелина.

Фамильярность с его стороны. Но ведь он знал ее с пеленок. У него были права дяди.

Ему она улыбалась, а нам тыкала в нос грязной мокрой тряпкой, которой вытирала стол, и советовала не засиживаться.

— Ребята, не пора ли прогуляться по солнышку? А то ведь придется платить за постой!— говорила она, следя краем глаза, слышит ли ее отец.

Широкая улыбка, глаза, точно темный нефрит. Интересно, знает ли она, что в один прекрасный день ей придется при всей ее красоте стать женой кого-то из нас, народить детей, растолстеть? Конечно, этим все и кончится, считал я. И кто бы мог поверить в таком городе, как наш, что пройдет немногим более года и Анджелина окажется среди тех, кто пытался закрыть Корнельский университет, гневно скандируя лозунги-вирши и паля холостыми патронами. «Дорогой Финнеган»,— прочту я в каком-то азиатском болоте, а дальше — восторженное описание этих событий.

Как только она ушла, Арнольд отер лоб и снова заговорил, сложив на столе руки и благостно улыбаясь ей вслед, ни дать ни взять розовощекий священник.

В тот день он сказал нам:

— Хотите знать, что ее привлекает во мне? Зрелость, мальчики. Может быть, я и вам смогу подсказать кое-что, а?

Он постучал кончиками пальцев друг о друга.

— Да, мистер Деллер, пожалуйста,— сказал Ленни Кервон и нетерпеливо протянул к Арнольду руки, будто выманивая из него слова. Ленни, по прозвищу Тень, был из нас самым большим головорезом, по крайней мере с виду. Даже сразу после бритья, тогда он еще не бросил это занятие, лицо его было таким, будто он не брился со вчерашнего дня. Мы напряженно ждали.

Арнольд улыбнулся, выставив вперед подбородок.

— Беда ваша в том,— сказал он,— что вы вертитесь по кругу. А это — для золотых рыбок. Не обижайтесь! Ведь мир ввергнут в хаос, верно?— Он подался вперед, опираясь

на локти, вздернув брови и чуть морщась, словно напряженная работа мысли вызвала у него головную боль.— Война, революция, волнения студентов и брожения в полиции, наркотики, вседозволенность... А я скажу вам: все это пройдет. Никто в это не верит, никто не хочет думать о будущем,— ни один человек!— но я уверяю вас: *все пройдет!* После всемирного взлета наступит такой крах, какой никому и не снился. Изменится все, даже здесь, в этом захолустье, но как бы ни изменился мир, мы останемся с собой наедине — от себя не уйти! Мрачная перспектива, да? Свихнуться можно!— Он улыбнулся и подбородком указал на Тони Петрилло.— Сегодня ты носишься с прекрасными идеалами, завтра от них отречешься, объявишь все чепухой, а что? Сегодня это нормально: мир в разгаре огромного шумного бала; но ведь в конце концов бал будет окончен, помяните мое слово. Люди карабкаются куда-то, вопят, тонут в грязи, убивают друг друга и занимаются любовью прямо на улицах — но все, все это кончится в один прекрасный день, и, когда вы очнетесь, кругом будет тишина. Возможно, немного штурмовиков или бизнесменов в черных костюмах будут наблюдать за порядком. Но повсюду будет тишина. Ни один листок не шелохнется. И вот тогда-то людям некуда будет уйти от себя.— Он откинулся и вытер губы. У него дрожали руки, хотя он и улыбался, надеясь, что никто этого не заметит.— Но пасовать перед этим не надо. Поверьте, ребята, я знаю, что у вас на уме. Я про каждого знаю, что у кого на уме!— Он посмотрел на Джо.— Думаете, мне не хочется отступить, опустить руки, сказать — да пропади все пропадом?! Но пасовать не надо — иначе непременно сойдешь с ума. Человек — если он человек — должен знать, зачем живет на свете, чем может служить людям, ну, скажем, шить ботинки. Человек должен делать что-то очень простое, но в то же время священное, понимаете, о чем я говорю? Что-то такое, точно обряд, ну вотстряпня, например.— Он снова растянул губы, считая, что улыбается, и закрыл глаза.

Нам всем стало не по себе. Слишком уж он увлекся на

этот раз, нисколько не рисовался, не валял дурака. Ленни щелкнул пальцами:

— Точно, подать мне кухонную плиту!

И нам так захотелось поскорее превратить все в шутку, что мы все, подталкивая друг друга плечами, заорали: «О-го-го! Здóрово!» (Порою дурачиться — тоже дело.) Анджелина глянула на нас из-за стойки, давая понять, как она нас презирает. Джо механически продолжал протирать все подряд, в уголке его рта задергался мускул. Один только повар проявил великодушие. Не снимая рук со стола, он отвернулся от Ленни и обратился к Бенни, по прозвищу Мясник, — почему мы его так прозвали, не помнил никто. Он носил густую черную длинную бороду и очки в золотой оправе, а лоб его был опоясан ремешком, как у индейца.

— Улыбаешься? — спросил повар, впрочем, вопрос был риторический, так как Бенни Мясник всегда улыбался, немного печально, растерянно глядя на стол, на стену или на пол и слегка покачивая головой, точно медленно и задумчиво отвечал «нет». Глаза у него немного косили. — Улыбаешься, — повторил Арнольд. — Но ты убедишься, что я прав! Можно, конечно, вообразить, что жизнь — всего лишь инстинкт и в ней нет ничего удивительного. Но мы не животные, и в этом наше величайшее достоинство и вся сложность. — Он торжественно поднял палец, будто хотел извиниться за свой высокопарный слог. — Мы должны разобраться во всем, понять человеческую природу, найти путь, который приведет нас к самим себе.

— Запланируем все наперед, — влез в разговор Тони Петрилло. — Запланируем! — Он двинул кулаком правой руки в ладонь левой и едва не промахнулся, хотя и глядел так напряженно, что даже глаза сошлись у переносицы. Никто не обратил на него внимания. Он всегда порол чушь. Утверждал, что свихнулся, глядя на Уолтера Кронкайта*. И всегда старался переключить программу прежде, чем Кронкайт успевал сказать: «Таково положение». Тони был

* Уолтер Кронкайт — известный политический обозреватель и телекомментатор США.

весь какой-то развинченный, длиннорукий, нескладный, голова на шее болталась, да и вообще он был чокнутый, например, однажды, когда мы встали на «красный свет», он забыл опустить ноги на землю и грохнулся так, что его мотоцикл едва не загорелся. Пределом его мечтаний было стать полицейским в каком-нибудь большом городе. Бредовая идея. А кончилось тем, что он поступил санитаром в госпиталь штата Виргиния.

— Что мы такое?— спросил Арнольд, на этот раз обращаясь ко мне. Я всегда охотнее всех слушал его и меньше всех над ним подшучивал. Я не хвастаюсь. Просто я не был особенным весельчаком.— Большие обезьяны с огромными мозгами,— свирепо объявил Арнольд. И вдруг гневно сверкнул глазами, словно мы, «стервятники», были виновны в том, что люди — всего лишь большие обезьяны.— Огромные мозги, конечно, условно,— добавил он.— По сравнению с китами люди просто недоумки, но не в этом дело. Как бы там ни было, наши мозги достаточно велики, чтобы управлять всем организмом. То, что известно животным благодаря инстинкту, люди постигли с большим трудом. Лишь самые сильные инстинкты сметают все преграды, которые мы создаем. Итак, что мы такое? Какой можно сделать вывод, чтобы сложилось понятие — Искусство жить?— Его губы дрожали.

Анджелина, точно снимаясь для кинорекламы, застыла, прислонившись к бару и согнув одну ногу в колене, словно насмехалась всем своим видом над «огромными человеческими мозгами». Однако, похоже, ей не менее, чем нам, было интересно все, о чем говорил повар, хоть она и делала вид, что ей все безразлично. И вдруг до меня дошло: Арнольд Деллер знает это. А знает ли ее отец?

Не обращая внимания на Анджелину, Арнольд стал загибать пальцы. Опершись локтями на стол и, точно глыба, возвышаясь над ним, он настойчиво внушал нам:

— Итак, первое: мы животные социальные. И ни на что не годны, если мы не в стае, вот как вы, ребята. Возьмите любого из вас — ну хоть тебя, Бенни Мясник,— ведь тебя

одного может свалить даже полуголодная бездомная кошка. Да разве только это? Даже если мы делаем вид, что мы не такие, как все,— например, ты, Финнеган.— Прищурил один глаз, он ткнул в меня пальцем, суровый, с дрожащими губами.— Даже если мы делаем вид, что это не так, нас все равно тянет в стаю. Потому что вне стаи нам одиноко, нам нужно кого-то любить и защищать.— Он кивнул в сторону Анджелины и подмигнул, но вышло совсем не смешно — на что, без сомнения, он рассчитывал,— а как-то жутко: так может мигнуть отрубленная голова. Встревоженный, я метнул взгляд на отца Анджелины, затем снова посмотрел на Арнольда. Он поднял руку ладонью вверх, святая невинность.— Итак,— продолжал Арнольд,— первое — мы животные социальные. От этого никуда не уйти. Повинуясь первобытному инстинкту, мы рожаем детей, которые не могут постоять за себя сами. И родители заботятся о них, привязываются к ним, и так мало-помалу, век за веком, как говорит мистер Дарвин,— неплохо бы найти кого-то, кто почитал бы его тебе, Финнеган,— ха-ха-ха-ха!— и так мало-помалу, из века в век, все больше и больше привыкая любить, пока — как вот у нас сейчас — любовь не станет почти что болезнью, о, эти муки любви... Но унывать не будем, китам еще хуже! О'кей! О чем это я? Ладно!— Лицо его вдруг помрачнело и напряглось, точно туго сжатый кулак.

Бенни Мясник посмотрел на меня, будто в чем-то подозревая, затем снова устался в стол и покачал головой. А что я мог ему сказать? Я и сам не понимал, что происходит. Повар всегда был немного «с приветом», любил читать проповеди, но сейчас, здесь, явно творилось что-то неладное. В воздухе повисло какое-то напряжение, как будто даже мебель и темно-красные стены как-то свихнулись. Мне было не по себе, стены давили, не хватало воздуха, и все же очень хотелось послушать, что еще скажет Арнольд. Даже если это была просто игра ради Анджелины — такая дикая мысль неожиданно осенила меня,— я чувствовал, что этот разговор ведется неспроста, с какой-то определенной целью. Анджелина же сидела беззаботно, точно птичка на проводах.

Ее отец стоял к ней спиной, механически перетирая стаканы.

— О'кей,— сказал Арнольд,— но нам известно еще и второе — в нас живет инстинкт агрессии, и это тоже из-за детей.— Он направил в меня палец, словно пистолет.— Бороться умеет любое животное — утка, волк, медведь,— но у людей с этим все обстоит гораздо сложнее. Об этом вы когда-нибудь думали? А причина — опять же дети, вот что я обнаружил. В обычной схватке животных один из самцов рано или поздно отступает (только не лошади, лошади — психи). Но человеческие детеныши — дело другое. Человек защищает свое гнездо, пока его дети не смогут ходить, говорить, не научатся разводить огонь, охотиться, готовить пищу. На это уходят годы. Десять лет, двенадцать? Причем мало просто изгнать врага всякий раз, когда он является. Нужно очистить от врагов свой лес, обезопасить себя. Выживает тот ребенок, чьи родители окажутся наиболее злыми, самыми *безжалостными*.— Он посмотрел на Ленни Тень, который открыл было рот, чтобы что-то сказать.— Ты подумай, малыш,— опередил его Арнольд.— Посоветуйся с пастором.

Незаслуженно обиженный, Ленни удивленно поднял брови и, разведя руками, посмотрел на меня. «Где же справедливость?»— говорил его взгляд. Справедливости не было.

Арнольд одержимо врубался в скалу. Он вновь навалился на стол, его лицо блестело от пота, он в упор уставился на меня, словно забыл, что остальные здесь тоже.

— Но вот тут-то,— сказал он,— начинаются трудности, сейчас вы это увидите! Родители любят свое дитя и, конечно, любят друг друга, иначе они не стали бы жить вместе и опекать свое дитя, и довольно скоро они приучаются любить и своих родных, и соседей, так как это тоже помогает им выжить; проходит век за веком, и люди приучаются любить родных и чтить покойных родственников, и каких только мудрых мыслей не оставляют они потомству, нацарапав их на камнях и кусочках дерева. Вот это сговор! Семья и ее соседи, живые и мертвые, все стоят на защите бедного, беспомощного ребенка! Но все они ненавидят — я

повторяю: *ненавидят!*— врага, «чужого».— Он метнул острый взгляд на Джо, который все еще стоял за стойкой бара,— Анджелина тоже не него посмотрела,— но Джо, казалось, не заметил ни того, ни другого.

— И все идет хорошо,— сказал Арнольд — до тех пор, пока люди держатся тесными маленькими группками. Но что происходит тогда, когда вдруг поселяются вместе, в одном городе, ирландцы и итальянцы? Англичане, валлийцы, немцы, евреи, китайцы, чернокожие? В таком случае нам приходится раздвинуть горизонты и придержать наши инстинкты.— Он опустил голову и ткнул пальцем мне прямо в нос.— Мы изобретаем цивилизацию и суды и придумываем, как заставить человека любить чужих покойных родственников, тех, которые дурно отзывались о наших покойных родственниках. И тут уже работают наши мозги — понимаете? Тут любовь — уже политика, а не просто инстинкт. Вот в чем — Искусство жить. Это не просто инстинкт; это то, что делаешь с определенной целью. Это искусство!

Он почти кричал.

Может быть, вам сейчас хотя бы отчасти понятно, что там у нас происходило, но тогда я ничего не понимал. Сердце у меня колотилось, кровь прилила к лицу, хотя мне и удалось сохранить видимость холодной улыбки. И все же я не думал, что повар в буквальном смысле сошел с ума, я был уверен, что он не пьян, но мне непонятно было, зачем он кричит на меня, пытается сделать из меня дурака. Даже чепуха, которую городил Тони Петрилло, казалось, имела больше смысла.

— Ты во всем разобрался и оставь это при себе, Арнольд,— сказал я тихим голосом, улыбаясь, как будто бы это был вовсе и не я, а лишь мое изображение, посланное с космического корабля. Я почувствовал, что Анджелина на меня смотрит, и обернулся, но она смотрела уже чуть в сторону. По-моему, она покраснела тоже.

Наконец до Арнольда дошло, что никто его не понимает, разве что Джо за своей стойкой. Откинувшись на спинку

стула, Арнольд неожиданно рассмеялся.

— Наш повар свихнулся, а?

— Эй, послушай,— начал было Ленни Тень, но тут же забыл, что хотел сказать, словно проглотил свою мысль.

А повар продолжал:

— И еще я вам доложу — Искусство там, где все стекается вместе, вот к чему я веду. Возьмите хорошее китайское блюдо, вещь очень специфическая.— Он бросил быстрый нервный взгляд в сторону Джо и Анджелины, вращая глазами, как герои стародавних фильмов Эйзенштейна.— Мой мальчик Райнхарт там, во Вьетнаме...

Мы все разом усталились на стол. Это было хуже всего — когда он начинал говорить о своем погибшем сыне так, словно все было в порядке. Он выдавливал из себя фальшивую улыбку, задирая вверх брови — он, возможно, и сам не сознавал этого,— губы у него дрожали, голос садился, а глаза наполнялись слезами. Казалось, это должно было вызывать в нас сострадание к нему, но боюсь, что на самом деле мы скорее испытывали неловкость и чувствовали себя жалкими подонками. И если бы такие разговоры повторялись чаще, мы, пожалуй, перестали бы к нему ходить.

— Мой мальчик Райнхарт там, в Азии, попробовал такое блюдо, к которому, конечно же, американцы из-за предрассудков и не прикасались. Однако это блюдо было приготовлено настолько искусно и было так совершенно, что в конце концов устоять перед ним было невозможно. Об этом написал мне сын. Я письмо получил. Это была не просто еда. Это было событие. Сын писал, что, вкушая это древнейшее из известных в Азии блюд, представляешь, что вокруг тебя собрались за трапезой древнейшие из древних мудрецов. И сын был прав, смертельно прав.

Мы продолжали упорно глядеть на стол, и, наверное, каждый из нас думал о случайно сорвавшихся словах — «смертельно прав».

А Арнольд заговорил вдруг значительно спокойнее:

— Искусство, понимаете, именно искусство пробуждает в людях чувство общности, стремление объединиться, все-

объемлющий гуманизм, вам ясно, что я имею в виду? Это одна из основ, на которых зиждется порядок, о котором я вам толкую. Неважно, художник ли вы или просто серьезный ценитель искусства, важно то, что вы собираетесь вместе и вместе слушаете — ха-ха — ансамбль «Голубые глаза» всякий раз, когда он приезжает в город. Жизнь полна скрытого смысла. Все и везде имеет скрытый смысл.— Его голос срывался. Мы затаили дыхание, боясь, что он вот-вот разразится рыданиями. У меня в голове копошились черные мысли — думаю, что не только у меня. Мне, конечно же, было жаль его, и я знал, что его нельзя винить; но мне хотелось, чтобы он, черт возьми, взял себя в руки. Несомненно, это тоже было придумано заранее, решил я, чтобы нам, подонкам, захотелось поскорее убраться, бросив умирающего волкам.

— Послушай,— сказал я.— Никто ведь не покушается на искусство. Художники — это прекрасно.

Анджелина смотрелась в зеркало и, без сомнения, думала о том, что она-то как раз и есть Искусство. Случайно наши глаза встретились.

Повар сжал руки и передернул плечами, будто у него болела спина. Он не принял предложенный мной компромисс, он явно испытывал потребность быть откровенным до конца.

— Наверно, не все художники прекрасны,— как-то даже жалобно сказал он.— Есть ведь и такие, что отрезают себе уши, убивают себя, и даже такие, которые убивают других.

Рот у него скривился, и он наклонил голову, поспешно и виновато облизывая губы. Слезы текли из-под очков в тонкой стальной оправе. Я был согласен с Бенни, качавшим головой. Надеяться было не на что. Разве что пол наконец разверзнется и поглотит его.

Арнольд обеими руками стер слезы, затем наклонил голову, глаза его все еще глядели виновато, но в них проскользнуло раздражение. Наверное, он почувствовал, что нам надоело слушать его рассказы о художниках. Но он снова заговорил, и еще более упрямо, и еще более раздраженно:

— Но они делают это не как художники, или, во всяком случае, не эти безумные выходки делают их художниками, хотя, возможно, одно от другого неотделимо, может быть, художники — это дети, непрактичные дети...— Он задрал подбородок, предупреждая, чтобы мы не соглашались с ним слишком поспешно.— Вы должны представлять себе, к чему же мы пришли в конце-то концов,— сказал он, с силой ткнув пальцем в стол.— Если человек — художник, все равно женщина или мужчина, он обязательно делает что-то, какие-то предметы, которые его никто не просит делать, или даже никто не хочет, чтобы он их делал, и даже, может быть, больше хочет, чтобы он их *не* делал. Но он все равно их делает, и когда они попадают людям в руки или когда люди останавливаются перед ними, они вдруг начинают чувствовать, бог знает почему, что им хотелось бы взять эти предметы с собой, или съесть их, или, если предмет слишком велик, чтобы нести его домой или съесть, они помещают его в музей. Вот в этом-то вся и штука, чтобы вновь и вновь делать жизнь поразительной и интересной, чтобы соединять семьи, любящих — кого угодно.

И вдруг Джо перегнулся через стойку бара и, ухватившись обеими руками за внешний ее край — его брови, точно крылья черной птицы, выгнулись дугой,— заорал:

— Нет!— Он обращался, несомненно, к Арнольду.— Мне наплевать на твои бредовые идеи. *Не будет черной собаки!*

Анджелина побелела от гнева. Она взглянула на отца, выскочила из-за стойки и, подлетев к нам, уперлась руками в стол:

— Ну, долго еще вы будете здесь сидеть? Кончайте базар и смывайтесь отсюда, оставьте его в покое!

— Ты что, Анджелина?— сказал Ленни. От изумления он едва не свалился со стула.

— Все в порядке, Анджи,— сказал повар. Лицо у него налилось кровью, глаза дико вращались.— Пойду погляжу, как там в кухне.— Он резко отодвинулся от стола, нагнулся вперед и встал — огромный, как дом, с татуировкой на руке — сине-красным драконом до самого плеча. Он ус-

мехнулся дрожащими губами:— Вы тут ни при чем, ребята. Не волнуйтесь.— И мне:— А ты, Финнеган, проникнись тем, что я сказал.

Разинув рот следили мы, как он вразвалку прошел на кухню, затем убрались восвосяи.

Выйдя из ресторана Деллапикалло, мы, как обычно, покружили по городу. Свистящий в ушах и рвущий волосы ветер несколько привел меня в чувство, хотя я в жизни еще не был так ошарашен. Другие поняли не больше, чем я.

— Какого черта! А мы-то при чем?— возмущался чокнутый Тони, когда мы вышли из ресторана и стояли на улице, щурясь от яркого света.

— Да, мы-то при чем?— загалдели остальные.

И, как бы стараясь стряхнуть с себя одурь, мы разводили руками и оскорбленно вскидывали голову — обычные жесты напрасно обвиненного, превратно понятого громилы, однако на этот раз вполне оправданные. Проносья по улицам города, мы сегодня старались держаться более плотной группой, чем обычно, и, замедляя ход, пугали прохожих оглушительным ревом.

Несмотря на чувство вины и смятение, мчаться в группе сегодня было упоительно, может быть, даже более чем когда-либо, потому что это была не обычная гонка, а гонка, вдохновленная тем, что каждому — мы ощущали это — еще предстояло пережить. Знакомый глухой звук чак-чак, присущий лишь «харлею», радовал слух, и было приятно видеть перед собой плотную, точно стена, обтянутую черной курткой спину Бенни Мясника, который шел впереди меня, или Ленни Тень рядом с ним слева; их мотоциклы на толстых колесах, освещенных светом задних фар, дымили, точно провинциальные шлюхи. Тони Петрилло шел слева от меня, и обмотки его рукояток игриво бились на ветру. Я взглянул на него, и он поднял руку в черной перчатке, да так элегантно, что я засомневался — не была ли притворством его обычная судорожная неуклюжесть. Оскалившись, я махнул ему в ответ.

Ах, да, конечно, это тоже была любовь; одно из звеньев крайне сложной генетической цепи. Мы были королями дорог и пронеслись по улицам города, сбавляя скорость, чтобы стрелнуть выхлопными газами в леди и джентльменов на тротуарах. Наконец мы вырвались за город и теперь уже мчались один за другим, все ниже пригибаясь к рулю. Спустились сумерки. Бенни, а за ним Ленни зажгли фары, осветив озеро. Оно было спокойное и гладкое, точно зеркало, и каждый уголок его отзывался эхом на дикое, звериное буйство нашей молодости, будто радуясь, что нас сюда занесло.

Я все еще не оправился от чувства вины и смятения, хоть и начал постепенно склоняться к теории Арнольда, когда вечером вышел в гараж, чтобы повозиться с мотоциклом и отладить его. Я томился, но не только от угрызений совести, томился еще от неясной надежды. За ужином мама сказала, что у меня больной вид, а сестрица безапелляционно заявила: Финнеган влюблен.

— Не разговаривай с набитым ртом,— сказал я просто как заботливый старший брат.

— О, Финнеган всегда влюблен,— сказала мама, уходя от этой темы.

Но отец, лукавый и коварный старый калабриец, поднял глаза — он быстро ел, низко склонившись над тарелкой,— и усмехнулся.

— А готовить она умеет?— спросил он. Намек был тонкий, но, заметив, как переглянулись отец с матерью, я понял, что они видят меня насквозь. Вдруг — спустя три-четыре секунды — моя сестра Шеннон, поняв шутку, фыркнула и, захихикав, прикрыла рот обеими ладонями.

— Финнеган влюблен в Анджелину-у-у,— пропела она.

— Шеннон, прекрати дразнить брата,— сказала мама. Повернувшись ко мне, она потянулась, чтобы положить мне добавку.— Пригласи ее как-нибудь к нам, Финнеган.

— Она не пойдет,— сказал я.

— Что за глупости,— возразила мама. И сказала это так

убежденно, что мне вдруг совершенно по-новому представилось то, что произошло в ресторане Деллапикалло, да и все, что происходит каждый миг повсюду в мире.

Я возился с мотоциклом уже около часа, когда вдруг позади меня постучали в дверь — скорее из вежливости, поскольку дверь была широко распахнута на улицу. Я обернулся, но сначала ничего, кроме расплывчатого силуэта, не увидел, так как меня ослепил яркий свет фонаря. Когда же огненные круги рассеялись, оказалось, что это, как я и подумал сразу, была Анджелина. Я посмотрел на часы: десять вечера. Ей полагалось быть еще в ресторане.

— Привет, Анджелина,— сказал я.

Она выглядела маленькой и ежилась, точно от холода, хотя холодно не было. Сейчас она не казалась даже хорошенькой, просто усталой, но сердце мое тревожно заныло. Прислонившись к дверному косяку, она сказала:

— Привет.— Затем, помолчав, добавила:— Финнеган, можно с тобой поговорить?

— Конечно, почему бы нет?— Я никак не мог решить, вставать мне или нет. Если бы я встал, это было бы мило — знак приветствия; но вдруг она подумает, что я хочу воспользоваться случаем, и вообще, я лучше смотрюсь, когда занят машиной. О чем говорить, я тоже не знал. «Ты сногшибательно выглядишь»,— мог бы сказать я, что было бы и верно и неверно. Но что бы я ни сказал, даже если бы это была абсолютная правда, она все равно мне возразит. Я знал ее. Она даже не сочла нужным извиниться за то, что кричала на нас, точно она королева, которая всегда права.

— Какой хороший мотоцикл,— сказала она. И слово «мотоцикл» прозвучало так приятно в ее устах, ведь сами-то мы говорили «тачка». Как здорово, что она так сказала. Не спрашивайте почему.

— Не такой уж хороший, барахлит,— ответил я.

— А что с ним?

Она спросила это настолько заботливо, с таким значением, наверное, нарочно, чтобы я окончательно запутался. Сердце мое возликовало. Какое лицо! Какие глаза! Я же го-

ворил, что она в школе самая умная!

— Да ничего,— сказал я напряженно,— просто не отлажен. Вот хочу настроить.— Я улыбнулся:— Как пианино.

Я все-таки встал, правда, нехотя, ссутулясь, сразу видно, что не опасен. Взяв тряпку с сиденья машины, вытер руки.

— Как пианино,— повторила она, чуть заметно улыбувшись, и, быстро взглянув мне в глаза, тут же отвела взгляд в сторону. Помедлив, она сделала несколько робких шагов внутрь гаража и прислонилась к верстаку, глядя на мотоцикл, а не на меня. Нерешительно, осторожно она подняла одну ногу и поставила ее на банку, где я держал в масле запчасти. Я подумал, что вот точно так же она стояла и тогда, прислонившись к бару и слегка опираясь ногой о ступеньку, но сейчас это не выглядело кинорекламой, просто она устала, и это было естественно.

— О чем же ты хочешь поговорить?— спросил я.

Ведь она живет далеко отсюда, подумалось мне, но я тут же вспомнил, что у нее есть машина, красная, с откидным верхом. Я обернулся и увидел ее машину здесь, рядом, сверкающую в свете уличных огней.

— А ты не взбесишься, если то, что я скажу, покажется тебе... странным?

— Мне?— забывшись, я неожиданно усмехнулся.— Не думаю.

Собираясь с духом, она поглядывала на меня, не зная, как начать. Наконец сказала:

— Ты когда-нибудь слышал такое название: «Императорская собака»?

Поджав губы, я немного подумал и затем покачал головой.

Она оттолкнулась от стола, прошла в глубь гаража к узкой задней двери, открыла ее, выглянула наружу. Я знал, что оттуда видно озеро, спокойное, освещенное лунным светом, оно лежало в двух милях отсюда, хотя казалось, что значительно ближе. Мне захотелось подойти к ней, встать рядом, но я не решился.

— Арнольд нашел старинный рецепт, китайский, он называется «Императорская собака»,— сказала она, как бы обращаясь в темноту, к озеру.— В книге написано, что это, возможно, самое изысканное в мире блюдо.

Чуть повернув голову, она смотрела на меня и ждала, как я отреагирую.

— О!— сказал я.

Она повернулась еще немного, но смотрела не на меня, а на мои ботинки.

— Собака должна быть совершенно черная. Ее нужно убить за минуту до того, как начнешь готовить. И...

Я спросил:

— Так он поэтому кричал на меня?

— Он кричал на отца.— Она избегала моего взгляда, но вдруг, смягчившись, подняла глаза и, видя, что я жду, когда она соизволит мне объяснить все, сказала:— Наверное, он кричал из-за многих причин, не только из-за того, что отец не позволил готовить это блюдо в ресторане. Прошлой ночью мы с ним поссорились. Из-за школы и еще всякого...

— Из-за парней?— спросил я.

— Парней? Каких еще парней?

Но я-то видел ее насквозь.

— О, я думаю, кое-кто вьется вокруг тебя. Только они не любят показываться на свет божий.

Насторожившись, она испытующе смотрела на меня.

— Скажите, какой догадливый!

— Нет, вовсе нет.— Я снова схватил тряпку и начал тереть руки.— Так из-за этого он кричал, да? Тебя защищал, что ли?

Казалось, она неожиданно включилась в игру и напряженно решает, какой сделать ход.

— Я понимаю, ты хочешь сказать, что он орал на весь мир. На смерть и на все прочее. Этот рецепт он нашел чисто случайно, *по-моему*, это случайное совпадение, и блюдо как раз то, что Райнхарт ел там... А теперь он хочет это блюдо приготовить. В ресторане. Собаку.

Она кивнула.

— Понятно,— сказал я,— понятно.

Она ждала, наблюдая за мной. Я сложил тряпку, бросил ее на стол, выключил фонарь, выдернул шнур и стал его сматывать.

Наконец я сказал:

— А от меня чего ты хочешь?

Впервые за вечер она взглянула мне прямо в глаза и не отвела взгляда, собираясь с духом, чтобы объяснить, зачем пришла.

— Достань ему собаку, Финнеган.— Она помолчала.— Пожалуйста.

Я засмеялся.

Она вскинула на меня удивленные глаза и вдруг разозлилась. Только потом я понял, какие чувства владели ею, больше всего она была смущена, ей было даже стыдно. Как и я, она хорошо понимала, о чем она меня просит. И если б я был посмекалистей, я возмутился бы — неужели она думает, что я пойду на это? А я рассмеялся.

У нее расширились глаза, затем снова сузились, и она пошла прямо на меня к выходу — от задней двери гаража пройти иначе было нельзя. Смеясь, я схватил ее за локоть. Она попыталась вырваться, сильно дернулась, повернувшись ко мне боком, но я крепко держал ее, и вдруг я почувствовал, что она передумала. Она перестала сопротивляться. Лицо было еще злое, но покорность локтя ее выдала. Мама была права. Арнольд Деллер считал так же, теперь я это знаю. И именно поэтому взялся за роль свахи, хоть и в своей кретинской манере и преследуя собственные цели. От этой мысли мне стало еще смешнее, я вспомнил, как он утверждал, что китайская кухня объединяет людей.

— Прости,— сказал я.— Такое хоть кого рассмешит. Похоже на сказку, правда? Где принцесса посылает любимого: «Иди и убей дракона!»— или: «Поймай золотую волшебную утку».

Ее глаза сверкнули.

— Какого это «любимого»?

— Я просто хотел сказать, что все это *похоже* на сказку,— сказал я.

— Если ты вообразил, что...

— Да ничего я не вообразил!— Я отпустил ее и поднял руки вверх, сдаваясь.— И ты хочешь, чтобы я пошел и отнял у детей черную собаку?

— Да нет же, черт возьми, Финнеган! Совсем сдурел, что ли? Нам нужна *любая* собака, бездомная.

Она стояла, подняв ко мне лицо, и запах, исходивший от нее, дурманил меня. Ее все еще мучило что-то, словно худшее, что нужно было сказать, еще впереди, и она это сказала:

— Собака должна быть совсем черная, и нужна сегодня.

— Сегодня? Ну, ты даешь!

— Я обещала Арнольду. Понимаешь, он не может приготовить это *дома*, Финнеган, у него нет там нужной посуды, кастрюль, да и подходящей плиты нет.— Слезы вдруг выступили у нее на глазах.— Он должен приготовить это в ресторане. Ты же понимаешь!

— Я вообще не понимаю, зачем ему нужно готовить эту чертову собаку!

— Нужно,— сказала она. Не думаю, что до этой минуты она и сама знала, как твердо в это верит. Уступая понемногу, но еще не сдаваясь окончательно, я попытался посмотреть на все объективно.— А твой отец? Он согласится, чтобы Арнольд готовил эту собаку сегодня?

— Он ничего не знает. Он даже не подозревает, что мы затеваем это.

Я подумал об этом «мы». У меня возникли вопросы философского порядка. Только сегодня Арнольд Деллер проповедовал нам, что настоящий художник — великий гуманист, что он даже своего рода образец гуманизма и его творчество способно научить людей создавать образцы величайшего в мире искусства — Искусства жить. И вот теперь во имя так называемого искусства, во имя его ребяческой веры в то, что жизнь — лишь сплошная доброта, во имя невинности с отрубленным ухом, а на деле ради его фана-

тического «эго» художника и поварского слабоумия я должен стянуть какую-то собаку.

— Собаки ведь тоже люди,— сказал я.

— Но не для китайцев.

Спорить с ней было бесполезно.

— Анджелина,— спросил я,— а тебе-то это зачем? Почему ты помогаешь ему?

— Дедушка обещал, что Арнольд сможет готовить все что захочет,— сказала она.

— Это не объяснение.

— И отец,— сказала она,— не имеет права запрещать...

— А,— сказал я,— вот оно что!

— Это японский,— огрызнулась она,— а не китайский рецепт.

— Один черт,— сказал я.

— Господи, Финнеган,— сказала она,— какой же ты дурак.

Презрение было отчасти притворное, старая калабрийская игра; но что было действительно верно, так это то, что я был к ней несправедлив и знал это. Не только ради того, чтобы досадить отцу, она взялась за это. Быть может, она помнила, как Райнхарт носил ее на плечах, когда ей было всего пять лет, а ему девять, а может быть, ради необъятной скорби Арнольда Деллера.

— Анджелина,— сказал я,— но это же невозможно.

Она подумала, потом покачала головой.

— Нет, возможно,— сказала она.— Во всяком случае, не невозможно.

Я потер указательным пальцем нос.

— Ну ладно. Попробую, если удастся подбить ребят.

Мы вышли. Сначала мы обзвонили все загоны для собак на сорок миль вокруг — Бенни Мясник умел бесплатно звонить из автоматов,— везде было закрыто. Затем, хоть у каждого и были свои сомнения, мы объездили все в поисках черных ньюфаундлендов. Пока не столкнешься с этой проблемой, кажется, что ньюфаундленд есть в каждом доме, но

это вовсе не так. Каждый из нас знал кого-то, далеко или близко, у кого был ньюфаундленд или черный пудель. Но когда доходит до дела, оказывается, что стащить собаку у товарища очень трудно. Наконец мы нашли одну: ребенок играл во дворе с черной собакой неизвестной породы. Мы уселись, наблюдая через проволочную сетку забора — это было недалеко от озера, куда люди приезжали на лето из Нью-Йорка,— и Тони Петрилло впервые в жизни высказался умно и дельно:

— Ребята, не надо. Лучше уж магазин ограбить.

Так мы и сделали.

Было уже за полночь, когда мы с этим справились: достали собаку, черную, среднего размера, неопределенной породы — на клетке надписи не было, никто из нас такой породы не знал. Продырявив заранее большую коробку из картона, чтобы собака могла дышать, мы запихнули ее туда и привязали коробку к багажнику Бенни Мясника. Тони, как и Ленни, немного досталось, но не так уж сильно; во всяком случае, дело мы сделали. Арнольд ждал нас, очень ждал. И Анджелина тоже. Сверхзабоченный, согнувшись в три погибели, Арнольд потирал толстые руки и бормотал что-то, наверное, из рецепта, боясь забыть что-нибудь. Открытая книга с рецептом лежала на кухонном столе под лампой. Когда мы втащили собаку на кухню, из бара вошел Джо и застыл, глядя на нас, мускул в уголке его рта дрожал, как струна гитары. Арнольд ласкал собаку, кормил ее, не обращая на Джо никакого внимания, и быстро говорил Эллису, что надо делать, чтобы все было точно по книге. Эллис, опустив голову и не произнося ни звука, двигался очень быстро, словно боялся, что из-за холодильника вот-вот выскочит кто-то и убьет его. Резко развернувшись на каблуках, Джо вышел, за ним тут же вышла Анджелина. Мы толклись в кухне и, стараясь не мешать, наблюдали за тем, что происходит, нас всех немного мутило, всех, кроме Тони Петрилло, который, посвистывая, рыскал по холодильникам и по столу и наконец сварганил себе бутерброд с ветчиной

и сыром. Вернувшись в кухню, Анджелина объявила, что отец пошел звонить деду.

— Как ты думаешь?— спросил Ленни Тень.— Старик Арнольд и в самом деле хочет убить собаку?

— Не знаю,— сказал я.— Он вроде уже с ней подружился.

— Убьет,— сказал Бенни Мясник, задумчиво покачивая головой.

Арнольд убил собаку. Это надо было видеть. Я не верил своим глазам. Анджелина машинально протянула ко мне руку.

— Меня тошнит,— сказал Ленни и вышел.

Возможно, потому, что чувствовал себя виноватым, Арнольд начал болтать. Я заметил, что он глотнул виски.

— Люди живут слишком легко, в этом главная беда,— сказал он. Он несколько раз вытер о фартук окровавленный нож.— Глядят в глупый телевизор, читают глупый «Ридерс дайджест», глупые бестселлеры, едят помидоры без вкуса и запаха, ценность которых лишь в том, что их легко перевозить, ходят на работу и с работы домой, точно коровы на дойку...— Он вытащил другой нож, длинный, шириной в восемь дюймов, и, подняв его, с силой ударил — ПУМП!— голова собаки отлетела, разбрызгивая кровь. Анджелина зажала руками побелевшее лицо. Арнольд снова поднял нож и левой рукой быстро придвинул тушку. Майка его взмокла от пота, пот бежал по сине-красному дракону на рукаве. Он кричал нам через плечо:— Они ходят в свои церкви, сидят там, как пни, даже петь гимны кого-то нанимают за деньги, в понедельник идут к дантисту, который снимает слепок с их челюсти, ставит ее на большую деревянную подставку с золотой пластинкой, на которой написано их имя, они суют ему чек — не деньги и уж тем более не мешок молодой картошки,— и дантист делает их красивыми, как Джоан Баэз...— ПУМП! ПУМП! ПУМП!

Брызги крови были повсюду — на полу, на майке Арнольда, на фартуке, даже на крыльях его носа. Голова собаки смотрела на меня, свесив язык между неподвижными

крупными зубами,— казалось, она тоже никак не могла поверить в то, что здесь произошло. Никто не шелохнулся, ни Анджелина, ни один из нас. Ужас сковал нас, но мы были не в силах даже отвернуться. Можно отвернуться, когда давят клопа или творится кошмар на экране, но это!.. Кровь, шерсть, зубы, запах бойни, перебивший даже запах пота от Арнольда. Здесь можно было только пить, и Арнольд пил, но вовсе не потому, что не мог на все это смотреть. Нет, он наслаждался, как Сатана, и сине-красный дракон плясал на его руке, повинувшись игре мускулов.

Пот струился по его лицу, может быть, это были и слезы, все лицо было мокрым, бесполезные очки вздернуты на лоб.

— Все очень просто, просто, как пирог,— телевизор навязывает обеды из цыплят, не ступавших на землю, из вмиг приготовленной картошки, салаты в каком-то растворе — храните хоть до пришествия Антихриста! А результат — человечество превращается в стадо овец. Именно так! Люди сами как дети, пока не научатся заботиться о себе. Они принимают сначала мелочи — искусственно выращенные помидоры и вечный салат, затем — никуда не годные дома и автомашины из пластика, рассчитанные на самоубийц, потом уже и миллиардные бюджеты Пентагона и спекуляции на жертвах землетрясений, не говоря уж об этих ваших разводах — раз, и готово,— кому нужна семья, если это хлопотно? Ведь верно? Все, что я имею в виду, когда говорю...

Он шумно вздохнул и бросил собаку, уже выпотрошенную, с ободранной шкурой, но с хвостом, в кипящую воду, затем быстро повернулся и начал трясти над кастрюлей бутылку с соусом, вливая его частями. Эллис торжественно разрезал фрукты и лил из банок какую-то комковатую жидкость, черные волосы ниспадали ему на лицо. И длинный, до пола, фартук обвивал его, словно одеяние жреца.

— Арнольд,— заорал я,— ты спятил!

Я орал так, как будто наконец осознал, что здесь происходит, и пришел в ярость. Но это было не совсем так. Я подумал о Райнхарте. Мне вдруг представилось, как он, сидя там за обедом из китайской собаки, чувствовал

себя одним из тех давным-давно ушедших в небытие людей, которые способны были походя перерезать ему глотку и класть страницы его Библии в туфли, чтобы согреть ноги, в то время как сами предавались чтению языческих писаний; и вот теперь Арнольду предстояло встретиться лицом к лицу с тысячами тысяч мертвых азиатов; какая нелепица: Райнхарт мертв, и скоро все мы там будем — через два года или через семьдесят, — а страдания, ниспосланные людям, словно тепловые волны планет, из века в век будут повторяться, пока не погаснет солнце или его не спихнут к чертовой матери по какой-то программе Пентагона, и тогда не будет больше ни детей, ни печали, ни злоупотребления даром жизни, останется лишь один огромный, темный, вертящийся камень. И от этого я заорал — от жалости к тем невинным столам и стульям, которые будут совсем одни, не способные двинуться даже на дюйм, так как некому будет их двигать.

— Нет, я не спятил, — заорал Арнольд и обернулся ко мне, размахивая бутылкой с китайскими иероглифами на этикетке. Лицо красное, глаза широко раскрыты. Он тряс бутылкой с черноватой жидкостью, словно кропил блюдо святой водой.

— Ты — растлитель детей! — выкрикнул я.

— Что? — удивился он.

— Ну, что-то в этом роде, — сказал я. — Позабыл слово. Ты совратил Анджелину, совратил всех нас — добропорядочных, приличных граждан, заставил стащить собаку, убил ее, кому-то на съедение, а ведь это же каннибализм! И ты еще лопочешь что-то о людях, которые принимают все как есть, не хотят заботиться о себе, не смеют воспротивиться чужой воле!

Арнольд протянул ко мне руки, умоляя о капле справедливости, о капле здравого смысла.

— Ты считаешь, что я толкнул вас на преступление? — спросил он. — Но у вас по крайней мере была причина. Вы же *почувствовали* что-то. — Он бросил быстрый взгляд на Анджелину, но тут же отвернулся и поднял какую-то

вещь вроде щипцов.— Именно потому, что вы *почувствовали* что-то, вы и стали действовать. Держу пари. Вы что-то почувствовали! Верно? Минуту, но жили полной жизнью. Разве вы чувствуете что-нибудь, когда берете в магазине упакованный кусок обработанного мяса? А те, в самолете, которые бросают бомбы с высоты, даже не зная, есть ли внизу люди — да им и знать-то это не надо,— чувствуют что-нибудь? Какие чувства у тебя к людям, истребляющим китов? Ты об этом думал, мой пылкий ирландский друг? Могут ли они испытывать сострадание? Вряд ли! Большинство людей не думает о таких далеких и абстрактных вещах, к тому, что рядом, и то нет сострадания! Подумай обо всем этом! Да, подумай!

— Ты псих!— вмешался Ленни Тень. А я и не заметил, как он вошел.— Тебе бы тигром-людоедом быть.

— Он больше на напалм похож,— добавил Бенни.— Фс-с-с...

— Нет, я не псих!— орал Арнольд, надвигаясь на Ленни с щипцами.— Хоть и похоже! Я впитал в себя опыт веков, он ограждает от безумства. У меня есть идеалы, эталоны!

Казалось, он не замечал, что старый Фрэнк, владелец ресторана, стоит в дверях, угрюмый, сморщенный, опершись на две палки. Мешки под глазами делали его похожим на жабу. Взгляд из-под седых нависших бровей был тверд. Джо стоял чуть в стороне, в тени.

Арнольд возбужденно кричал:

— Ведь я художник, понимаете вы это? А что это значит? Чем отличается художник от *обычного* психа? Да тем, что художник действует в согласии с традицией. Не мечты, великие надежды, абстракции, нет! Должен быть договор, договор с чем-то реально существующим, например: кастрюли, рецепты, специи, которые вдыхают жизнь в блюдо. Если, конечно, в них не запутаться. Или соль, к примеру. Тут можно растеряться, сколько класть — много, мало? А как считали древние? Какой рукой сыпать — правой?левой? Нет. Вот это — не искусство! *Мертвое* искусством! К черту!— Он глотнул воздух и вновь с жаром заговорил,

размахивая перед собою рукой, точно отгонял рой ос:— Художник дает себе зарок в том, что он никогда, даже в дни тяжких испытаний не пойдет на дешевку, он всегда будет стремиться делать свое дело как можно лучше. Его может постичь неудача, он может продать себя и себя возненавидеть. Знаете что, всякое может случиться, можно и жену разлюбить, но все же мы даем себе обет. Иначе пойдешь на поводу у обычного сумасшествия, а это отвратительно.

Он плюнул. Забылся и плюнул прямо на пол. Затем победно повернулся, подошел к кастрюле и, держа щипцы двумя руками, вынул из кастрюли собаку. Он стоял, нагнувшись, точно борец,— свирепое лицо, мускулы плеч и рук вздулись. Трудно сказать, был ли он доволен или разочарован. Повернувшись, он протянул тушку к нам, с нее капала розовая вода, он держал ее, как жертву, предлагая богам приблизиться к ней.

Мрачный, точно рок, старый Фрэнк Деллапикалло, стоя в дверях, загробным голосом произнес:

— Раз ты его приготовил, ты подашь это блюдо к столу, мистер.

Арнольд обернулся. Собаку он машинально опустил в кастрюлю.

— Что?

— Ты слышал, что я сказал?— проскрипел старый Фрэнк.— Если это твое фирменное блюдо, найди потребителя.

— Не бойся, я сам съем,— сказал Арнольд.

— Не ты,— перебил Фрэнк.— Клиенты. Иначе,— он резко махнул палкой за спину,— вон!

Теперь Джо вышел на свет, скрестил руки, на фоне черного жилета резко выделялись его белые рукава. Он ухмылялся. Осудить его было трудно, хотя он в какой-то мере был и другом Арнольда. На полу все еще виднелись пятна крови, но их было уже меньше. Эллис слегка подтер пол, но все же пятна оставались. Протянув руки, Анджелина рванулась к деду.

— Дедушка,— захныкала она.

— Замолчи,— оборвал ее Фрэнк, словно Анджелина была трехлетним ребенком или собакой.— Он знает наш уговор.

Точно в положенное по рецепту время Арнольд вынул из кастрюли собаку и уложил ее на противень, где Эллис уже разложил приправу и фрукты, подsunул ноги с отрубленными лапами под тушку, оставив снаружи кончик хвоста с кисточкой волос, и понес блюдо к плите. Пока Арнольд устанавливал противень в духовку, Эллис придерживал открытую дверцу.

Мы стояли тут же, не шелохнувшись. Арнольд налил себе виски.

— Ну, что ж,— сказал он, кося маленькими свинячьими глазками и вытирая руки о фартук,— мне это наука.

Он не развил свою мысль. Часы, висевшие над стойкой бара, показывали три часа ночи.

И в этот миг с черного хода в дверь кухни постучали. Мы все так и подскочили, потом Бенни подошел к двери и, выглянув предварительно в щелку, распахнул ее. На пороге стояли дочери Арнольда, боязливо улыбаясь, лица у всех трех были цвета старой золы. Старшей — уже восемнадцать, хотя ей было трудно дать больше четырнадцати-пятнадцати. Младшей — десять. Я немножко знал ее, моя сестра Шеннон училась с ней в одном классе. Все три стояли, точно сиротки — в маленьких, как у Арнольда, очках, в застиранных, перешитых платяницах,— но если они и выглядели так жалко, то, пожалуй, больше всего потому, что явились в такой неурочный час и в глубине души тревожились, не случилось ли чего с отцом,— вдруг он застрелился? Они вошли бочком, точно беженки, молча глядя на Арнольда, смиренные, доброжелательно-кроткие, втайне надеясь, что их не будут ругать. Я снова почувствовал в комнате густой запах крови. Арнольд уставился на дочек, молча, явно стараясь взять себя в руки. Наконец, решительно кивнув, он позволил им улыбнуться и ответить ему поклоном — они поклонились и всем нам тоже, затем смущенно прижались к стене.

Арнольд пошел собирать посуду, перенося ножи, сковородки, кастрюли в мойку, на ходу выбрасывая отходы. Анджелина придвинулась поближе к деду, вероятно, чтобы девочки не могли ее слышать.

— Как же ты можешь его уволить, дедусь?— спросила она.— Ведь он сделал нас знаменитыми.

Ей было хорошо известно, почему Фрэнк может его уволить. Он оскорбил Джо; он заставил нас украсть собаку; он был сумасшедший.

Но старик слишком устал, и ему не хватило терпения, чтобы подбирать аргументы:

— У нас с ним уговор.

Мы стояли и ждали. Станный, таинственный запах наполнял кухню. Тони Петрилло взял в баре бутылку вина, принес ее на кухню, открыл. Неловко, проливая вино, он налил стакан и протянул его Арнольду — тот стоял, облокотясь на стойку, скрестив ноги, под глазами огромные мешки. Арнольд машинально принял стакан, хотя в другой руке он держал виски. Тони налил другой стакан и протянул его Анджелине, затем мне, Бенни, Ленни, каждой из девочек. Когда он подошел со стаканом к старому Фрэнку, старик с отвращением его оттолкнул. Джо Тони вина не предложил.

Три девочки тихонько пробрались к мойке, где Эллис мыл кастрюли и сковородки, и глядели на него так, как будто мытье посуды — необыкновенно увлекательное зрелище, а Эллис виртуоз своего дела. До сих пор они не проронили ни слова, даже не спросили, что же здесь происходит. Поставив стаканы с вином, они принялись вынимать посуду из сушки. По тому, как они работали — споро, молчаливо,— можно было подумать, что они здесь уже много часов. Все три были очень милы, осенило меня вдруг. Даже странно, что никто из нас никогда не замечал их. Может быть, о том же подумала и Анджелина. Она подошла к ним и начала помогать. Точно такая же, как у нас в гараже. Маленькая и усталая. Наблюдая за ней, я вспомнил, что собирался есть эту собаку.

— Эй, Арнольд,— сказал я.— Сколько думаешь брать за собаку?

Он глянул на Джо, потом на меня:

— По два пятьдесят за порцию, годится?

— Э-э-э,— протянул Ленни Тень,— я только что ужинал.— Он приложил руку к животу. Старшая из дочек Арнольда улыбнулась, потом на ее лице появилось недоумение.

— Я тоже,— сказал Бенни Мясник и усмехнулся.

Чокнутый Тони спросил:

— А сколько за детскую порцию, Арнольд?

Анджелина искоса взглянула на меня.

— Детская порция! Это меняет дело,— сказал Ленни. Он взялся за подбородок, раздумывая.

— Доллара полтора?— спросил Арнольд.

Итак, свершилось.

Мы ели при свечах в зале ресторана, старик Деллапикалло сидел с нами во главе стола, опираясь на него локтями, тарелки перед ним не было. Джо ушел домой. Когда он выходил, то казался нам еще меньше, чем Анджелина. Мне было жаль его. Он, единственный среди нас, с самого начала был прав, благоразумен, цивилизован. Но даже и он двигался как-то странно, механически и, когда обернулся от двери, дернул головой так, точно в ней сидела пружина.

Анджелина села рядом со мной, остальные — вокруг нас, теснясь поближе друг к другу, чтобы быть рядом на случай — в этом странном мире все может случиться, — если собака оживет.

Здесь, за этим столом, не было и следа тех тысяч и тысяч умерших азиатов, и Райнхарта тоже не было, но было такое чувство, будто они здесь, среди нас, и это чувство, быть может, было еще сильнее, потому что мы знали: нет в мире ни духов, ни загробной жизни и нет здесь, за этим столом, при горящих свечах никого, кроме нас, никого, кто мог бы отбрасывать тени на стену. Живыми

были еще свечи, и они горели и горели, освещая эту бес-
смертную ритуальную трапезу — «Императорская собака».

В тот миг мы были необычными посланцами тех, кто с нами не мог быть в эту ночь — давным-давно ушедших и еще не рожденных. Но мы чувствовали величие миссии, возложенной на нас, хотя то, что мы делали, было не так уж и важно. Можно было бы, например, сажать дерево. Блюдо, кстати, было потрясное, если уговорить свой желудок забыть обо всем. И вино было тоже потрясное. И Анджелина как бы случайно положила свою руку на мою.

— За будущее древнего Китая! — сказал Бенни Мясник, поднимая стакан.

— За королей дорог, — сказал Арнольд, поднимая свой.

— Правильно, правильно, — подхватили три девочки, улыбаясь и краснея, словно они что-то поняли.

Тони Петрилло задумчиво и так тихо, что едва ли кто-нибудь мог слышать, сказал:

— За мышей и кузнечиков.

— За Анджелину! — сверкнув глазами, воскликнула Анджелина.

Мы все, даже Арнольд, немного оторопели, но в темноте, там, куда не добирался свет свечей, Райнхарт согласно кивнул, и тысячи тысяч азиатов сделали глубокий поклон.

Содержание

- 5 *Н. Анастасьев. Гибель всерьез*
- 13 *Нимрам. Перевод Г. Орехановой*
- 39 *Оцепенение. Перевод Г. Орехановой*
- 54 *Любитель музыки. Перевод Г. Орехановой*
- 65 *Трубач. Перевод Г. Орехановой*
- 74 *Ужасы в библиотеке. Перевод Г. Орехановой*
- 86 *Влэмк-живописец. Перевод К. Чугунова*
- 192 *Возвращайся. Перевод Г. Орехановой*
- 217 *Искусство жить. Перевод Г. Орехановой*

Г20 Гарднер Д.

Искусство жить: Рассказы/Пер. с англ. Сост. Г. Орехановой. Предисл. Н. Анастасьева.— М.: Известия, 1984.—256 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

Разнообразные по своей тематике и стилистике, рассказы этого сборника объединяются в единое целое убежденностью писателя в страстном, земном характере искусства, и их общее оптимистическое звучание — при всем трагизме отдельных ситуаций — рождено неистребимой верой писателя в Искусство, чья сила способна преодолевать страдание, объединять людей, действительно утверждать добро.

Г $\frac{4703000000-010}{074(02)-84}$ 77-84

**ББК 84.7 США
И (Амер)**

ДЖОН ГАРДНЕР

ИСКУССТВО ЖИТЬ

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *Т. Иванова*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 844

Сдано в набор 6.03.84. Подписано в печать 31.07.84. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,4. Уч.-изд. л. 12,31. Тираж 50 000 экз. Зак. № 267. Цена 1 р. 40 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».

103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

143200, Можайск, ул. Мира, 93.



ДЖОН ГАРДНЕР (1933—1982) — американский писатель, получивший широкое признание у себя на родине и за ее пределами; известен советскому читателю по переводам его романов "Никелевая гора", "Осенний свет", а также некоторых рассказов. За свою короткую, трагически оборвавшуюся жизнь Гарднер написал около полутора десятков книг, охвативших огромный диапазон его интересов писателя и ученого. Сын

фермера, филолог по образованию (специалист по античности и средневековью), Гарднер сочетал деятельность писателя с преподаванием в университетах США.

Писательскую славу ему принесли (кроме названных выше) романы "Диалоги с Солнечным", "Книга Фредди", сборник рассказов "Королевский гамбит", "Грендель" (переложение древнего англосаксонского эпоса "Беовульф"), романизированная биография Чосера "Жизнь и эпоха Чосера", эпическая поэма "Ясон и Медея", а также книги для детей ("Дракон, Дракон" и др.).

Особое место в творчестве Джона Гарднера занимает вызвавшее широкий резонанс исследование "О нравственной литературе".

В основу данного сборника легла книга "Искусство жить" и другие рассказы" (1981).

События иных историй этой книги вполне реальны, других — фантастичны, есть здесь и просто сказки; но их объединяет в единое целое очень важная для Гарднера мысль — о взаимной связи искусства и жизни, о великом предназначении Искусства.